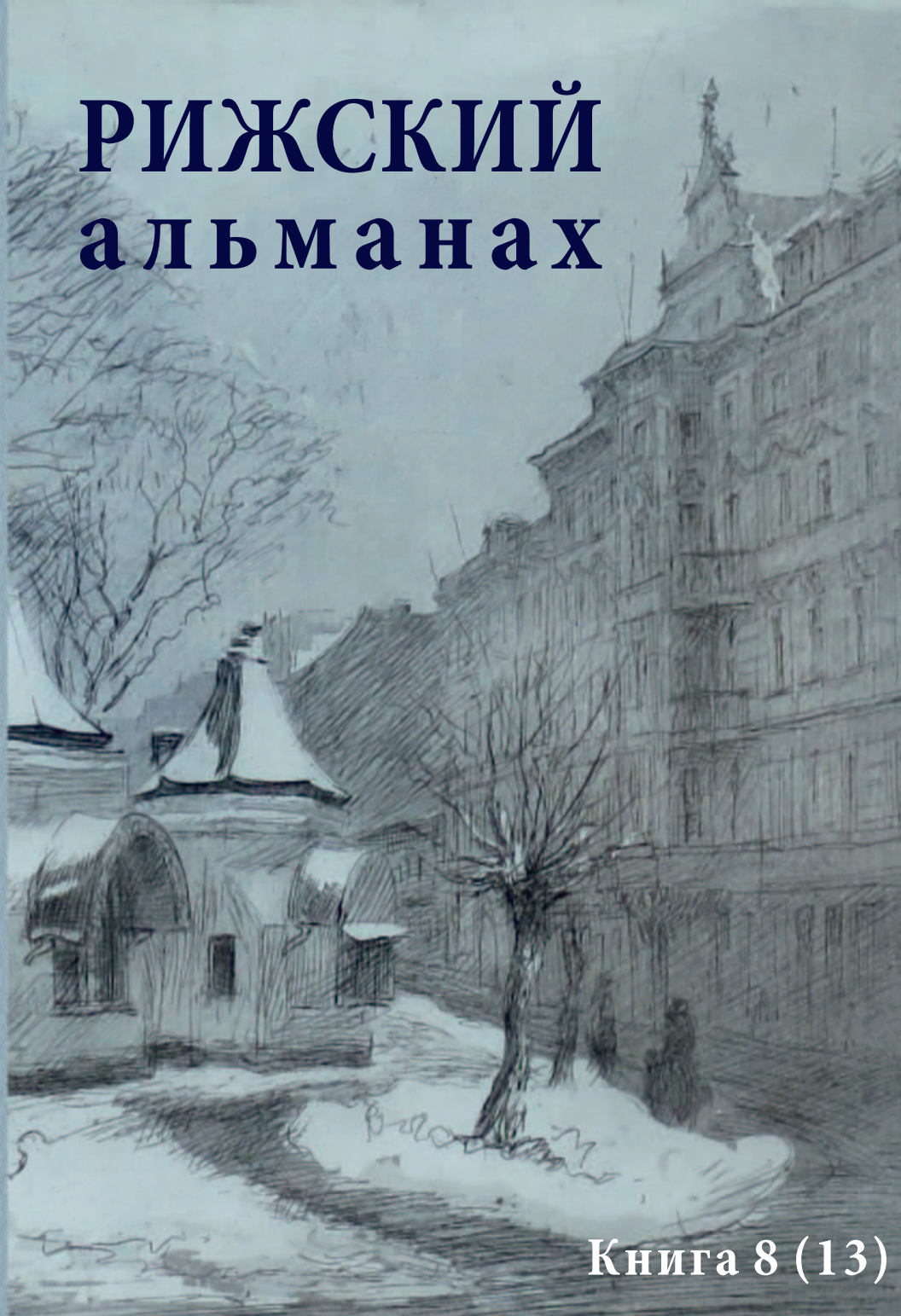


# РИЖСКИЙ альманах

8 (13)

РИЖСКИЙ АЛЬМАНАХ



Книга 8 (13)

# РИЖСКИЙ альманах

РА8

ПРОЗА  
ПОЭЗИЯ  
ПУБЛИЦИСТИКА  
ОБЗОРЫ  
ПЕРЕВОДЫ  
КРИТИКА

№ 8 (13)



Рига, 2018

Издается при поддержке Министерства культуры и Союза писателей



Kultūras ministrija

ITERĀRĀ KADĒMIJA

*Latvijas Rakstnieku savienība*

На первой обложке фрагмент офорта Нафтолия Гутмана.  
"Верманский парк", 1985 г.

Редакционная коллегия:

Т. Зандерсон

Е. Матьякубова

В. Новиков

Рук. проекта Борис Равдин

Гл. редактор Ирина Цыгальская

Корректор Елена Васильева

Художник Виктория Матисон

ISBN 978-9934-8636-3-9

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

ЛОПК (Латвийское общество русской культуры) 2018

© Авторы, тексты

© Состав, оформление

## СОДЕРЖАНИЕ

### СТИХИ

Павел Васкан .....	5
Ирина Зиновчик .....	7

### ПРИЗ СИМПАТИЙ «РИЖСКОГО АЛЬМАНАХА»

Михаил Шерб .....	11
Анастасия Винокурова.....	13
Майя Шварцман .....	14

### MATRIS LINGUA

Вадим Колмогоров .....	15
Наталья Хухтаниemi .....	36
Василий Карасев .....	41
Ярослава Говорова .....	44
Максим Молчанов .....	46

### ПРОЗА

Лета Земадени	
Тамангур (Пер. С. Морейно) .....	52
Вия Лагановска	
Валма (Пер. С. Палабо).....	92
Виктория Матисон	
Девочка и смерть .....	97

## **ВОСПОМИНАНИЯ**

---

**Ирина Зорина**

Мои латгальские корни ..... 107

**Имант Аузинь**

Две необычные встречи ..... 136

**Виктор Николаев**

Отрывки моей биографии ..... 139

**Сергей Григорьянц**

О Риге и самообразовании ..... 186

**Алексей Евдокимов**

Ремесло жизни ..... 198

**Сергей Пичугин**

«Я не умру уже ни разу...» ..... 206

## **ИНТЕРВЬЮ**

---

**Л. Нукневич – Р. Добровенский**

Две жизни ..... 210

## **СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ**

---

**Роман Тименчик**

Латвийские топосы и локусы в русском стихе ..... 225

**Евгений Чегодаев**

Вольдемар Заккит и его версия легенды об утесе Стабурагс ... 242

**Руслан Соколов**

«Культурные пространства» в поэзии Евгения Шешолина .... 246

Стихи. **Евгений ШЕШОЛИН**. ..... 256

**Сведения об авторах** ..... 262

## Павел ВАСКАН

\* \* \*

белый хакер точка точка тире амперсенд коннекшн любимая  
 едет лесом хакер опять сквозь пунктир твоих фраз  
 сквозь сонеты и вязь сетевых твоих трепыханий мечты  
 и любви по э-мэйл по равнинам опять интернета усталым  
 испещрённым равнинам и опять это странное эт тисипи и айпи  
 но всё же ошибка не так уж и страшно как вам бы хотелось  
 сетевая охрана диких юзерских грёз и весенних задумчивых гроз  
 о когда же ты скажешь прости по росе по утру по сети  
 нас ведёт то ли Бог то ли баг то ли бакс  
 и ты скажешь люблю и прости интернету-палитре  
 инфоплесенью наших с тобою нектарных пространств  
 драм трагедий улыбок аватаром иконкою образом  
 как бы Deus ex Machina всё же буду с тобою архангел сети  
 и неважно где кем когда каким полом ником и возрастом  
 се дракон интернета компьютера зверь жадно жрет наслаждаясь  
 уходящую хрупкость ресурсов времён и пространств  
 и мы таем в бессмертии киберуделов угодий и графств  
 выдыхая на вводе прости о прости о прости

\* \* \*

и снова снова  
 уставшими от смысла  
 помолчать словами  
 убийственно легко  
 на буквы падая  
 слогам назло  
 серьёзнейших литератур  
 монстричь рулады

нарративы  
смыслы  
бяки-буки  
вот например  
я Мерлин  
ты Артур  
кругом придурки  
и с подвыподвертом фразы  
и сдох постмодернизм  
родив компьютерно-средневековую заразу  
о да мой чтец  
всё как-то так  
се канитель  
всё бла-бла-бла  
и хрю и фря  
всё шут  
ки ре  
бусы репри  
зы  
куда ж нам плыть  
чего же боле  
или мля  
чего же мне ещё сказа  
иных уж нет  
и нафиг надо  
уж нет совсем  
и те далече  
иль рядом  
боком  
и в подтексте  
ищи товарищ  
смысл в этом тексте  
а я покамест  
в сад всё в сад  
и лесом лесом  
лесом лесом

### Встреча

Если там, где у всех землю топчут ноги,  
под руками крутятся два колеса,  
то привычный путь – не преодоление дороги,  
а непреодолимая полоса  
из расставленных повсеместно ловушек,  
из попыток не верить, из злой беды;  
справедливости код не тобой нарушен –  
не тебе и вымалывать у судьбы.  
На ходу натыкаюсь случайным взглядом  
на почти проигранную борьбу;  
тот, кто нас этим утром поставил рядом,  
заставляет впрячься в твою арбу.  
А назад откатить как по маслу вышло;  
к небесам же толкать – больно тяжкий труд.  
Что ты мне говоришь? Ничего не слышно.

Все дороги тернистые в рай ведут –  
так давай, человек, потихонечку трогай  
среди разных неодушевленных тел..  
Я сегодня, кажется, увидела Бога;  
но, скорее, это он меня разглядел.



### Среди живых

Осталась жить, хотя казался странным  
сам факт присутствия... Когда трещали швы,  
латала ночью вскрывшиеся раны,  
чтоб утром снова быть среди живых.

Старалась очень, множа перемены,  
любой возможности не быть себя лишив;  
жила, играя, не сходя со сцены,  
укрыв под гримом видимость души.

Лишь иногда, в квартире-одиночке  
сдавалась ночи. Оставалось только ждать,  
когда приснится сон о мёртвой дочке  
и где ей снова имя будет «мать»,  
а дочь ушла, от маминой опеки,  
но вот.. сейчас.. вернётся с дискотеки...

### Революционное движение

Воспоминаниям тесно в прокрустовом ложе сна,  
их обрывки выкатываются на покрывало короткой ночи;  
ты казался прежде неким подобием божества –  
даже исчадием ада теперь не считаешься. Прочерк..

То, что мыслилось прежде немного похожим на рай,  
стало отчаяньем мятежа, стало монтекки и капuletти.  
Не грози харакири, мой не сбывшийся самурай –  
революцией уже съедены нелюбимые дети  
на десерт поминального ужина;  
ненасытна ее утроба...

Да была ли тебе я суженой,  
если стала оторвавшимся тромбом?

## Выбор

Рыжим лисом за серой полевкой сорваться,  
проскакать по лугам зимним выжившим зайцем,  
рыбой скользкой проплыть и проухать совой;  
только быть не собой, не собой.

Бестолковостью меченый род человеческий –  
ни мессия не в счет, ни, тем паче, предтеча...  
Кем ни станешь, в конце непременно помрешь.  
Сквозь тебя в поле вырастет рожь,

и ячмень прорастет, и густая пшеница  
небывалым донине зерном уродится.  
И всплакнет над тобою неласковый дождь;  
что потом с мокрых зерен возьмешь,

кроме сгнивших остатков в безликом пейзаже?  
Кто-то мог бы помочь, но и носа не кажет,  
выметая на землю просыпанный снег.  
Ты ли есмь, человек?

## А был ли мальчик?

А был ли мальчик в штопанном пальто,  
с резинками от варежек и духом  
оторванного хлястика? Пал тот,  
всплывая в черной луже кверху брюхом,

в борьбе за обладание жуком,  
который до утра на дне кармана  
гудел в коробке, наполняя дом,  
новорожденным звуком океана.

Смотрел ли мальчик в темное стекло  
на солнечную сторону дороги?  
Так много стекол под ноги легло;  
откуда и куда шагали ноги –

уже не вспомнить. Старое быльё  
взрастает овсюгом; хромая лошадь  
жуёт траву на поле. Туча льёт  
на поле дождь. Забытая калоша

с букашками и сеном на борту  
плывет по луже Ноевым ковчегом;  
и подведя под пройденным черту,  
суровый дядька, глядя печенегом,

вытаскивает нового мальчика  
из свежеотклонированной драки.  
Игра в разгаре – уровень отца  
и прочие заслуги. Забияки

должны стоять в углу и никогда  
не двигаться в ненужном направленьи...  
Течет с небес тоскливая вода  
и созерцает смену поколений;  
порядочный отец во тьме маячит,  
не помнящий уже – а был ли мальчик?

\* \* \*

Человече, человече –  
богу что? А ты не вечен.  
Зацепись за тот крючок,  
на котором паучок  
вяжет, вяжет, вяжет сеть –  
к воскресению успеть...

## ПРИЗ СИМПАТИЙ «РИЖСКОГО АЛЬМАНАХА»

Шестой Открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии – 2017

**Михаил ШЕРБ****Лицо дождя**

Не скучно наблюдать, как всходит рожь,  
Как тёмный голубь чертит в небе кистью,  
Волнами по ветвям проходит дрожь, –  
Так крестит дождь младенческие листья.

Уже обувшись и надев пальто,  
Задумалась и, зябко сгорбив плечи,  
Стоишь одна и щуришься в окно,  
Глядишь в лицо дождя, как в человечье.

Пока в прямоугольнике окна,  
Весенний шар качается на грани, –  
Ты – неподвижна: ты заключена  
В хрустальной сфере собственных мечтаний.

Взмахнёшь рукой, чтоб прядь убрать с виска,  
Которая твой взгляд пересекает, –  
И в этом жесте бледная рука  
Надолго, словно в гипсе застывает.

Наш город превратился в водоем,  
И дождь теперь по водной глади хлещет,  
Внутри ковчега мы с тобой живём,  
Но только не зверьё вокруг, а вещи.

Нас стены облегают, как бинты,  
Закрыты двери, словно створки мидий.  
И больше нет в квартире пустоты,  
А если есть, то мы ее не видим.

## Луч

Задумавшись, не замечая жженья  
Под ложечкой, я смаковал вино  
На площади, где центром притяженья  
Не церковь, а витражное окно.

Всё, – облака, и голуби, и лошадь,  
В нелепую повозку впряжена,  
И улицы окрестные, и площадь,  
А с ней и я, – вращалось вокруг окна.

Мне нравились дождливый день и город  
Средневековый, пёстрый от заплат,  
Напомнивший на миг часы, в которых  
Вращаются не стрелки – циферблат.

Сверкнула боль во впадине височной,  
Когда, проткнувши покрывало туч  
Стальной спицей, с двух сторон заточен,  
Между окном и солнцем вспыхнул луч.

Всё стало вдруг и призрачным и ясным,  
Со всех вещей как будто смыли грим,  
Почудилось, – как только луч погаснет,  
И жизнь моя погаснет вместе с ним.

## Анастасия ВИНОКУРОВА

\* \* \*

Воздух полон упрёков: «Мы же одни на свете!..»  
Ты ведь знал, что отец мой – ветер, и мать моя – ветер,  
что подобных отвергнет река, и земля не вскормит,  
сколько б я ни сидела, напрасно пуская корни.

Ты же видел, куда смотрел, – так какого чёрта  
удивляться тому, что однажды я стала мёртвой,  
не сумев отдышаться под толстой гранитной глыбой.  
Не жалея, не гневи небеса – это просто выбор.

Об одном лишь прошу, уходя от тебя с повинной:  
не отдай меня тем, что засыпят песком и глиной.  
Дай в закатном огне напоследок взмахнуть крылами,  
потому что отец мой – пламя, и мать моя – пламя.

## Майя ШВАРЦМАН

### Игла

Тот уцелел ли сеновал,  
омёт, копна, скирда,  
где ты юнцом заночевал,  
где напрочь, без следа  
исчезла в путанице трав,  
скользнувши меж стеблей,  
игла беспечности, забав,  
желаний – нет острей?

С дороги, повернувшей вбок,  
как ни смотри назад,  
не разглядеть осевший стог,  
хранилище утрат.  
Пошаришь в памяти рукой,  
как в сене, – наугад,  
запахнет прелью перегной,  
слежавшийся уклад.

Ладонь в минувшее просунь,  
развороши в стогу  
плывущий вечно мимо струн  
несбывшегося гул.  
Летучей искрой вспыхнет взвесь,  
насторожится мгла.  
Укор, укол, глухая резь.  
Та самая игла.

*В Союзе писателей при поддержке Министерства культуры Латвии ежегодно проводится семинар молодых авторов, пишущих на русском, украинском, белорусском и др. языках. Ниже – произведения пяти авторов, участников семинара 2017 года.*

## Вадим КОЛМОГОРОВ

### Пролог I

Да здравствует  
     стих  
                     который  
                                 голодному  
   лиру  
 вчертил  
                 гранитом  
                                 в античную бровь  
 как эквилибристка  
                                 на шаре  
   мира  
 Ты – человек  
                                 который  
   Любовь  
 Её  
                 стеклянную  
                                 под мышкой  
 тащу  
                 по подворотням  
   не дыши на  
 как  
         библиотекарь  
                                 с горящей  
   книжкой  
 скачет  
                 сердце – потёртое  
                                 будто  
   лопнувшая шина



Сейчас  
прибегу  
и втычу  
в глаз её  
Амуру

Ты –  
со стрелами –  
сердцеглот  
только  
и можешь  
что уложить  
дурака на дуру

Результат:  
Любовь?  
нет –  
аборт !!!

Да здоровствует  
тот  
поэт  
который  
стих  
голодному  
лиру  
вчертил  
гранитом  
в античную  
бровь  
как эквилибрист  
на шаре  
мира

Я – человек  
который  
изобрёл  
Любовь.

## Пролог II

Это миг. Зачем?

Пересвеченные

тени

на слёзы

воска

крик

младенца любви

последний

горизонтальный

закат –

полоска

на ней я –

мистик

осенний

Вход –

тёмен –

одинокчество

ступени

всё

выше

выше

не знаю

простишь

или прохочешься

и не услышишь...

Мы слепцы

равен

каждый

тьма –

прокурор,

адвокат

и судья

решит:  
любовь  
была  
стальной  
или бумажной

решит:  
погибла  
и в земле  
или родилась  
и жива

Весами  
едиными  
глупо  
отмеривать  
массы  
чувств

не выучат  
счастье  
под лупой

ни Фрейд  
ни Юнг  
ни Пруст

Дистанции  
пот  
кипит  
впереди

я  
пред  
молитвами  
нем  
и один

Послушай,  
жизнь –  
это миг.  
Так зачем ?

## I

В белом манто  
по телам  
побеждённых  
слепо  
шагами  
воина  
снов  
под маской  
вся боль  
глаз  
увлажнённых  
под панцырем  
сердца  
испуг  
и любовь

Был одинок –  
оазис  
пустыни  
горд:  
все Вольтеры  
и Сартры  
все  
все – пустые  
не стоили  
даже  
моей  
бакенбарды

Что же  
вера –  
сэлвэйшн?  
Не видит  
ни пола  
ни расы

отнюдь.  
мир –  
грешен  
что жизнь?  
смертельный  
насморк...

Чувства –  
жёлтые  
листья  
ивы  
днями  
стекут  
по песочным  
часам  
льдом  
надрезал  
жилы  
последней  
щепотки  
песка

Душа  
грациозна  
стройна –  
гиацинт  
помнится  
рвал  
и прикалывал  
к шляпе  
ткал  
свою бездну  
из клятв  
паутин  
этакий  
нежный  
пауко-  
образный

Через  
сердца  
в крестовый  
поход  
под светом  
звезды  
магической  
власти  
фальшивый  
мудрец  
но истинный  
мот  
бесценной  
любви  
согреваемой  
страстью

## II

Вдох  
Рассвет  
на колёсах  
утра  
в ночь  
скрип  
но зрачки  
отпёрты  
дыхание  
моё?  
Не верю  
Прочь!  
в саркофаге  
судьбы  
я вечно  
мёртвый

Дрожь  
    в ресницах –  
                    живы!

свет  
    цепи  
        стекли  
            со стекла

не верю!  
    цветут  
        мои ветви  
            ивы

а это!  
    Не знаю  
        кто  
            но это  
                Она

Солнце –  
    такая  
        маленькая  
            точка

висит  
    даже  
        над моей  
            головой

и лезвие  
    горизонта  
        незаконченной  
            строчкой

и сердце  
    скачет  
        как ошалелый  
            ковбой

Тело  
    разжмую  
        по нервам  
            Замру

снова  
мозг сверлит  
отнюдь  
положим  
зло можно  
впихнуть  
в кобуру  
и не выпустить  
пулю  
в грудь  
Как копья  
забыть  
точёные  
вылупляющие  
душу  
пламени  
губы  
с их  
французскими  
поцелуями  
пересоленные  
слёзы  
накапавшие  
миллионную  
лужу  
стихи –  
замусоленные  
столами  
и стульями  
Забыл  
забил  
бросил  
в ящик  
прошлого



глуп  
    голова  
        болит  
            нежными  
                мыслями  
и главная  
    бесценная  
        под мозговой  
            подошвою  
шуршит  
    поседевшей  
        бархатом  
            плесенью  
Пробудила  
    зимовавшего  
        одиночеством  
            медведя  
рѐв  
    выстукивает  
        на сердце  
            азбукой  
                Морзе  
слово  
    похожее  
        на элегантную  
            леди  
замёрзшую  
    лаской  
        на сибирском  
            морозе  
Вдох  
толстой  
    птицей  
        тяжёл –  
            не взлететь

ворочается  
     в капиллярной  
                                 постельке  
 мой Бог  
     взгромоздившись  
                                 на облако –  
   паперть  
 меняет  
     чувств  
                                 пропотевшие  
   стельки  
  
 Вспышки  
     молний  
                                 как воющие  
   тётки  
 вгрызлись  
     в уши  
                                 энцефалитным  
   клевцом  
 вопль  
     любви  
                                 в обезумевшей  
   глотке  
 продрался  
     обмяк  
                                 вокруг  
   шеи.  
   Прощён!

Гривую  
     душка  
                                 в пальцы хрипа  
   вплелась  
 в вулкане  
     лавовым  
                                 носом  
   согрета

глаз –  
изъюлившись  
ссохший  
карась  
с колен  
не поднимут  
и миллионы  
атлетов  
До блеска  
звёздных серёжек  
сердце  
исстриг  
вот вам!  
Ловкость  
божественного  
брадобрея  
важно  
в лоб  
вцепил  
клоунский  
парик  
заорал  
львиной  
пастью:  
«Я люблю  
тебя,  
Нея!»

### III

Трассирующие  
пулями  
зависти  
людики  
Торчком  
из щелей  
нестиранной  
простыни  
люда

Обломали  
зубы  
    об изжавшиеся  
        в кривых  
            пальцах  
                блюдики

Пеплом  
плюя  
    в моё  
        красивое  
            поднятое  
                над всеми  
                    блюдо.

Любовь  
    на шее  
        воротничком  
            накрахмаленным

Висла  
    лупоглазая

Тыча  
    в лицо  
        моё  
            улыбками  
                засаленное

В губы  
    скользящие  
        фразами

Кричу  
    по углам  
        кутаясь  
            в улиц шарф

Глазёнки  
    жмуря  
        по автомобильным  
            прожекторам

Что –  
спившееся  
стихами  
сердце.  
На брудершафт?  
За твой  
кровоточный  
незарубцованный  
шрам  
Хорошо!  
Стучу  
кулаком  
головой  
в глаз  
дверной  
Не отворишь?  
Просочусь!  
Душа ж  
она  
дымная  
Вскину  
к лапам солнца  
Тебя  
своей  
горбатой  
Чувствочко спиной  
ты моё  
взаимное  
Как каждая  
лысая  
орущая  
жизнь  
начинается с А  
Так я –  
немощный –  
рахитика  
тельце

Душу  
     рожал  
         изорванную  
             как платье  
                 у идущего к Иисусу волхва

Ты  
     мяла  
         поцелуями  
             израненое  
                 моё сердце

Вешал  
     чувства  
         гирляндами  
             нитей  
                 льна

На ёлки  
     пышнотелье  
         ресниц  
             твоих

Мнил –  
     мы критерий  
         согласия  
             Пирсона

Мол не они нас,  
         а мы их

#### IV

Взгляд  
     один  
         два  
             много

Держите  
     в смиренном  
         фраке

Я –  
несут  
на  
Голгофу  
Тебя

Припаду  
влеплю  
губами  
к бумаге

Всё  
мру  
слепо  
мечусь  
кротом  
по сердцу

Извёрнут  
простреленным  
глазом

Всё  
у Бога  
последняя  
пара  
стелек

Пусть  
босой  
одноногий  
но как  
прекрасен

Такой  
восточный  
цветом  
сакуры

Дымлюсь  
одной душой  
недопечёной

Как вулкан  
     затушенный  
                     недокуренный  
 Весь  
     изжавшийся –  
                     чёрный  
 Ты  
     всего  
         измяла  
                 перемяла  
 Как собака  
     опалённый  
                 клок  
 Стал                    шерсти  
     изнеженный –  
                 кусок  
                 мыла  
 А ведь                    старый  
     был  
                 шестнадцатилетний.

Но вот  
     пришло;  
                 ты  
                 не пришла

Ждал  
     как приговорённый  
                 помилования

Вперёд!  
     До последней  
                 стены  
                 последний

Падаю                    шаг  
     продырявленный  
                 секундными  
                 вилами



Одним  
глазом  
навыкате  
кому?  
Уникальный  
парад-  
алле  
За пару  
слов  
ласки  
не ку-  
Его пите  
вывешенного  
в окне  
Распродажа  
налетай  
нате душу  
Пожизненный  
абонент  
Холодновата?  
Да ещё бы  
посуше?  
Да, она слезит. И знаете, никогда не выслезнет...  
Знаю  
путёвка  
в рай  
нотвэлид  
Не плачу  
над похороненным  
трупом  
Даже  
если  
инвалид

Какой-то  
ещё  
не изученной  
группы

При-  
падаю  
к кондуктору

Жив  
и до заката  
пол-пути

Беззубой  
губою  
ору

«Остановите  
Землю,  
я хочу  
сойти»

Тело  
всё  
заизъезженное  
как дорога

Поднимаю  
за лохмотья  
одежд

Знаете,  
от Бога  
до убогого

Путь  
короче  
надежд

## Эпилог

В исковылявшей  
по строкам  
мысле  
Расстелился  
зрачком  
выстекленным  
Король –  
я,  
королевы  
вы все  
В мечтах  
как косматый  
Леннон  
Я перо  
обожённое  
лёгкий я  
Зализываю  
раны  
по пёрышкам  
Не надо  
всех,  
есть одна –  
мягкая  
О сердце  
моё  
коготки  
точит  
Скачет кошкою  
мысль  
как рожающая  
балерина  
В вопле  
сцены  
сгоревшего  
театра

Знаю  
    спектакль  
        был больно  
            длинный  
Как ноги  
    проституток  
        Монмартра  
Чёрная  
    перчатка  
        ночи  
Давно  
    выбила  
        глаз  
            полу-  
                слепого  
Хочется                    Солнца  
    очень,  
        очень  
До тебя,  
    милая,  
        любимая  
            хотя бы  
                дотронуться  
Всё болтаюсь  
    под окнами  
        как на шее  
            повешенный  
Худой  
    прибитый  
        к кресту  
Скажи  
    я смешной  
        или  
            помешанный  
На микстурах  
    от сердечных  
        простуд?

2000 г.

## Наталья ХУХТАНИЕМИ

\* \* \*

Привет, как дела, послушай  
Пойдем со мной в Панда-суши,  
Или на tori<sup>1</sup> – там сейчас вишня –  
Болгарская, кажется. А вот еще мысль:  
Поехали вместе на великах  
Туда, куда мы все равно не успели бы, –

На вчерашний перрон и на праздник с доспехами  
На ту самую улицу с петлей и аптекою  
На остров близ Порвоо 1965 года.  
Можно в Кромфорд (но там с опозданием строго)  
На завод «Электроника», пока там дела не так плохи,  
Или, скажем в Берлин, абсолютно любой эпохи.

Все равно нам конец по мнению Стивена Хокинга.  
Корабли раскидало по скалам, курортам и докам,  
Грузовик едет мимо, но люди кидаются в сторону.  
Министерство образования раздает знания поровну,  
Измеряя дозы линейкой и чайными ложками.  
Нам не нужно теперь быть умными и осторожными.

Мы разделимся в Чандигаре, устроим гонку  
Все дороги долины Спити ведут в Ки Гомпу.  
Мы посмотрим, как каменный лев летит в перигелии,  
Будем с мохо дружить и слушать их странное пение.  
Если хочешь, поедем вслепую, а можно по следу.  
Мы туда и обратно, сам знаешь, вернёмся к обеду.

---

1. Фин. Площадь

\* \* \*

Пусть останется не заправленной  
Моя половина кровати  
Воспитанием я отравлена  
Образцовой моей яжматери.

Это я. Про шута и папину...  
Сами знаете что. Так вот.  
Прав был Джон из кино (или как его?)  
Он сказал «и это пройдет».

Я теперь про твою умницу  
Про прозрачность ее волос  
И про то, что tauko<sup>2</sup> на улице...  
А еще между черных полос.

Между binde и красными лентами,  
Между свадьбой и смертью друзей,  
Меж раздвинутых женских коленей,  
Между гостем и сворой гостей.

Между ночью и ночью опять же.  
Не заправить кровать – ну и что?  
Между встречами нашими – дважды.  
Между Охху и группой Кино.

Тут я выпала из контекста  
Сигарет, мостов и дождей,  
Тут над домом-мечтой из детства  
Кружит пара летучих мышей.

Нет, не сказка, это – Финляндия.  
С бахромой полей у дорог.  
Вот вам лирика, нате вам!  
Повернитесь на правый бок.

\* \* \*

Непересекающиеся прямые сошлись в искривленном пространстве  
Черные дыры оказались не такими уж черными  
За четыре года мне не пришло в голову ни одной сказки  
Кроме той, что про бледную девицу на любовь твою обреченную

Ее кожа прозрачней кажется, чем Aurelia  
На груди небольшое темное зеркало  
Шел корабль ко дну и слышал ее пение  
В ее DIY сумке лежат 15 сребреников

Ты читал ее книги и вычитал в них тишину веков  
Ты однажды смотрел в ее зеркало и видел там тень воды  
Ни разбросанных слов в соц. сетях, ни навязчивых снов  
Не осталось тебе от нее. Только темная сторона луны.

### Сыну

Я однажды тоже была пятилетней  
сапоги на вырост  
шерстяное пальто в клетку  
        впитало сырость  
Канатоходцем между лужей  
длинной, шириной в улицу  
и темной почвой вспоротой  
корнями тополя.  
Упрямой мулицей  
        топаю  
вожу подбородком по вороту:

это не корни –  
        щупальца, ужики,  
змеи-Горынычи, полозы,  
        миноги  
оживут, обовьют ноги  
унесут под землю

где дышать  
нечем  
где глаза залепятся глиной  
в нос забьется мокрая тина  
в рот забьется соленая тина  
где песок вечно  
скрипит в ушах,  
если кто-то делает шаг  
огибая веточку  
растущую  
из моей ключицы.

Зря я думала девочкой:  
вырасту –  
перестану бояться  
ручeyков соленой водицы  
в том подземельном царстве...

**26.10.2017**

Старая финка греет ладони  
держит подсвечник  
оранжевый  
свечки там нет.  
Завтра растает снег.

Мальчик ступает черным по белому  
на острой кромке  
рюкзак  
не оставляет след.  
Завтра растает снег.

Какой-то чудаk пятится через мост  
латунно звенит  
подкладка –  
завалилась пара монет.  
Завтра растает снег.



\* \* \*

Вагоны-цистерны, вагоны тележки  
стучали на стыках,  
на снимках и мимо  
двоих дураков,  
что увидев закат  
узнали  
что бога не то чтобы нет,  
а вроде как бог  
– это рыжая вата  
вон тех облаков  
и сосен пустой силуэт  
и взрытое поле заснеженное.

**Василий КАРАСЕВ**

\* \* \*

этот текст как  
и некоторые другие

похож на гордого верблюда  
умирающего от жажды  
у лужи

этот верблюд  
появляется на холсте города  
за семнадцатый век

этот верблюд разбит  
жаждой молящихся трещин

кишит муравьями песка

его глаза построены на запрещенной  
для строительства территории  
осенью и весной воробьи

выпивают его в даугаву  
этот самый несчастный заросший  
текст из всех собранных по косточкам

верблюд

надолго мною покинутый

\* \* \*

## 11

екабпилс  
как и все города  
начинается с  
имени

## 12

вспомнил сон  
семилетней давности  
потому что увидел развалины дома у реки и костел  
в котором прятался во сне

## 13 zvejnieklīcis

бетонный вал городища  
нет это остров штурмуют  
рядом выросшие кресты

## 14

эстрада играет в прятки с камерой  
молодежь фотографирует все подряд особенно валун  
не замечая прихода времени как затихшего ливня

## 15

стабурагс  
эту фотографию я сделал чтобы показать внукам  
какие в мои годы были красивые ракушки и рыбы

## эпитафии

1. он сам так велел.  
нас попросил.
2. он здесь теперь.  
на все вопросы ответит.
3. приходи.  
приноси газеты и пиво.
4. он вырос в доме через дорогу.
5. нестрашно если не знаете.
6. посмотри, а ведь рядом  
у соседей верба так же высока.
7. вот и сейчас я спешу.

14/04/2017

## Ярослава ГОВОРОВА

\* \* \*

Раньше  
Пели деревья песни,  
Раньше  
С мамой ходили вместе,  
Раньше  
Дворик казался гранью,  
Раньше  
Облако было дланью,  
Раньше  
Мелом людей рисовали,  
Раньше  
Что-то за дверью искали,  
Раньше  
Было уютней для нас.  
«Раньше» –  
Лучше, чем слово «сейчас».

### Улитки

Проснулась в клубке травы,  
И джинсы промокли до нитки.  
Сегодня меня целовали  
Улитки.

### Диковинная горечь

Летели лебеди по небу.  
Прекрасные чёрные птицы.  
И вы, наверно, не поняли,  
А я не могу смириться.

Прекрасные птицы летели,  
И вы, я так думаю, тоже  
До них дотянуться хотели,  
Мурашки бежали по коже.

Однажды они опустились,  
И с ужасом сгнили тополи:  
Не лебеди в танце кружились,  
А вороны крыльями хлопали!

И выклевав тёплое сердце,  
Те в небе опять очутились.  
Изящные чёрные лебеди  
Во мраке и лжи растворились.

Летели лебеди по небу.  
Прекрасные чёрные птицы.  
И вы, наверно, всё поняли,  
И я не могу смириться.

## Максим МОЛЧАНОВ

### ВОНЬ

В купе было три человека: один из них дремал на верхней койке, двое других вели беседу на нижних. Их дверь была не закрыта, и я увидел одно свободное место на верхней койке. Поезд дернулся, и мы отправились в Фарго.

– Можно? – спросил я, уже зайдя в купе.

– Да, конечно, присоединяйтесь.

Я положил свои вещи на свободную верхнюю койку.

– Я всегда говорю: залог хорошей поездки – хорошее знакомство. Мое имя Освальд Монтгомери, а это мой хороший знакомый – Джейкоб Маккензи.

Мы пожали руки.

– Вы, похоже, много ездите, – обратился я к Монтгомери.

– Что есть, то есть. В этом захолустье я почти что единственный врач, знаете ли.

Я подсел к Джейкобу, он подвинулся к стенке, чтоб дать мне больше места, которого и так хватало.

– Ну, а вы? Кем будете? – поинтересовался доктор.

– О, боюсь, о моей профессии не распространяются. Люди нас не жалуют.

– Неужто вы прокурор? – предположил Монтгомери с явной насмешкой.

– Нет, что вы, помилуйте! Еще хуже! Я не обрекаю людей на несчастья, я на них зарабатываю.

В хорошо натопленном купе повеяло холодом. Поезд несся на всех парах, везя пассажиров бог весть куда. Обстановка накалялась.

– Забавно, – оклемался Джейкоб, – я как раз недавно матушку похоронил.

– Сожалею о вашей утрате, – сказал я.

– Как вы можете такое говорить?! – взорвался Джейкоб, – я не нуждаюсь в жалости, особенно от вас!

– Ну, это же вздор! – вступился Монтгомери. – Он не причастен к смерти вашей матери, прошу это учесть. Нельзя бранить человека за то, что он работает.

– Но он получил с этого выгоду! – не отступал мистер Маккензи.

– Хорошо, посмотрим на это с другой стороны. Ладно? Если бы не он, тогда где была бы ваша матушка, куда бы вы ходили почтить память?

– Нечего ходить, – бросил Джейкоб. – Я... я не верю в это, я атеист.

– То есть как атеист? – удивился доктор Монтгомери.

– Забавно. Люди платят большие деньги за бархатный гроб, в нем покоится труп, которого они никогда не увидят и которого съедят черви. На кой тратить деньги! Излишняя роскошь, не считаете? Так они, еще прикрываясь религией, собирают с этого деньги. Обман чистой воды.

– Вы атеист? Не мог и подумать, – сказал я, – обычно мои ненавистники глубоко верующие люди.

– Нет никакого бога! – перебил Маккензи. – Душа умрет раньше, чем тело. После нашей кончины нас ожидает ничто: ни рай, ни ад, и точка!

После таких слов наступила тишина, которая не стихала на протяжении больше двух минут. Поезд набирал скорость и вот-вот грозил во что нибудь врезаться.

– Вы так и не назвали свое имя, – нарушил тишину доктор Монтгомери. – Как вас зовут?

– Кристофер. Кристофер Стоун.

– У вас христианское имя.

– Мой отец был священник в Коннектикуте. Очень набожный и старый. Я никогда не видел его молодым, ни на фото, ни в воспоминаниях близких. Ему было пятьдесят, когда я родился. Я знал его только в детстве, и все мои воспоминания о нем – это длинная окладистая борода, лысина и священническая ряса. Порой меня называли его внуком.

– Я тоже знал одного Кристофера, – произнес доктор. – Он был очень набожен и очень богат. Кристофер – тот, что из Луизианы. Вы бывали там? Нет? Ужасное место. Не знаю, почему, но оно мне напоминает Древний Египет: великое множество рабов, бичуемое плетками мелких чиновников, перетаскивает с места на место гигантские глыбы камней во славу фараона, непонятно, куда и зачем, и так на протяжении всей своей скудной жизни... Жалкие, грязные... дойные коровы, из которых высасывают весь сок. Для таких лишь смерть, а еще лучше быстрая смерть, – при рождении, – может быть милосердием. Я знал



негритянок, которые убивали своих детей, за это их жестоко наказывали.

– Двадцатый век, – парировал я. – Будто в Античном мире, до сих пор. Весь этот мир построен на костях рабов.

– Тот Кристофер, – продолжил мысль Освальд Монтгомери, – очень богатый и религиозный плантатор из Луизианы. У него была одна сучка, которую он трахал. Так вот, однажды она забеременела, а через месяц тяжело заболела. Я был тогда неподалеку и меня вызвали, провести осмотр... обстоятельства требовали операции, после которой не все выживают. Я плюнул, сказал, что все кончено. Мол, у нее нет шансов, ей не выжить. Может то было и правдой, такие негритянки долго не живут. Мне дали добро, и я сделал это. Не потому что считал это милосердием, ни потому что было жаль ее выродка. Нет! Не из-за этого! Я убил ее, потому что не место рабам в свободной стране, не место этим неграм среди нас. Не место этой грязи в чистом, христианском мире!

– Так вы... черных не любите, – снова ввязался Джейкоб.

– А вы атеист! Мои предрассудки оправданы, ваше религиозное видение не доказано. И как вы можете отрицать то, чего, по вашим словам, нет!?

– Но они же люди. Они тоже люди! – стукнул кулаком по столу Джейкоб.

– Нет! Они прекратили быть людьми, как только родились. Они не люди! Не люди! Людьями рождаются, а не становятся. Если они люди, тогда кто мы? Так было, есть и будет!

– Вы просто не знакомы с хорошими чернокожими.

– Кто бы говорил. Вы-то явно из местных будете, а цветные здесь не обитают.

– Вы правы доктор, однако, моя мать знала одного, она мне о нем рассказывала.

– С кем поведешься, от того и наберешься, – вырвалось у меня.

– Вы... что вы хотите этим сказать?!

– Ну, черный для нее был диковина, вот она и повелась. Уверен, она была молода и упряма, в детстве ей многое было дозволено, но она хотела большего.

– Не смейте так говорить о моей матери! Вы ее совсем не знаете!

– Ровно столько, сколько вы знаете о боге.... Плюс я не говорил о

вашей матушке, я говорил обо всех женщинах. Я, как человек, дважды хоронивший своих жен, могу так говорить, ибо я знаю, что говорю.

– Знаете что? – спросил Монтгомери.

– Послушайте! Я, конечно, уважаю вашу утрату, – обратился я к Джейкобу, – но от своих слов не откажусь. Я прожил долгую жизнь с этими змеями, терпя их вранье и измены. Женщины – они как кошки: живут своей жизнью, пользуясь своими хозяевами. А их речь? Она же лишена всякого смысла. Женщины хотят, чтобы их лишь слушали. Далеко ходить не надо, это встречается повсеместно. Женщины – это низшая раса. В то время как цветные несут хоть какую-то пользу государству, женщины воспитывают диктаторов, рабов или даунов. У мужчин куда лучше выходит воспитание детей, а женщины – это лишь инкубатор для наших наследников, лишь плотское утешение, лишь ребро Адама!

– Знаете, – не выдержал Джейкоб, – а ведь я хотел похоронить матушку. Правда, хотел, ведь на то была ее воля. Но с самого начала дело не заладилось: денег не хватало, гостей не собрать, всё никак не договориться. В конце концов я бросил это дело. Я кремировал ее тело. Ведь ее уже нет, это просто мертвая плоть. Я кремировал ее труп... и смысл в унитазе... даже не дрогнул, ничего не почувствовал.

Человек, лежавший на верхней койке, не выдержал, и вышел из купе, прихватив с собой свои вещи. Тут я заметил, что не закрыл за собой дверь, – и весь поезд, весь мир слышал наши возгласы. Поезд несся на бешеной скорости, казалось, что сейчас сойдет с рельс и убьет весь экипаж, однако тлетворный запах из нашего купе погубит пассажиров гораздо раньше. Сегодня мы открыли свои души и поняли, что у нас их нет. Мы, люди двадцатого века, открыли свои глаза.

Наконец, поезд остановился.

## КАК ОНА ЗДЕСЬ ОКАЗАЛАСЬ

Бывает, не можешь насладиться пейзажем, услышать стрекотание сверчков, почувствовать чье-то присутствие. Ты спрашиваешь себя: “как она здесь оказалась – старушка, что присела возле меня?”. Ты нечаянно посмотришь в ее сторону, и она посмотрит. Ваши взгляды встретятся, но вы не вспомните друг друга и вскоре отвернетесь. Обычно разговор заводят люди постарше: она спросит, что-то простое, на что я смогу ответить. Не знаю, чувствует ли она, что мне неловко. Наверно ей одиноко. Я в предвкушении и знаю, что это сейчас произойдет. Она проронит свое неуверенное “Извините” и я повернусь в ее сторону, но смотреть на нее не буду.

Этого не произошло. Я машинально потянулась к сумке и достала пачку сигарет. Не знаю почему. Вообще-то я хотела бросить.

Я зажгла сигарету и потянулась губами к ней, будто хотела поцеловать. Я вдохнула наркотик и выпустила пар, черный дым. Я представила его у себя в легких. Еще раз затянулась. Мне захотелось вынуть эту зубочистку изо рта и вместе с пачкой кинуть ее в урну и исчезнуть навсегда. Я продолжала вдыхать и выдыхать, мне стало лучше, хоть чем-то заняла себя, пока сидела с этой бабушкой.

Наверняка она хотела что-нибудь насчет этого сказать. Я уверена, она сдерживала себя, только потому, что около меня, в песочнице играл мой малыш. Ему было 4, мне 21. А я та же, что и была 4 года назад, ни капли не изменились и мои друзья и знакомые. Я даже не выросла, и подростковые прыщи не слезли. Через лет 60 тоже такой буду – как та старушка, что продолжает сидеть и глядеть в никуда. Но ждать еще долго.

Сигарета закончилась, я размазала ее об пепельницу в урне. Посмотрела на часы – прошло только десять минут. Я снова залезла в сумочку, достала смартфон – посмотреть сообщения: несколько сообщений от отчима и что-то про работу. Я не стала читать. Однако телефон оставила в руке, пачку сигарет в другой.

Я ждала, когда она спросит, или скажет, или упрекнет. В любом случае она права, в любом случае мне все равно. Я пыталась себя успокоить, не знаю, честно, что на меня нашло. Я сняла кожанку и повесила на спинку скамейки. Вдруг подбежал он и стал меня дергать – хотел

показать, что построил, как будто я и так не видела. Он потащил меня за рубашку. Я сказала, чтоб не трогал меня и успокоился, – мне казалось, все смотрят, и она тоже.

Мой малыш построил какую-то кучу, похожую на башню. Она была высокой и простояла не долго. Прямо на моих глазах она развалилась. Но он совсем не расстроился, он бросился ее восстанавливать и просил, чтобы я осталась посмотреть. Я сказала ему, что увижу и со скамейки.

Я снова присела и снова закурила. Уже с другой стороны ко мне подседа девочка лет семи – отряхнуть ноги и надеть сандалии. Я хотела как-то повернуться, чтобы не дымить, но была окружена с двух сторон. Сейчас та, бабушка, просто обязана сказать – то, что должна. Я ждала.

В моей руке что-то завибрировало – это был телефон, о котором я забыла. Я отложила пачку сигарет и провела пальцем по сенсорному экрану. Положила телефон в сумочку.

К старушке подошла женщина лет 50, наверно, ее дочка. Она стала на колени, начала просить прощение. Только тогда я заметила, как она плохо выглядела. Старушка молчала и продолжала мирно себе сидеть, а та девушка не отступала и даже закатила истерику. К ней подошли какие-то гопники и увели, пытаясь успокоить.

Вдруг около меня оказался мой сын. Он хотел уйти домой. Я глянула на часы – прошло 40 минут. Я вытерла его ноги, обула и схватила за ручку. Перед тем как уйти, я достала пачку сигарет и телефон, чтобы ответить на звонок. Мы быстро прошагали мимо тех пьяниц, и вышли на тротуар. Бабушка смотрела мне вслед.

## Лета ЗЕМАДЕНИ

## ТАМАНГУР

(В сокращении. Перевел с немецкого Сергей Морейно)

ЛЕТА ЗЕМАДЕНИ – швейцарская поэтесса, переводчица и писательница. Родилась в 1944 году в Нижнем Энгадине (кантон Граубюнден). Дочь драматурга и режиссера Йона Земадени. Преподавала в Еврейской школе в Цюрихе и Альпийском лицее Цуоц – в общей сложности почти тридцать лет. С 2005 года занимается исключительно литературой. Издала несколько двуязычных лирических сборников на валладере (диалект ретороманского языка) и немецком, среди них: «В моей жизни в качестве лисы» (2010), «Тигрик» (2007), «Кухонные стихотворения» (2006) [О деревушке/ между покрытыми снегом вулканами/ и дикими чащами]. Литературная премия Швейцарии (2016) за дебютный роман «Тамангур», написанный на немецком языке. Премия кантона Граубюнден за вклад в культуру (2017).

ТАМАНГУР (*Tamangur*) – название восходит к высокогорному ландшафту, покрытому болотами и поросшему кедровой сосной.

С. Морейно

Поддень, звон колокольчиков, улицы опустели. Сквозь трещины под ногами сочится гудрон. Малышка нагибается, наковыривает указательным пальцем комок черной массы, быстро машет пальцем в воздухе, чтобы гудрон остыл, затем сует этот комок себе в рот и принимается жевать, живо взбираясь по крутой улочке, опустив голову, целиком захвачена окончанием истории, которую сегодня прочитал им учитель: доверху нагруженная сеном барка уносит влюбленных, а багряный как золото месяц кладет на реку блестящий шлейф.

У гудрона во рту тревожный вкус.

Одно ее ухо всё еще открыто шумам улицы, оно улавливает приближающиеся навстречу дробные шаги, и, стоит шагам поравняться со свободным ухом, как губы сами собой желают доброго дня.

Не получив в ответ никакого «здравствуй», Малышка мгновенно выныривает из истории с багряным месяцем, поправляет на носу очки и смотрит шагам вслед.

Вниз по крутой улочке бежит ржаво-красная коза с черной полосой на спине. Внезапно коза оборачивается и смотрит так, будто хотела бы попросить прощения за свою невежливость.

Дедушка мог сказать бабушке: Ты что коза, посмотреть на тебя, такая привязчивая, но едва почувешь свежую травку, тебя уже ничем не удержать.

А вскоре Малышка сидит за кухонным столом и ест вместе с бабушкой суп. Пожилая женщина время от времени откладывает ложку на тарелку и разглядывает потолок.

Третий стул у стола пустует. Дедушка в Тамангуре.

К кухонному окну склоняется большой куст бузины. На нем уже полно ягод.

В тот самый миг, когда охотника забирают в Тамангур, он теряет ровно двадцать один грамм, поскольку душа делает ноги из тела, чтобы вернуться туда, где она обитала раньше.

Душа – раб привычки, – говорит бабушка, – сил у нее будь здоров, хоть она и весит всего ничего, при этом всегда норовит сделать по-своему.

Для души нет преград, было бы желание. При своем весе в двадцать один грамм она повсюду найдет местечко притулиться и вырвать бабушку из паутины дней. Бабушка спорит и ругается с душой: ничтожество, – говорит она, – да ты сама неприглядность! Ну что мне с такой неприглядной делать?

\*

Деревня полна теней, глубоко посаженное в горах место, а еще глубже, урча между горами, в сторону границы шипит река, сильная и блестячая.

Церковь стоит на холме невдалеке от лесной опушки, рядом школа, пара лавок, ресторан и деревенская площадь. На ней есть длинная скамья.

Если скамья пуста, Малышка садится на нее и размышляет, что за истории скамье довелось выслушать. Возможно, кое-где она еще теплая, а это означает, что кто-то недавно посиживал на ней и врал напропалую. Оттого скамью зовут завиральной.

Малышка ведет пальцем по зарубкам и засечкам в дереве, какая-то собака или коза проходит мимо по центральной улице, к этому часу сверкающей на солнце и воняющей гудроном.

Отчего коза без колокольчика всегда гуляет одна, совершенно непонятно. Не заплутала ли она среди этих улочек? словно бы она постоянно находилась в поиске неизвестно чего.

Время от времени Малышку удручают напрасные козы поиски. Она не может спокойно оставаться в стороне от чужих забот.

Распадок по другую сторону реки исчезает где-то в горах.

Дедушка рассказывал Малышке, что там есть снежные зайцы и снежные куропатки, а также другие существа и растения, которые умело подстраивают свой наряд под окружающий их мир, чтобы стать невидимыми.

\*

Бывают вечера, когда всё кругом имеет вкус печали. Для их деревни у бабушки нет добрых слов.

Она заканчивается, не успев начаться – говорит бабушка, – просто мушиная точка на карте.

Когда ветер задувает в лесу, то можно сразу почувствовать осеннюю дрожь.

Бабушка шумно втягивает ноздрями воздух. Она всегда так поступает, чтобы слезы спрятались обратно в свои каналы. И вот глаза ее вновь широко распахнуты, она теребит волосы, потом раздевается.

Под платьем она носит другое платье, цвета кожи, с блестящими крючками, которые она расцепляет по одному. Она тщательно складывает платье, бережно кладет его на стул и оглаживает ладонями.

Даже голой бабушка кажется застегнутой на все пуговицы. Перед зеркалом она ненадолго замирает, с интересом всматриваясь, как будто там отражена другая женщина. Она показывает этой другой свой зад и поворачивает голову к зеркалу, чтобы увидеть, как другая выглядит сзади без ночной рубашки.

У бабушки очень маленькие ступни. Когда она лежит на кровати, вытянув ноги, подушечки пальцев напоминают сочные ягоды, однако стоит ей встать на коврик, эти ягоды сплющиваются под весом ее тела и делаются как клецки. Тяжесть вдавливают их в цветочный узор прикроватного половика. Она еще раз проплывает через спальню, приот-

крывает окно, возвращается к зеркалу, берет в ладони свои тяжелые груди, и, немного их приподняв, говорит той другой в зеркале:

А грудь у меня всё еще хороша.

В бледном свете уличного фонаря ее корсет с серебристыми крючками похож на насекомое.

\*

Бабушкино сердце – это большой лес с густыми дебрями, деревьями карликовыми и под небеса, в нем много кустарников. Туда можно зайти побродить, но там можно заблудиться.

В нем имеются и просеки, они раскрываются как сюрприз. Один лишь шаг, и Малышка уже вышла из тени, над головой небо, мягкие подушки облаков, солнце. А бабушка словно ангел, который исполнит любое желание.

Вот она пронесется по всему жилищу, берет Малышку за руку, мчится с ней в обувную лавку и вдруг покупает ей красные балетки, ее давнишнюю мечту.

В следующий раз Малышка оказывается загнанной в заросли, царапающие руки и ноги, ветви хлещут в лицо, Малышка ныряет во тьму и дрожит перед бабушкой, превратившейся в ведьму.

Вовсе не желая того, Малышка пробудила в ней одно дурное воспоминание; в неподходящий момент извлекла она из бабушкиного пианино неверный тон.

Тогда Малышка ненавидит бабушку изо всех сил. То, как она плотно сжимает губы, потому что во рту у нее набух целый комок недобрых слов. Малышке известны эти тонкие губы, в такие моменты ей лучше быть начеку, ей приходится заползти в подлесок, пока бабушкин рот не расслабится снова.

Нельзя позволить большому комку вырваться. Есть слова и интонации, ранящие сердце сильнее любого острого ножа. Будет разумнее затаиться на время в подлеске и быть тише воды, ниже травы.

С сердцем как с суставами, – говорит бабушка. – Возьмем к примеру Индию, – говорит она. – Там есть девяностолетние мужчины, способные скрестить ноги на шее. Сердце тоже нужно упражнять. Его надо потрясать – испытывать на разрыв, чтобы оно сохранило форму. Им нужно пользоваться, пока оно бьется, иначе оно окончательно усохнет и будет выглядеть как сморщенная картофелина.



Ей не доставляет радости вечно ждать на скамеечке возле дома и вязать носки. Носков она навязалась вдоволь. Для дедушки. Чтобы его бархатные ножки, надежно хранимые любовью и пряжей, возвращались к ней с охоты.

Она узнает его сразу, едва он появится с той стороны реки на лесной опушке и большими пружинящими шагами станет спускаться к мосту. С добычей или же без, у него королевская поступь.

\*

Носок левой ноги Малышки описывал круги в луже. Затем она опу-скалась на колени и ждала, пока поверхность воды не разгладится и на ней понемногу не проявится ее лицо. Большим и указательным паль-цами Малышка разводила своему отражению ноздри и скалила зубы, как это делал порой Чан, бабушкин пес. Словно в испуге перед соб-ственной гримасой, она зайцем прыгала в середину коричневой лужи. Шлёп! Руки вверх и прыг-скок, прыг-скок, шлеп-шлеп-шлеп. До тех пор, пока трусики полностью не вымокнут.

\*

С пустой корзиной для белья бабушка выходит из ванной комна-ты. На пластиковом шнуре над ванной друг за дружкой висят шестеро больших белых трусов с мелкими кружевами. Рядом стоит Малышка и определенно хочет что-то сказать о шеренге трусов. Ухмыляясь, она подыскивает слова. Все трусы прихвачены разноцветными прищепка-ми. На фоне голубой кафельной плитки их полумесяцы вместе с при-щепками образуют гирлянду смеющихся мордочек. Удовлетворенная Малышка спешит за бабушкой в кухню.

Ступеньки ведут со двора вверх до самого желтого дома. Справа от желтого дома относящийся к нему луг, там, в основном, и растут оду-ванчики. Сегодня луг в запустении, ни Чудной, ни Чудная не сидят на скамейке на краю луга, не приветствуют Малышку. Эльзы здесь тоже сегодня нет. Бабушка хорошо знает, что они за люди, эти Чудные.

У них мозги немного набекрень, но это вовсе не так страшно, – говорит бабушка. Ей тоже нравится ходить, склонив голову немного набок, порой так оно даже лучше, поскольку ничто не застит глаза. А оттого, что у Чудных мозги набекрень, они лучше других ощущают атмосферную циркуляцию.

У них красивый язык, – говорит бабушка, – язык, который вечно преподносит сюрпризы.

Она любит сюрпризы. Именно поэтому Эльза раз в неделю приходит в гости, на кофе или пообедать. Таким образом на бабушку снова обрушиваются сюрпризы ее выдумок и выходок.

Чудные обладают этим свежим взглядом на мир, – говорит она. – Ты будешь сильно озадачена, если попробуешь посмотреть на вещи глазами Чудных. Мир для них отмыт до блеска, очищен от серой накипи.

Когда вся деревня тонет в дремотной скуке, неожиданно-негаданно пройдет мимо Чудной или Чудная, разбудит целую деревню, даст пищу пересудам. Не будь Чудные среди нас, мы бы так и молили одно и то же или все время молчали бы.

Мы многим им обязаны: взрывами смеха весь день, сердитого либо сердечного, согревающими трениями с соседкой из-за того, что она против Чудных, зато бабушка за, материей, которой можно латать оставленные унынием прорехи, открытиями новых слов в новых сочетаниях, далеко ведущими ходами мысли, которые, если бы не Чудные, никуда бы не вели, прогулками по новым местам, встречами с собственной тенью, которая кажется нам слегка чужой, временем, которое без них складывалось бы из одних секунд, минут и часов, временем, что, сокращаясь, стягивается к единственной сияющей точке отсчета. И редкими запахами.

Да, запахи, которыми Чудные умеют делиться, одна из тех вещей, что связывают бабушку с Чудными. Бабушка обладает даром распознавать вещи на нюх, и она хочет передать эстафету дальше, а для этого занимается натаскиванием Малышки, которая в конце концов ее же и переплевывает.

Эльзу не трогает то, что ее считают Чудной. Временами это вполне забавно, быть чужеродным телом, – говорит она, – это тешит мои театральные наклонности.

В желтом доме, – говорит Эльза, – живут самые разные люди. Например, Роман и его подруга Эва. Он запрещает ей сидеть на солнце, потому что очень любит белую кожу. Эвины платья он шьет сам. Для этого Эва раздевается догола, Роман обматывает ее сверху донизу туалетной бумагой и делает из этого выкройку, – говорит Эльза.

\*

Ночная рубашка, ноги глубоко закутаны в дедушкины носки. Вспокоенная громким пением, Малышка стоит на пороге гостиной.

*Ибо всякая плоть как трава, и всякая слава людская как цвет на траве, засохла трава, и цвет опал. Плоть и трава, трава и плоть, – бормочет бабушка, – что за бредни!*

Распущенные бабушкины волосы вечером суть трава, когда снег весной отпускает ее на свободу, ну а по утрам они висят светлыми облачками у нее за спиной. Она прикручивает радио и поворачивает голову к двери.

Иди сюда, – говорит бабушка и сажает Малышку на колени.

Связанные бабушкой дедушкины носки достают Малышке до колен, их толстые пятки свисают от икр вниз, как пустые мешочки. Толще и тяжелее стопы эта пятка, и шерсть на ней другого цвета. Двойная вязка, – говорит бабушка. – Для охоты, – и легонько теревит шерстяную нитку.

Его ступни были как шелк, – говорит она, – как у девушки. Белее снега.

Когда она думает про дедушку в Тамангуре, то обязательно смотрит вверх и у нее этот взгляд.

Его ступни были как шелк, – говорит она и разглядывает потолок. Сквозь потолок она разглядывает всевозможные небеса, а больше всего любит смотреть на облака. Там, наверху, должен быть Тамангур, – думает Малышка. – Только людей отсюда не видно.

Порой, когда с горного склона доносятся раскаты лавины, когда ветер надувает грозу или молния ударяет в лиственницу на том берегу реки, это обязательно дело рук дедушки, сытого по горло тем, что смотрит вниз на одну лишь бабушку и бегае ттуда-сюда на своих шелковых ножках, все время по одному и тому же облаку. Он наверняка умирает там со скуки. Там не увидишь серн, играющих словно дети и весной спускающихся по снежным склонам поближе к первой траве, присев на свои огузки, как на сани. В Тамангуре нет галок, нет воскресений, нет запеченного мяса, нет пасхальных зайцев, нет каникул. Всё не взаправду, – говорит бабушка.

Правда ли то, что он должен бегать туда-сюда по одному и тому же облаку, или же он перепрыгивает на другие облака, и куда они уносят дедушку, когда небо безоблачно, этого бабушка не знает. Тамангур это

такой особый рай для охотников, и дедушка, как охотник, поистине заслужил, чтобы его впустили в этот рай.

Некоторые мужчины только крали у меня время, – говорит бабушка, – но дедушка вернул мне его двукрат, а то и трикрат.

\*

Прежде чем отправиться в Тамангур, дедушка по утрам раньше всех оказывался за столом и помешивал столовой ложкой свой кофе. Когда Малышка садилась, он, подмигивая, поднимал высоко над кружкой полную расплавленного сыра ложку, и Малышка, от восторга втянув по самые уши голову в плечи, начинала хихикать.

Сыр в кофе, это было строго запрещено бабушкой.

Ты опять занимаешься с ней чистой воды ерундой, – летело из угла, где, прижимая буханку к груди, бабушка примеривалась нарезать хлеб на ломти.

Кто-то ведь *должен*, – мирно отвечал дедушка, – а ты займешься с ней остальным.

Он вопросительно смотрел на Малышку, та кивала, дедушка вынимал из кармана армейский нож, кроил в чашку пару добрых кусков сыра, заливал горячим кофе, всыпал столовую ложку сахара, и Малышка начинала помешивать, пока сыр не выпускал бледно-желтые щупальца.

Когда бабушка подходила к столу, оба сидели как ни в чем не бывало, уставившись в свои чашки, и бабушка со вздохом усаживалась на стул. Провести ее было невозможно. Сощуриив свои глаза, она наблюдала за щупальцами, которые протягивались от чашек к губам Малышки и к дедушкиным усам.

Как всегда, когда бабушка доходила до белого каления, дедушка остужал ее поцелуем.

Была еще и другая игра.

В дальнем углу сада есть старое дерево сирени, под ним по воскресеньям дедушка и Малышка устраивали маленькую сиесту.

Покажи мне *твои* зубы, – говорила Малышка.

Дедушка доставал из кармана большое черное портмоне. Очень медленно и очень серьезно. Потом вынимал из мягкой кожи маленький пакетик из папиросной бумаги. От ее шороха по спине Малышки обычно пробегали мурашки.

Пять длинных, желтых зубов. Ровно столько, сколько щербин во рту у дедушки. Малышке разрешалось потрогать эти длинные, желтые оленьи зубы, и каждый раз она слегка вздрагивала и втягивала голову в плечи.

Когда человек стареет, – говорил дедушка, заворачивая оленьи зубы обратно в папиросную бумагу, – ему уже не нужно так много зубов. Кусать надо, пока молодой. Потом будет поздно, – говорил он и смотрел вверх сквозь крону сирени.

Вот он сидит, сложив руки на коленях. Зеленый кузнечик переползает через его левую ладонь и прыгает Малышке в подол.

Зачем тебе такие большие руки? – спрашивает Малышка.

Оттого, что у бабушки большие груди. Им нужно много места, по руке на каждую.

У меня тоже будут такие большие груди, как у бабушки?

Они будут у тебя ровно такие, чтобы уместиться в руках мужчины, который тебе понравится, – говорит дедушка, – и оба смотрят вверх, на ветки сирени, погружившись в собственные мысли.

Не то сирень пахла дедушкой, не то это дедушка пах сиренью, разобрать было невозможно. Дерево стояло в полном цвету, и ветер доносил его запах вплоть до самого дома.

Весной под деревом расцветают одуванчики, такая веселая лужайка, земля здесь мягкая и ласковая.

Бывают дни, когда Малышка стоит, прислонившись к стволу, и размышляет, много ли времени понадобится, чтобы выкопать яму, куда она поместится с руками и ногами.

\*

На кухне висит бабушкина карта мира со всеми ее «местами». Ей нравилось путешествовать, одной, из любопытства, а потом вместе с дедушкой. Когда она забывает одно из мест, то воткнутые булавки помогают ей вспомнить.

Пока бабушка раскладывает по тарелкам картофельное пюре и сардельки, Малышка громко читает названия мест: Венеция, Санкт-Мориц, Рим, Тумбако, Ла-Пас, Гавана, Вернойхен, Роквилл, Париж...

От стольких мест в голове остался всего лишь островок, – говорит бабушка, – зато отдельные вещи на островеке блестят, как хорошо от-

полированная монета, в то время как вокруг этого островка всё тонет под толстым слоем серой пыли.

Из шуфлядки под скатертью она вынимает визитную карточку: «Слиман Уали, творец уитризма и саблизма», а чуть выше «Скульптор-анималист. Париж, площадь Бастий».

Ей до сих пор помнится, как розовели на просвет уши Слимана Уали. Он стоит перед ее глазами огромной выпуклой фотографией, она сумела бы нарисовать его, умеи она рисовать, настолько отчетлив образ.

Слиман заявляется к ней неожиданно, по непонятной причине. Неизвестно, что заставляет его совершать прыжок от Бастилии прямо в голову и на язык бабушке, которая вот-вот соберется резать кружочками почернелую колбасу.

Он мгновенно расставляет своих птиц из проволоки и битых ракушек прямо на асфальте, в самой гуще рынка Бастий, среди помидорных, салатных, огуречных, банановых и манговых бастионов. В этот раз птиц семнадцать, когда меньше, когда больше. У бабушкиной истории имеется несколько вариантов.

Скорее всего, в Париже июль, жарко, проволочные когти птиц влипают в размягченный асфальт. Порой живой голубь на мгновение прибудит к проволочным собратьям, сядет и тотчас улетит прочь.

У всех птиц добродушное лицо, как у Слимана Уали, и у них его глаза. Круглые мясистые веки защищают от любопытных взглядов. Он поднимает веки, как в замедленной съемке, будто силится что-то из себя вытолкнуть или же что-либо в себя впустить. Оперение его птиц напоминает птичьи погадки, мусор, пыльными клочками скапливающийся под кроватями у горожан. На крыльях своих птицы несут легкие, как пух, светло-серые ворсистые хлопья. Он бережно, обеими руками усаживает каждую птицу, чтобы они не опрокинулись вбок на свои облачные крылья, и теперь кажется, что они могли бы внезапно, по одним лишь птицам понятной причине, взлететь и окунуться в облачную серость, и даже трепет их крыльев вполне различим.

Похоже, их шум будит Чана. Он покидает свое лежбище, потягивается, отряхивается и протяжно зевает.

Собачьим взглядом он сосредоточенно смотрит на Малышку, чтобы та уделила ему под столом кончик колбасы.

В Париже, – говорит бабушка, одним-единственным взглядом отсылая Чана обратно на его одеяло, – в Париже лестницы узкие и крутые, и квартиры там совершенно крошечные. В сумерки старые дамы в шлепанцах выскальзывают из своих крохотных квартир, с крохотными шариками собачек на руках. Дамы с утра не причесаны, у каждой второй на голове бигуди. Они аккуратно высаживают своих любимцев на асфальт и делают с ними, покуривая, кружок по кварталу. После чего надо быть чертовски внимательным, чтобы не вляпаться в свежую кучу. Нигде не лежит на улицах столько дерьма, как в Париже, – говорит бабушка.

\*

В особые дни, неважно, ожидаются гости или нет, стол накрывается в столовой. Для этого у бабушки припасена мертвая птица, настолько крупная, что свисает по обеим сторонам воскресного блюда. Бабушка набивает ее как подушку. Шпигует травами, яблоками и орехами и зашивает нитками зияющую дыру. Малышка не хочет есть мертвую птицу со швом, швы о чем-то ей напоминают.

Из целлофанового сверточка, оставшегося на столе от птицы, бабушка вынимает печень, режет кусочками и бросает на сковородку в сливочное масло.

*Аперитив*, – говорит она и кормит Малышку с вилки.

Когда бабушка ест, ее глаза лучатся. Она вспоминает тот большой отель, в котором она работала вместе с дедушкой, и она любит рассказывать об этом Малышке, причем как можно больше. В еде она знает толк.

Еда лучше любого лекарства, – повторяет она при каждой оказии, – она помогает от всего. А когда очарование юности позади, нужно держаться доброй еды. И: кто делает доброе жаркое, у того доброе сердце.

Если ночью она не может уснуть из-за того, что днем опять затеяла курс похудения, то в лунном свете она садится за кухонный стол и воровским образом опустошает холодильник. Это успокаивает.

Завтра будет новый день, – говорит она Малышке, когда та показывается на кухне, опять в дедушкиных носках и с вопросительным взглядом, проснувшаяся и встревоженная тем, что рядом никого нет. – Завтра будет новый день, и можно будет заново сбросить пару-другую калорий. Это от нас никуда не денется.

Для получения десерта положено переходить в гостиную. Малышка на мгновение задерживается в коридоре, и когда свет гаснет, заглядывает сквозь замочную скважину назад, в столовую. Бабушка по-прежнему сидит за обеденным столом, положив грудь на столешницу, где та занимает место от бабушкиных локтей до края тарелки с мясом, и вместо уборки шумно обглаживает кости дочиста.

Входи же, – зовет она, – поверь, это самое лучшее. Чем ближе к кости, тем лучше.

Потом она идет с Малышкой на кухню, достает из холодильника бутылку сливок, делает большой глоток и говорит: Чтобы лучше пошло.

Если птица идет, в бабушкином животе находится еще место для десерта. Она не в состоянии пренебречь сладким.

Лишь перед Пасхой бабушка делает вид, что перестала есть сладости. Так она будит в себе тоску по заячьим ушам. У пасхального зайца уши лучше всего, – говорит она.

Бабушка любит тоску, она ее холит и лелеет. У тоски есть маленькие, острые коготки, которые заставляют человека двигаться.

Куда? Этого бабушка тоже не знает. Возможно, отсюда в Тамангур.

Тамангур там, куда, в общем-то, никто не хочет, – говорит она. Возможно, бабушка хочет не совсем туда, а лишь чуть-чуть в том направлении, чтобы быть ближе к дедушке, но не совсем.

Рай довольно плохо переносится теми, кто еще не умер, – говорит она.

В конце концов, здесь тоже неплохо, за кухонным столом, который сейчас напоминает разграбленный ларек с искромсанной птицей, бутылками, корками хлеба, жареным картофелем, горой грязных тарелок, вилок, ложек и ножей и тоской, присевшей на один из стульев.

\*

Один из тех, кто крал время у бабушки, звался Гансом. Против его имени бабушка, собственно говоря, ничего не имела. Но с Гансами все равно что с военными. Их слишком много, а от обилия портится характер, – говорит она.

В спальне у Ганса были длинные, в пол, занавески цвета травы, которые в сумерках, если окно было открыто, сливались с зеленью луга. В такие часы было не разобрать, не то внешний мир вошел в комнату, не



то комната вывалилась наружу в исполненный теней мир цветов, кустов и птиц. Сороки там тоже были, сорочья парочка с двумя чудесными птенцами, которые иногда решались подскочить к краю комнаты.

Постфактум, – говорит бабушка, – я полагаю, что задержалась там только ради тех сорок.

\*

В колышущемся зазоре меж занавесками дрожит свет уличного фонаря, падающий на лицо бабушки. Лицо выглядит так, как будто бабушка от него отвернулась.

Слышно, как на улице мычит корова. Движения коров в соседском хлеву тоже можно слышать. Вот они склоняют набок головы, чтобы с открытыми глазами полностью уйти в свои большие тела: от жвачки и от шершавых языков товарок.

Ветер резвится на свежевывавшем снегу, мир словно преобразился. Да и в доме всё по-другому.

Наутро, когда Малышка встала с красными невыспавшимися глазами и запахом снега в ноздрах, бабушка, вытянув правую руку, сделала такой жест, словно была в силах подчинить себе любую угрозу, а потом сказала:

Когда человеку больше не страшно одиночество, тогда он свободен.

В течение целого дня Малышка пыталась понять, что может значить это слово: одиночество. Бабушка считает, что одиночество как-то связано с кулаком, который постоянно тычет Малышке в желудок и периодически не дает спать.

Пока Малышка с хозяйственной сумкой стоит на пороге гостиной, ожидая, что бабушка вернется к своему прежнему лицу и что-нибудь произнесет, снаружи на подоконник приземляется галка и начинает обследовать карниз. Бабушка стучит ей по стеклу костяшками пальцев, галка улетает, бабушка поворачивается и вновь оборачивается самой собой.

Странно, – говорит она, – что коровы мычат, таким вымученным и чужим выходит мычание.

Вместе они входят в кухню. Бабушка распаковывает карпа, принесенного Малышкой из деревни, и который, как каждый год, был заранее, едва ли не за месяц, заказан у мясника.

С первого взгляда ясно: карп слишком велик для двоих. Это их первое Рождество без бабушки. Год назад, совершенно неожиданно, он взял *да и удрал*, – как говорит бабушка, – по-тихому в *Тамангур*, *этот трус*. Казимир и его жена в этом году прийти не смогут. Отец с матерью уехали. Здесь остались лишь двое, пожилая женщина и Малышка. И еще Чан, пес.

Оттого бабушка пригласила Эльзу, что живет в желтом доме и не раз помогала ей собирать ягоды, гладить белье или мыть окна. Подобными вечерами люди не должны оставаться одни.

Ровно в семь звонят в дверь. Эльза ангелом в шубе перешагивает через порог. Она вплела в свои серые косицы мишурные волосы ангела и канцелярскими скрепками скрепила их на затылке. Малышка слегка побаивается Эльзы, однако бабушка находит ее освежающей. Про большинство людей заранее известно, что они могут сказать, это до тошноты скучно, и чтобы это вынести, нужно нацепить на лицо маску гостеприимства, а самому внутренне немного вздремнуть. Эльза, напротив, преисполнена сюрпризов, – говорит бабушка, – она славная девочка, стоит лишь к ней прислушаться. Эльза умеет собрать самые несоединимые вещи и связать их в аккуратный узел. Кроме того, – говорит бабушка, – я целиком и полностью за видовое многообразие. Но у меня нет безразличия, необходимого для того, чтобы предаваться веселью со скучными людьми. В мои годы на это и времени-то нет.

В качестве сюрприза Эльза привела Элвиса. Разумеется, на нем опять его дурацкий маскхалат, белый, с искрящимися блестками. Потому что Рождество, – говорит Эльза, – и потому что в Рождество все должно блестеть и искриться. Горы за окнами тоже искрятся наперегонки с блестками у Элвиса на груди и целят своими пиками в луну и звезды.

Пространство вокруг Эльзы слабо пахнет духами Chanel № 5 и картофельным погребом – то есть, Эльзой. Никто не знает точно, когда Эльза и Элвис стали парой. Когда-то, одним ранним утром после бессонной ночи, по дороге за хлебом насущным она шла мимо «Альпенрозе» и знала, что должна во что бы то ни стало зайти внутрь, тотчас, немедленно. Хотя время было без копеек восемь, и ей стоило опасаться, что черный человек как раз принимает свой утренний стаканчик.

Она вновь задумалась о всемирном тяготении и о времени, которое посеребрило ее черные волосы. В том, что время вступило с силой

всемирного тяготения в заговор против нее, Эльза была убеждена. Совершенно бессмысленно себя обманывать, – любила говорить Эльза, – можно сколько угодно упиваться искрящимися камушками и мехами, но невозможно провести время и тяготение. Как ни крути, но когда ты, посерев от дневной усталости, влезашь вечером в пижаму, они вновь ударяют по рукам, и наутро результат налицо.

История с Элвисом тоже так или иначе связана со временем и с всемирным тяготением. В это неприглядное утро эти силы привели Эльзу прямо в «Альпенрозе» и в объятия Элвиса.

И тогда я провалилась в детство, – рассказывала Эльза. – Трубочист действительно еще стоял у стойки, черный как вороново крыло, с бокалом красного вина в руке, которая ранним утром была еще розовой и, словно чужая, выглядывала из черного рукава, в точности как его лицо из высокого воротника, защищающего от сажи его шею.

Он постоянно должен много пить, чтобы выполоскать из своей глотки всю копоть, – уверяет бабушка, если речь заходила о трубочисте, – и он делает это профилактически с самого утра.

Этим утром за стойкой стояла кельнерша Клаудия, которая, когда Эльза вошла, занималась тем, что прикладывала грязные бокалы ко рту и усиленно дула в них, чтобы после мягкой тряпочкой удалить налет со стенок и доньшка.

Ты же так душу из тела выдохнешь, – сказала кельнерше Эльза, – через несколько лет останешься без души.

У меня ее никогда и не было, – ответила Клаудия, – и Эльзе сразу стало ясно, отчего Клаудии не нужно было бояться трубочиста: ей было нечего терять.

Я много чего боюсь, – говорит Эльза, – не боятся одни трусы.

Внутри *детства* нехстати проснулась муха, она летала безумными зигзагами по «Альпенрозе» и тем самым привлекла внимание Эльзы к маленькому столику слева от второй двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». Там-то собственной персоной и сидел над кружкой пива Элвис, втирая в волосы бриолин.

С тех пор они пара. В горе и в радости, в болезни и в здравии. Это была любовь с первого взгляда. С тех пор черный человек ей ничем не угрожает.

Элвис принял ее в объятия, и напел ей на ушко *Are you lonesome tonight*, и стащил с ее пальца один камушек, нежно, ласково.

С ним не всегда было легко.

Случались дни, когда мне приходилось дать ему пинка под зад, – говорила Эльза, – из-за камушка, из-за того, что занимал чересчур много места. А то просто так, из чистого удовольствия. В этом движении, вот так, от бедра, есть что-то раскрепощающее.

Она брала небольшую паузу.

Отсутствующие вещи, они всегда занимают так много места.

Бывают дни, когда Эльза так крепко и свежо влюблена, что готова в первом встречном рассказывать о своей влюбленности в Элвиса. Прежде всего, если он снова взял да и удрал, например, в Париж, где он вероятнее всего сидит на берегу Сены и вместе с клошарами поет под гитару ее любимую песню.

Ее волосы в такие дни растут из головы словно антенны, растут в сторону Элвиса, навстречу перестуку Транс-европейского экспреса из Парижа. Ей хочется быть рядом с ним, а не в этом захолустье. Элвис украл ее сердце, и сейчас, в парижском поезде, оно громко бьется навстречу деревне. Оно бьется и стучит так громко, что его слышно даже в комнате бабушки, где Эльза сидит с поникшими плечами, скучая по Элвису.

Да, – говорит она сейчас, кладя свои голубые перчатки из козловой кожи в корзину возле вешалки – эти внезапные скачки времени, даже не верится, что мы все еще вместе, Элвис и я. А между тем все эти души так и лежат где-то, разбросанные по обочинам дорог. С ними презрительно, без жалости покончено. Ты попросту шагаешь дальше, как будто и не было ничего. Вот они лежат, не убереглись, слишком близко подлетели к факелу и уже распались в прах и пепел.

Какому факелу? – спрашивает бабушка, помогая ей снять пальто. Ко мне, – говорит Эльза, – ты же знаешь.

Тут Эльза умолкает, бабушка тоже умолкла, какая-то тяжесть легла на всё, на кухню, над карпа и на Малышку. Та чувствует смутную опасность. В таких ситуациях молчание может всех за просто проглотить, а никто и не заметит.

Мне хочется есть, – говорит Малышка чуть громче положенного, и бабушка с Эльзой принимаются за работу. Первым делом бабушка острым ножом энергично сдирает с карпа блестящую чешую, а Эльза делает на нем маленькие надрезы, чтобы потом окропить их лимонным соком. Вместе они заправляют и фаршируют его брюхо пряностями и очищенным мелкорубленным картофелем, пока оно туго-на-

туго не надуется. Потом карпа кладут открытой раной на подушку из фенхеля, моркови и сельдерея и задвигают противень в раскаленную духовку.

Эльза вегетарианка, даже рыбу не ест, но она делает исключения. В течение года она из принципа не ест животных, хотя они ей, собственно, по вкусу. Впрочем, иной раз ради гастрономического удовольствия она рисует маслом рыбу и куски жареного мяса, о которых в данный момент думает.

Наряду с жарким, колбасами и прочими отбивными Эльза рисует картины, на которых ничего не понятно. Когда ей весело, она рисует черные картины, когда грустно, то красит холст в желтый или красный.

Это для сохранения равновесия, – говорит она. Она не знает точно, зачем иногда просто красит поверхность холста, но считает, что по-настоящему важные вещи так и так не нарисует, зато их можно обнаружить на этих поверхностях.

Тем временем бабушка с помощью Эльзы и Малышки уже накрыла в столовой. Как бы то ни было, сегодня, в конце концов, праздник, а в праздник негоже есть на кухне. Есть какие-то устои, – настаивает она, – иначе человек делается неустойчив, а бабушка не в ладах с неустойчивостью. Неустойчивость предшествует падению.

Двери в гостиную пока что остаются запертыми. Никогда ведь не знаешь. Может быть. Быть может, Младенец Христос проявит сочувствие к обыкновенной Малышке и заглянет на огонек. Младенец Христос на то и младенец, он, может быть, все видел – и все понял. Ну что ей, маленькой девочке, было делать? Река такая сильная, ее саму чуть было не сорвало. Она же звала, кричала.

Тихий и маленький, все меньше и меньше, с пугающей очевидностью, нимало не сопротивляясь, младший брат раскачивался тусклой рыбкой на бурной, искрящейся воде, все дальше и дальше, меньше и меньше, пока не превратился в крохотное пятно, пока его окончательно, целиком и полностью, не забрала с собой волна.

Куда течет наше река? – была спрошена бабушка некоторое время спустя.

В Черное море.

\*

Эльза вновь сидит с бабушкой за столом и рассуждает о Млечном Пути. Бабушка кивает, словно бы и ей в свое время довелось погулять по Млечному Пути и доподлинно узнать, как он выглядит.

На вопрос Малышки она отвечает: А сама ты как считаешь, почему Млечный Путь зовется Млечным?

Малышка представляет себе, как человек из молочной лавки в самом верху крутой улочки опорожняет молочные баки, и молоко течет вниз по улочке, образуется белая река, и эта река уносит с собой всё, грязь, кремнистую гальку, козы орешки. Даже невежливую козу она смывает с ног. Коза опрокидывается на спину, брыкается, блеет, пока внизу в долине она не отдается реке целиком, и река белеет, а еще через много дней белая река вместе с козой добирается до самого Черного моря, в котором выслеживает корабли младший брат. Малышка довольна тем, что у козы в Черном море теперь будет своя компания.

Бабушка подгоняет ее. Хватит мечтать, – говорит она, – твоя полента давно остывает.

Малышка улыбается и быстро выхлебывает суп.

Бабушка всегда голодна. Она согревается собственным голодом, она умна, она прекрасно разбирается в достойных способах выживания.

\*

Временами младший брат плыл с рыбами в черной как смоль воде далекого моря или же скакал верхом на спине огромной радужной форели сквозь волны и погонял ее, ликуя и смеясь, своей маленькой хворостинкой.

Однако этот сон имел и темную сторону. Тогда младший брат неожиданно соскальзывал со спинки форели в море и кричал, и кричал, а Малышка с криком просыпалась под боком у бабушки.

Она была полностью уверена, что из-за нее для матери померк солнечный свет, и та погрузилась в пучину мрака. Кто сумеет такое простить, даже матерям это не под силу.

Разве что бабушке может хватить сил.

\*

Однажды бабушка посмотрела фильм, который ее больше не отпускает. Посреди огромного города в Индии, где-то на улице, по которой взад-вперед муравьями ходили люди, белая женщина в прекрасном бледно-желтом платье сидит перед индийским машинописцем и надиктовывает ему свои печали.

Писец молотит указательными пальцами по клавишам машинки с такой скоростью, будто он угадывает печали этой женщины еще до того, как она облечет их в слова. Женщина не успевает ему диктовать, с такой скоростью он молотит, усиленно кивая при этом головой в знак согласия, мол, ему отнюдь не чужды ее печали, хотя сама женщина ему чужая.

Заполнив лист до конца, он с треском выдергивал его из пишущей машинки. Лист планировал на землю, а он моментально вкладывал новый. Целая пачка бумаги уже валялась на улице, и ветер над головами прохожих уносил ее вдаль.

Заметь, – всегда говорит бабушка в этом месте, – все листы были чистыми.

Коту под хвост, – говорит Малышка.

Именно, – говорит бабушка, – тем более, коты в принципе могут читать с чистого листа, у них острое зрение.

Если достаточно долго смотреть на пустой лист, то можно распознать отдельные сообщения. Правда, послания егозят на бумаге и делаются неуправляемыми. Тогда их необходимо укрощать и приучать к порядку.

\*

Когда фрау доктор отправляется за границу, то бабушка вместе с Малышкой может ее сопровождать и на протяжении целого дня совсем не думать о дедушке.

Всё дешевле с той стороны границы, мясо, сыры и масло, люди разговаривают на другом языке, и там есть бордели.

Трубочист тоже раз в месяц бывает за границей. Его жена говорит, что он там занимается делами, еще какими, могу себе представить, – говорит фрау доктор, отпускает руль, стучит себя ладонью по лбу и трясет головой так, что щеки дрожат.

Девочкам нельзя в бордель, и мальчикам тоже. Только когда вырастут.

Пастору туда тоже нельзя. Он против борделей, однако фрау доктор считает, что, не будь пастор пастором, то вполне.

В деревне тоже есть одна *такая*, – говорит она, – но эта живет на большой площади, где каждого, кто входит и выходит, хорошо видно – даже когда темно. Поэтому мужчины предпочитают за границей. Там они *анонимны*, – говорит фрау доктор.

Окошки, выходящие на площадь, действительно имеют глаза и уши, а тяжелая деревянная дверь визжит как поросенок, когда его за хвост тянут крутой улочкой на бойню.

На крутой улочке живет парикмахер, который также частенько отправляется за границу, он даже прихватывает с собой дочку, а иной раз и ее маленькую подружку, Малышку, чтобы дочка не скучала, ожидая его в ресторане за тарелкой с клецками или кайзершмаррном.

Дочка с крутой улочки понятия не имеет, зачем ее отец бывает за границей. Она заранее радуется клецкам, кайзершмаррну, когда вместе с подружкой садится в отцовскую машину.

Она прелестна, эта девчушка, – говорит фрау доктор, – только жаль, что у нее такие же кривые ноги, как у матери, не удивительно, что ее старик бывает за границей.

Когда парикмахер с дочкой и Малышкой бывает за границей, он рассказывает им о прежних днях и о лошадях, и какой зверский мороз случался в те дни, и как мужчинам приходилось заворачивать своего доброго друга в газету, чтобы он не отмерз за долгие часы, проведенные в седле.

Малышка слушает внимательно, она души в нем не чаёт – из-за его носа, напоминающего ей о козе.

Однажды, когда коза, у которой нет колокольчика, вновь прошла мимо Малышки, та закрыла глаза и представила себе, будто это парикмахер. Она вновь пожелала доброго дня, и коза обернулась, будто была парикмахером. А потом раздалось тап-тап-тап, и коза с парикмахерским лицом двинулась дальше.

Однако трубочист не ходит в бордели. С ним дело обстоит иначе. Он не любит женщин.

Он же *извращенец*, – говорит фрау доктор.



Каждый вечер трубочист покупает в «Альпенрозе» свою пачку Gauloises bleues, выпивает за стойкой бокал красного вина и немного болтает с кельнершей Клаудией. Она-то понимает, что ему иной раз нужно за границу.

\*

Над рестораном в «Альпенрозе» есть комната с тонкой деревянной стеной.

Люция, девочка из «Альпенрозе», которая в школе сидит рядом с Малышкой, хотя и старше ее на три года, регулярно смотрит сквозь отверстие от сучка в стене и сообщает Малышке, когда *интересно*. Тогда девочки тихо стоят в темном коридоре, так, чтобы раздетые люди не пугались в своей наготе. Мужчина и женщина бегают друг за другом по комнате и хихикают, или же елозят друг на друге и пыхтят.

Это они трахаются, – говорит девочка из «Альпенрозе». Все взрослые трахаются, а трубочист, который не любит женщин, трахает мужчин.

Иногда девочка из «Альпенрозе» берет с собой Малышку в свою маленькую церковь посреди большого сада с фруктовыми деревьями в нижней части деревни.

Люция сочувствует Малышке, которая не может воровать мирабель из церковного сада. Сама-то она может, ведь после ей достаточно исповедаться, и все будет прощено.

Поэтому гораздо лучше быть католичкой, – говорит Люция, и Малышка задумывается. В маленькой католической церкви так хорошо пахнет.

Обе девочки стоят в сумеречном свете церковного притвора, Люция показывает Малышке, как надо креститься. Священник в просторной коричневой рясе подходит к ним, улыбается и достает из своего глубокого кармана два красных яблока. Он трет их о рясу, пока не заблестят. Ему пока неизвестно, что Люция и Малышка уже воровали его мирабель.

\*

Вниз по течению реки был большой валун, прозванный «Слоном», круглый, с обращенным кверху светлым брюхом. По косогору стелился лисохвост, вытягивая свои метелки по направлению к воде,

еще дальше на берегу живая изгородь, сквозь темные стволы деревьев просвечивал барбарис.

Стояло позднее лето. В дрожащей жаре беззвучно уплывала его красота.

На Слоне восседал дедушка, в ухе у него гудело.

Тень плотного облака внезапно накрыла косогор, где пес ожесточенно тыкался мордой в землю, чтобы набить себе пасть холодной крысой, от которой во все стороны прыскали мухи.

Малышка карабкалась наверх к дедушке. Какое-то время они вместе молчали, глядя на воду, на удочку, на поплавок. До сих пор ни одна рыба не клевала. Слон был заколдованным местом, которое время от времени полагалось посещать, пусть и не по собственной воле.

Время от времени тут отворялась бездна, дыра, которая с каждым мгновением становилась все больше, распахивалась все глубже, и было очевидно: если никто не прыгнет туда и не заткнет дыру, она может поглотить всех.

Вот и сегодня не пришлось долго ждать, вода показала ей то, что должна была.

Тихий и маленький, делаясь все меньше и меньше, по искрящейся реке уплывал младший брат, пока не превратился в пятнышко, пока его и на этот раз не забрала волна.

И, как обычно, сердце Малышки отозвалось барабанной дробью.

Дедушка поймал форель.

Малышка молниеносно сползла по Слому вниз, чтобы укрыться от бездны и от барахтающейся рыбы. Но и берег был отнюдь не безопасной территорией.

Лужа под лежачей ольхой пересохла, лягушки онемели, однако уши Малышки все еще были наполнены громким кваканьем. Она заткнула уши и быстро побежала по направлению к дому.

\*

Еще совсем рано, летнее утро, бабушка достает кофе из кухонного шкафа. Ее одолевает тоска по снегу.

Эти славные снегопады, – ей нравится их иная тишина.

Когда она просыпается утром, слишком рано, потому что не был продуман до конца вчерашний день, ей хочется, чтобы шел снег.

Сегодня нам нужно к портнихе, – говорит она Малышке, – так будь добра, сразу после школы иди домой.

Крокодил, – говорит Малышка, корча рожицы.

Тш-ш-ш, – шипит бабушка, хватая Малышку за руку и тычет ей в лицо своим шершавым пальцем, сперва в левый, а затем в правый уголок рта, размазывая таким образом варенье до самых мочек ушей. Называется: умыться.

Но ты права, – говорит она Малышке, – у портнихи крокодильи глаза. Каждый раз, когда я ее вижу, приходят на ум крокодилы. Как оно на меня зыркнуло, чудовище! Помню, где-то на Кубе была тихая заводь за постоянным двором, вот в ней-то он и затаился. И вдруг неожиданно-негаданно хлюп тяжелым мокрым тюком на берег! Этакие глазки себе на уме.

Ты, когда злишься, строишь похожие глазки, – говорит Малышка.

У нее каждый раз такое чувство, что она стоит голой, когда портниха достает сантиметр, чтобы снять мерку,

Зато от меня не несет крокодилом, – смеясь, говорит бабушка.

Кто еще перешьет старые рубашки на блузки и такие милые платья для Малышки?

\*

Не так это просто, ускользнуть от бабушки. Кожа Малышки вся в отметилах, оставленных ее наждачными пальцами.

Беря за руку Малышку, чтобы доставить ее в надлежащее место, куда той вовсе не хочется, бабушка нажимает большим пальцем на внутреннюю поверхность предплечья и водит им туда-сюда, принаравливаясь к пульсу Малышки. Или наоборот? Сердце стучит оттого, что бабушкин палец заставляет его стучать? Малышка вырвалась бы, но ей не хватает решимости. Сердце может остановиться. Бабушка в ее сердце, она угнездилась там и толкает стенки сердечных камер своим жестким большим пальцем.

В такие минуты Малышка ненавидит бабушку, причем без каких-либо угрызений совести. Бабушке знакома ненависть. Это чувство, – говорит она, – которое согревает лучше огня. Ей непонятно, отчего у ненависти дурная слава. Ненависть обостряет ум, улучшает кровообращение и вообще она полезна. Бабушка обожает порассуждать о ненависти. Кем человек был бы без ненависти! – говорит

она. – Существом, не питающим надежд на лучшее, довольным собой и жизнью. Не способным ни любить, ни страдать. Ни искусства, ни книг, ни споров не существовало бы, ни доброго жаркого, ни милосердия, никакой войны и никакого мира. Одна гармония.

Бог мой, – говорит она, – можно ли вообразить себе более скучный мир? Гармония ведет к лени и тупости! В щепотке ненависти соль жизни! Молочные реки в кисельных берегах от нас никуда не утекут. Кто знает, может это только другое название для пекла, – говорит она, светлея лицом. Она позволяет себе эту роскошь, щепотку ненависти.

Поэтому Малышка не испытывает угрызений совести, когда ненавидит, и чистая ненависть согревает ее.

Впрочем, лишь значительные люди и вещи заслуживают ненависти, – говорит бабушка, – ненавидеть мелочевку не стоит свеч. Поэтому Малышка старается обойтись без ненависти к соседке, она просто смотрит ей в лицо, будто в упор не видя, и не отвечает. На это соседка может лишь слащаво улыбаться, чтобы потом жаловаться бабушке на *закоренелость* Малышки.

Соседка из тех людей, что никогда не имеют в виду того, что говорят. Она так цепляется за лицо жизни, – говорит бабушка, – будто с изнанки ее поджидает пропасть. Двое детей, а такое впечатление, что она мужского духу ни разу не нюхала.

Но бабушке нужна голая правда, и своей душе она в этом смысле полностью доверяет.

Отчего у соседки горб? – спрашивает Малышка.

Оттого, – говорит бабушка, – что сердце у нее из груди перебралось на затылок, и теперь она такая бессердечная.

\*

Портниха принесла бабушке подарок в честь дня рождения. Это брошюрка, купленная ею в привокзальном киоске.

Ты ведь любишь читать книги, – говорит она. – Красавица из Амальфи, такая красивая история, – говорит портниха, и из ее крокодильих глаз выстреливает маленькая молния. – Но это не для Малышки, ты понимаешь.

Ладно, ладно, – говорит бабушка, а Малышка делает невинное лицо.

\*

Земля является шаром, так учат Малышку в школе. Ей понятно, о чем речь, когда Эльза говорит, что чувствует, как вертится земля. Днем она этого до сих пор не замечала, но вечером, лежа в кровати, пока бабушка в соседней комнате смотрит по телевизору детектив, ей кажется, что кровать совсем чуть-чуть наклонилась к окну, и удивительно, что никто не упал с этой кровати на земной шар.

Для безопасности она крепко сжимает книжку в руке и немного пролистывает.

Слуга в белых перчатках впустил красавицу из Амальфи в замок и теперь, в полном одиночестве, она ждет, сидя за маленьким столиком в огромном, высоком, почти пустом зале. Женщина прекрасна как кинозвезда и носит меховую шубу, как Эльза. Она неотрывно глядит на дверь в левом углу. Вдруг слышатся шаги, дверь открывается, шуба медленно сползает на пол, и *красавица из Амальфи* уже стоит в чем мать родила во всей своей красе. А на пороге стоит принц.

В этот момент в комнату заглядывает бабушка, велит спать спокойно и выключает свет.

Наутро Малышка просыпается в своей постели рядом с бабушкой. Вроде всё как всегда. Однако: ночью красавица из Амальфи удрала в неизвестном направлении. Книги нигде нет.

\*

Эльза чувствует массу вещей, о которых другие люди не имеют понятия. У нее странные желания, другим людям даже не приходящие в голову.

Всеной, например, она желает просидеть как-нибудь целые сутки на лугу, чтобы *увидеть*, как растет трава.

Но Элвис и голод не дают этого сделать.

То, о чем люди думают и что они себе представляют, часто важнее того, что творится у них под носом, – сказала раз бабушка.

И Эльза может представить себе, как растет трава. Однако она хочет *видеть* своими глазами.

Возможно, – говорит она, – трава, растя, издает шорох, и Малышка представляет себе, как трава шепчет, шуршит и шушукается или даже иногда шипит, когда ей нужно пробиваться силой сквозь жесткий дерн.

Эльза не боится оставаться одна.

Мне никогда не скучно, я сама себе компания. И мы отлично сработались.

\*

Бабушка всегда отдает должное разуму. Но чтобы досконально понимать вещи, человеку обязательно нужен нос.

Малышка дотрагивается до своего носа, чтобы проверить, на месте ли он.

Нет, – говорит бабушка, – я не это имею в виду. Не только это. Все твоё тело должно быть своего рода носом, оно должно читать следы как охотник. Оно должно чувствовать, где и как растёт трава...

Как Эльза? – спрашивает Малышка и ещё раз трогает свой нос.

Она гордится своим носом.

Во время поездок в город бабушка с треском срывает покрывало с застеленной кровати в гостиничном номере, Малышка без слов пригибается к ней так, чтобы нос почти коснулся простыни, а когда она выпрямляется, бабушка уже знает, распаковывать им багаж или нет.

Сейчас она грозит пальцем, прихватывает нижней губой верхнюю, цепляет сумку и наступательно движется к дверям с Малышкой в арьергарде.

Белье не стирано. Только пропущено через гладильный каток, – говорит она на ресепшен и сразу же получает следующий ключ. От чужих запахов и перхоти у бабушки высыпает гусиная кожа. Уж лучше она будет спать на голом полу. Посреди чужих запахов и перхоти невозможно видеть сны про дедушку.

В новом номере простыни выстираны, сообщает нос Малышки.

Бабушка ставит дорожную сумку возле окна, к батарее отопления, а сумку с сыром и колбасами возле входной двери, где чувствуется небольшой сквознячок. Так мы не будем завтра пахнуть словно два камамбера, – говорит она.

Больше всего она любит французский камамбер. Поэтому она частенько ездит с Малышкой в город по ту сторону границы. В деревне есть только три сорта сыра из трёх разных частей Альп, а на этом бабушке не прожить.

На накрытом у них дома столе сыр выглядит почти так же, как в магазине, где сегодня они купили много кусков сыра, и с коричневой коркой, и с клейкой красной, и в белой, с пушистой плесенью шкурке.

Ночами в гостинице бабушка спит особенно беспокойно. Она сама не знает почему, не знает, кто или что посещает ее или подселается к ней в такие ночи, после напряженного похода по городским магазинам в поисках различного продовольствия. Она ворочается, мечется туда-сюда, при этом храпит будто черт, рыкающий от злости, когда кто-либо благополучно минует яму, которую черт для него выкопал.

Рыкает черт или нет, когда его распирает от злости, Малышка не знает точно, однако католическая подружка из «Альпенрозе» показала Малышке картинку с чертом, и на ней он выглядел вполне способным рыкать как агрессивная собака.

Над сумкой с сырами висит на вешалке маленькая шубка из белого кроличьего меха. Собственное черное пальто бабушка отвесила куда подальше. Белый кроличий волос все равно что чума для пожилой дамы, одетой в черное. В поезде Малышка может устраиваться рядом с бабушкой не раньше, нежели белая шубка будет отправлена на багажную полку.

В общем-то бабушка любит кроликов и охотно рассказывает о них, тем более, что она в них разбирается, она много лет разводила этих зверушек в саду, сворачивая им шеи, когда сильно тянуло на их нежное мясо. Она хорошо знала своих кроликов, их уши, мордочки с дрожащими усиками вокруг ноздрей, она говорит и говорит, пока у Малышки все тело не начинает зудеть от стольких дрожащих усиков.

Теперь в их саду больше нет ни одного кролика. Теперь Малышка носит кроликов на себе, когда приходит зима.

\*

На следующий день в городе, в кафе, кроме бабушки и Малышки, сидят двое *квелых мужчин*, уткнувшихся в свои газеты. Бабушка нуждается в кофе и передышке между покупками, ей нужно пройтись еще раз по закупочному списку.

Один мужчина складывает газету и подходит к ней.

Прощу прощения, – говорит он, – у меня тоже Альцгеймер. Я поступаю точно так же, как и Вы, я должен все записывать, чтобы найти дорогу домой. – Удачи, – говорит ему бабушка и дружески смеется.

\*

На обратной дороге из города по центральному проходу вагона мимо Малышки и бабушки быстро проходит вперед человек. Он в черной одежде, у него черная куртка с капюшоном и длинный и тяжелый черный рюкзак, свисающий до середины бедра. Из рюкзака в небо торчит огромный букет из фазаньих перьев.

Гляди-ка, – говорит бабушка, – человек распускает хвост. Стало быть, мужчина.

При слове *мужчина* она на мгновение прикрывает глаза и вдруг неожиданно спрашивает:

Что уходит, когда человек умирает? Часть того, что он сделал, тоже уходит?

На блошином рынке деревянная корова, вырезанная дедушкой и лежащая сейчас на коленях у Малышки, вряд ли бросалась бы в глаза. Возможно, кто-нибудь и купил бы ее за пару грошей другому малышу, и рано или поздно эта корова добралась бы до помойки и потеряла бы всякую ценность.

Но корова сделана не только из дерева. Она привязана к дедушке цепочкой. Она до тех пор остается настоящей коровой, пока Малышка играет с ней.

На что это будет похоже? – спрашивает бабушка. Она невольно говорит вслух.

Что? – спрашивает Малышка.

Тамангур зимой, – говорит бабушка и вглядывается в кутерьму снежинок за окном поезда.

\*

Этим утром, когда бабушка собралась постирать куртку Малышки, что-то выпало на пол из правого кармана куртки. Это что-то оказалось перочинным ножиком с именной биркой.

Бабушка, мечта гром и молнии, стоит перед Малышкой. Малышка не шелохнется, глядит бабушке прямо в глаза, надеясь, что бабушка поймет. Должна понять. Однако бабушка уже ничего не понимает, ее шипящее *Где ты это взяла?* гуляет эхом по углам комнаты, в которой неожиданно сделалось так тихо, что собственное дыхание звучит ураганным ветром.



Это лежало в песке, – говорит Малышка и опускает взгляд.

В песке... – повторяет бабушка.

Она без слов разворачивается и уходит.

В песке, – говорит Малышка, – это лежало в песке, оно блестело на солнце. Я только хотела быстро...

Некоторое время она стоит, будто окаменев, затем убегает в сад и прячется под сиреневым деревом.

Лишь к вечеру возвращается она в дом. За ужином обе хранят молчание, а ночью и бабушке, и Малышке снится один и тот же плохой сон, в котором важную роль играет имя Карло.

\*

При своих одиннадцати братьях и сестрах Карло, сидевший в школе в последнем ряду сразу за Малышкой, был одинок. О нем никто не заботился. Он проводил время, играя во дворе с кошками, почти всегда был нездоров и всегда хотел есть. Нередко перед большой переменной Малышка слышала глухой звук. Карло лежал в обмороке.

Чтобы его мучнисто-белое лицо не маячило на уроке, учитель попросту выставлял его за дверь.

Занятия не интересовали Карло. Он играл со своим перочинным ножиком или же засыпал.

Однажды ему в голову швырнули мокрой тряпкой для вытирания доски, и липкая затхлая вода стекала по его лицу. Карло вонял.

На рисовании он как-то раз испещрил целый лист бумаги лицами, у которых не было ни ртов, ни носов, только по паре огромных глаз.

Река выбросила его труп на берег по ту сторону границы. Там, где река обвивает холм своим рукавом, перочинный ножик, должно быть, выпал в песок из брючного кармана. Прямо рядом с ботинками.

Всё, чему нет места в деревне, забирает себе река, – говорила бабушка, когда снова кто-нибудь пропадал без вести.

\*

Как-то вечером, вскоре после того как дедушка взял да и удрал по-тихому в Тамангур, Малышка попросилась было спать с бабушкой, но та прогнала ее в гостиную на диван.

Когда же Малышка решила хищной кошкой прокрасться в спальню, в надежде, что бабушка уже, должно быть, спит, то сквозь дверную

щель она увидела, как бабушка аккуратно примеряет свою голову к ложбинке на подушке, оставленной дедушкой в его последнюю ночь.

Внезапно бабушка начала, как бешеная, втыкать и вбивать голову в эту ямку, без остановки, со злостью, от которой Малышке сделалось страшно. Она разговаривала с ложбинкой, будто это был сам дедушка, а потом кулаками била по подушке, била бешено, что есть силы – потом внезапно успокоилась. И пока Малышка, оцепенев, старалась не дышать, бабушка начала жалобно скулить, до тех пор, покуда Малышка не положила ей на руку свою ладонь. Брось, – грубо одернула ее бабушка, – горе ты мое. Ложись уже!

Малышка поняла и мигом шмыгнула под одеяло. С тех пор она всегда спала на дедушкиной стороне.

Подушку вместе с прочим бельем на следующий день забрала соседка, время от время помогавшая бабушке по хозяйству, в качестве компенсации за то, что бабушка ее выслушивала.

\*

По утрам я ощущаю себя высотным домом, – говорит Эльза, – с единственным парадным. Швейцар потягивается, зевает и отпирает.

А снаружи люди уже в очередь, все хотят попасть внутрь, вот только сделать это быстро никак не получается. Суматоха, толчея, теснота. Под их натиском небоскреб начинает ходить ходуном.

Сейчас девять часов утра, Эльза сидит у бабушки на кухне.

Мне совершенно необходим крепкий кофе.

Как было вчера в бассейне? – спрашивает бабушка.

Но Эльзе хочется поговорить о высотном доме.

Иногда мне кажется, – говорит она, – что в меня встроен лифт. К примеру, он тормозит на пятом этаже, я хочу выйти, но прежде чем двери откроются, кто-то – или что-то? – вызывает его на восьмой этаж, и лифт едет вверх-вниз, без конца. Это требует сил.

А тут еще Элвис, которому вечно что-то от меня нужно. Элвис ненасытен, он чудовище, волк в овечьей шкуре – но что бы я без него делала! – говорит Эльза.

Бабушка разливает кофе по чашкам и присаживается.

Как было вчера в бассейне? – спрашивает она еще раз.

В купальне-лягушатнике, в самом левом уголке, качался мужчина

на воде. А его длинные черные волосы расплзлись по воде щупальцами медузы, – говорит Эльза.

Старый доктор тоже там был, он тоже ходит раз в неделю на водные процедуры. Он выглядит так, будто всю жизнь ни с кем и ни с чем не был согласен.

Да? – спрашивает бабушка.

Если поехать с ним в его машине и начнется лес, там, где он всегда начинался на этом участке дороги, доктор непременно скажет: Смотрите, лес! Как будто удивляется тому, что он по-прежнему здесь, лес-то. Как будто упрекает его, – говорит Эльза.

\*

У бабушки сохранилась старая сломанная пишущая машинка, для которой уже не купить чернильной ленты, только прекрасный белый лист.

Под настроение, обычно вечером, когда основные дела переделаны, она садится за стол, на котором стоит машинка, заряжает в нее белый лист, как индийский машинописец из того фильма, и Малышка диктует бабушке письмо, адресованное дедушкиной душе.

Когда душа дедушки явится в ночи, поскольку будет тосковать по теплой постели и по бабушке, то сможет прочесть это письмо. Белые листы бумаги бабушка помечает соответствующей датой и складывает в папку, чтобы у дедушкиной души всегда была возможность заглянуть в них, если что-нибудь вылетит у нее из памяти напрочь.

В последнем письме Малышка рассказывает о Казимире, дедушкином друге, который снова заходил вместе со своей женой, она описывает большие ноги казимировой супруги и как она впихивает их в балетки из змеиной кожи.

Казимир делается всё меньше, – диктует Малышка. – Скоро он исчезнет, как и ты. И в Тамангуре у тебя будет компания.

\*

Осенью бабушка все чаще, со слезами на глазах, возвращается к тем дням, когда она познакомилась с дедушкой. Вновь и вновь старая история про парк. Она ждет под кроной конского каштана, она молода и прекрасна и у нее настоящий взгляд сфинкса, там, в тени темно-зеленой листвы.

Вот он подходит к ней, тенью из тени, чужой, так и оставшийся чужим вплоть до самой смерти. И она слышит три слова, решившие ее судьбу: Я хочу тебя, я хочу тебя.

На этом история прерывается. Вздохом.

У него были шелковые ступни, – опять говорит бабушка. Так кончается история про парк.

\*

Итальянский дядя, живущий в Нью-Йорке, приедет и в этом году, чтобы утешить бабушку. Каждый раз, когда бабушка прячет ключ от дома под половик, дядя – хотя бабушка и прячет ключ всегда в одно и то же место, причем в деревне всем так или иначе известно, что ключ кладется либо под половик, либо в цветочную кадку – обязательно говорит: *Remember where you left your keys!*

Бабушка повторяет: *Remember where you left your kiss!*

Дядя подмигивает ей, и они идут вместе с Малышкой сквозь деревню по главной улице. В отеле «Роза» они садятся снаружи, на солнце, и глядят вниз на жестяные крыши, сверкающие в солнечных лучах. Дядюшка заказывает бифштекс, и бабушка делает большие глаза, как бы рисуя вопросительный знак меж бровей.

Нет, нет, – говорит дядя, – я не голоден, ты, как всегда, прекрасно меня покормила. Я ради чистого удовольствия.

Ради удовольствия всё позволено, – говорит бабушка, – почти. И принимается за розовое мороженое.

Дядюшка смеется и на миг кладет большую тяжелую ладонь на голову Малышки, которая погружает свою ложку в бабушкину вазочку. Затем он вздыхает, прежде чем энергично воткнуть нож в мясо.

Малышке нравится в дяде из Нью-Йорка его неторопливая походка. Оставаясь одна, она пробует изобразить, как ходят разные люди, чтобы понять их получше.

Трубочист, когда он без щетки, идет так, как если бы бежал в спортивных тапочках по горячему асфальту. Изображая его, Малышка нервничает, ей не хочется влезать в шкуру трубочиста, она не уверена, что, будучи трубочистом, смогла бы удить рыбу. На рыбалке ты должна быть само спокойствие, – говаривал дедушка, – иначе форель внизу по реке не станет клевать.

Иногда, скучая по дедушке, Малышка изображает и его. Тогда она

ходит большими, тяжелыми шагами, болтает руками и весело посматривает по сторонам и вверх, на горы.

Самая необычная походка у соседки. При ходьбе она загребает воздух ладонями, как веслами озерную воду, стараясь как можно быстрее пристать к берегу.

\*

У портнихи глазки как у крокодила, зато она хорошо поет.

*Brucia la luna n'cielu, e ju bruciu d'amuri*, – поет она этим зимним утром возле открытого окна, когда бабушка с Малышкой и с сумкой, полной старых дедушкиных рубашек, заворачивает за угол.

*Горит луна на небе...*

Бабушка останавливается. Малышка смотрит на нее с вопросом.

Что это за песня такая? – спрашивает бабушка у портнихи, кладя свое пальто на спинку стула, а рубашки на стол портнихи.

Ее комната немного напоминает монастырскую келью и одновременно бордель, – сказала как-то бабушка. Иисус и Дева Мария из золотых рамок улыбаются блондинке в бикини, которая сладко потягивается на плакате прямо напротив.

Портниха вынимает изо рта булавки.

Это сицилийская песня, я научилась ей у моей тети в Палермо, когда была там прошлым летом.

Ты можешь записать для меня слова? – спрашивает бабушка.

*Горит луна на небе, я сгораю от любви  
 Пылает сердце и огонь течет в крови  
 Lanima chianci addulurata  
 Non si da paci ma cchi mala nuttata  
 Lu tempu passa ma non aggiorna  
 Non c'è mai suli s'idda non torna  
 Горит земля моя и сердце мое тоже  
 Ей лишь вода а мне любовь поможет  
 Зачем на песнь я осужден  
 Когда никто уже не выйдет на балкон*

На улице уже снежит. Пока портниха снимает и вписывает в блокнот мерки, бабушка расправляет рубашки, крутит и вертит их перед собой, оглаживая ладонью с таким лицом, как будто дедушка воскрес из мертвых.

Первый снег напоминает бабушке детство. Вместе с первыми снежинками оно идет на нее лавиной. На мгновение время становится бесконечным, как прежде, когда зима была еще добрым великаном с жарким дыханием, там, где бабушка была Малышкой, а счастье было близким.

Когда бабушка и Малышка возвращаются домой, уже совсем поздно. Их дом на углу сторбился в темноте и держит на поводке Чана.

\*

С тех пор, как Эльза познакомилась с Элвисом в «Альпенрозе», она охотно туда захаживает. Тихонько сидит она за столом, делая вид, что не слышит, как Клаудия и трубочист перемывают кости своим мужчинам.

О нет, – рассказывает она потом любопытной бабушке, – сегодня речь шла о другом, о том, что разговаривал в постели на латыни и не засыпал без пистолета в ночной тумбочке. Как любовник ни на что не годен, – говорит Эльза.

Вероятно, слишком большой теоретик, даже в постели, – смеясь, говорит бабушка.

Да, – говорит Эльза, – а прямо перед сном он быстренько открывал дверцу ночной тумбочки, для проверки, будто там какое сокровище спрятано. И каждый раз облегченно вздыхал, убедившись, что эта его штука все еще там.

И вот этот тяжкий ствол всю ночь лежал между ними в постели, – говорит Эльза. – Про сон сразу можно было забыть, так Клаудия рассказывала трубочисту. Бабушка с некоторым ужасом заглядывает в гостиную, проверить, не слушает ли Малышка.

Денег у него куры не клюют, – говорит Эльза. – Но пистолет, видимо, оказался тяжелее золота, и Клаудия этого типа бросила. Теперь вместо отдыха на море она протирает бокалы в «Альпенрозе».

\*

Где-то есть море, – думает Малышка, притворяясь, будто читает, – такое большое, что целая деревня могла бы в нем не раз захлебнуться. Ворона, когда являлась к дедушке, чтобы рассказать ему свои истории про убийства, иногда упоминала про море.

Ее море было *бескрайним*. Если стоящий на берегу человек смотрел прямо вдаль, он не видел ничего, кроме моря и неба.

Только море. Изредка море швырялось в берег огромной волной. А когда оно было спокойным, то в нем можно было плавать и уплыть так далеко, что люди на берегу казались бы маленькими как муравьи, – говорила ворона.

Бабушка с дедушкой тоже видали море, причем далеко не один раз, и папа с мамой тоже однажды выбрались к морю, вскоре после рождения младшего брата. Малышку они с собой не взяли, для мамы это было бы слишком большой нагрузкой. Она захотела взять с собой одного лишь маленького принца.

Вблизи маленького принца у мамы делалось совсем иное лицо. Это для него она была столь прекрасной, а он тоже был прекрасным для нее, со своими светлыми волосами и носом. У него не было веснушек и рыжих волос. Мама им гордилась, он был малышом, какого ей всегда хотелось.

Однажды, когда мама была с принцем вместе в комнате, Малышка подглядела в замочную скважину, как мама ласкала его и с нежными словами перебирала пальцами его золотые волосы. Трудно было понять, что она говорила, но принц пищал от удовольствия, он обнял своими пухлыми ручками ее прекрасную шею и поцеловал.

\*

Малышка хорошо помнит горячее лето в снегу.

Она сбегает вниз по лестнице перед домом и пересекает дорожку. Новые железные перила покрыты снегом, а сейчас стена дома мягко сливается с белой глубиной, с широкой проезжей частью.

Но тот летний день не затушевать ничем.

Под белым одеялом все еще чувствуется горячий асфальт, который внезапно падает на нее, что-то черное приближается к ней снизу, удар и сразу после удара темная боль.

Когда она очнулась, отец сидел рядом на кровати и утешал ее. Мать сказала, что ничего особенного не случилось. Тогда она снова уснула. Она видела сны. Тучи целыми легионами шли на их дом. Затем тучи рассыпались в стороны и на карниз спикировал орел. Его крылья ударили в полузакрытые шторы, и от звука этого хлопанья она вновь проснулась. За занавеской обозначился силуэт птицы, но это никак не мог быть орел, разве что черная галка. Отец по-прежнему сидел у нее на кровати. Из соседней комнаты доносился мамин голос.

\*

Когда соседка смеется, Малышке становится страшно, что та может ее укусить. Малышка знакома с *чрезвычайным* смехом бабушки, которая сейчас кричит ей из окна, но от смеха соседки у нее мурашки по коже, поэтому она быстренько исчезает в доме, не здороваясь.

Пока она поднимается по лестнице, ей приходит в голову, что бабушка постоянно пытается натянуть нос собственной старости. По вечерам она встает перед зеркалом, смеется в точности как соседка и строит рожи своему отражению, раз двадцать подряд. Этим она каждый раз заставляет Малышку ржать и фыркать, так что той в пору спрятаться под одеялом и сучить ножками. Тут уже и бабушка начинает хохотать по-настоящему. Она щекочет Малышке пятки до тех пор, пока обе просто не изнемогут от смеха.

Когда соседка смеется, она делает так же, как Чан, когда кто-то хочет забрать у него плошку с едой.

Бабушка уже накрыла стол, на плите пыхтят сковородки. Чан прилежно лежит на своей подстилке. Как только Малышка садится за стол, бабушка спрашивает:

Чего бы тебе больше хотелось – целую сковородку один раз или же понемногу каждый день?

Целую сковородку каждый день, – отвечает Малышка не раздумывая.

Точно так, – говорит бабушка, смеясь своим *чрезвычайным* смехом. – Плох солдат, что не метит в генералы. Она приносит сковородку, и обе начинают сосредоточенно есть.

К стене за бабушкиной спиной, прямо над ее головой, двумя булавами приколот листок бумаги. На нем написано:

*Какой склеп темнее собственного сердца?*

Что такое склеп? – спрашивает Малышка.

Это такое место, куда соседка закопала свой нормальный смех, – говорит бабушка. – Ешь давай!

\*

В толстую стену желтого дома, где Эльза живет с Элвисом, упирается кладбище. В одном из его уголков есть две заросшие могилы с изящными крестами, украшенные искусственными розами и лилиями. Медные таблички с именами почти забиты сорняком. А рядом еще



две совсем свежие могилы. Эльза и бабушка стоят некоторое время тихо.

Раньше дети сидели верхом на надгробьях, собирали лесную землянику и развлекались, – говорит Эльза, нагибается и поправляет одну розу. Она на скорую руку поливает водой свежие цветы и идет вслед за бабушкой к выходу на улицу. Стайка воробьев порхает в дрожащем воздухе.

Прямо перед воротами Эльза останавливается.

Погоди, – говорит она бабушке, – я должна быстренько повидаться с Луизой. Луиза, повивальная бабка, умерла дважды: один раз как лиса и один раз как человек.

Это случилось тем летом, когда в доме по соседству родился второй ребенок. Девочка, худая, с рыжими волосами и крапинками на лице.

После того, как Луиза освободила девочку от пуповины и обмыла ее, она пошла в лес собирать грибы. Там, на одной из просек, ей навстречу попала лиса. Казалось, она нисколько не боится, напротив, остановилась и посмотрела Луизе прямо в глаза, и они моментально узнали друг друга. После этой встречи Луиза, когда ее охватывало желание бежать из людского ада, могла превращаться в лису.

Если она рыскала по лесу, то полностью становилась лисой, а порой, если была голодна, пожирала собственных курочек.

Человеческий облик пылился, бывало, заношенным платьем дни напролет.

Могилу Луизы украшают два больших железных креста. Эльза гладит кресты рукой, а потом догоняет бабушку.

\*

У фрау доктор большой сад, в нем растут цветы всевозможных расцветок, цветы, которых в деревне больше нигде не увидишь. Названия их и то неизвестны. В бабушкином саду растут лишь люпины, чертополох и оранжевые лилии. Они красивы, но обыденны, они известны всем и цветут в любых садах. Самыми прекрасными Малышке кажутся вещи, которые только предстоит открыть, к примеру, цветы фрау доктор. Но как к ним подобраться? Вокруг тянется высокий забор, в котором нет дыр, как в заборе фруктового сада у католического священника, куда легко забираться за мирабелью, гораздо более вкусной, чем мелкие груши в собственном саду.

Малышка уговаривается с Люцией, девочкой из «Альпенрозе», они звонят у дверей красивого особняка, фрау доктор открывает и улыбается. Она тронута: украсить могилы на кладбище этими цветами! Чудесная идея, чудесная, – хвалит она Малышку и Люцию, треплет их по щекам, берет свои цветочные ножницы, и вскоре после этого девочки с двумя большими сумками, полными цветов, бегут по деревне и прячутся позади здания школы, где их никто не увидит.

Вечером Малышка приходит домой с огромным букетом цветов, подарком для бабушки от фрау доктор, бабушка растрогана, вот уж чего она никак не ожидала от фрау доктор, ведь по обыкновению та немного задирает нос, хотя сама обслуживала гостей в «Альпенрозе», прежде чем вышла замуж за доктора и сделалась другим не чета.

Тем же самым вечером мать Люции также получила в подарок цветочный букет, соседка тоже, и в течение нескольких следующих дней фрау доктор собрала немало благосклонных улыбок, по неизвестной причине – она ни с кем не разговаривала, а на кладбище, с тех пор, как боженька отнял у нее безо всякого предупреждения ее малыша, она не ходит. Впрочем, сколько-то она в него верит и надеется, что эти ее цветы на могилах вызовут у него расположение. Это никогда не помешает.

Легкий страх провалиться, что в непосредственной близости от бабушки преследует Малышку днями напролет, отдает соблазном, это секрет, принадлежащий одной лишь Малышке, ее тайный триумф над бабушкой, которая своим носом всё всегда чует и знает наперед, но на этот раз она побеждена.

\*

В центре деревни, где главная дорога пересекается с крутой улочкой, Малышка сворачивает налево и проходит мимо завиральной скамьи, где после полудня сидят старики и чаще всего молчат. Или же рассказывают друг другу байки, сложив руки на коленях. Лишь изредка кто-нибудь пошевелит рукой, чтобы отогнать муху.

Чуть дальше, внизу, почти рядом со школой, Малышка каждое утро встречает белую лошадь с одетым в черное мужчиной. Прислонившись к стене дома, он курит сигарету и смотрит, как лошадь пьет из колодца, как она пригибает свою морду к воде, а после одним рывком вздергивает голову вверх, так что вода бежит по ее длинной шее.

Лошадь трясет гривой. Она выглядит очень разумной и, похоже, немного важничает, как будто ей все давным-давно известно.

Отчего-то лошадь и коза кажутся родственными душами.

В окне позади мужчины отражается блеклый рассвет. Доброе утро, – говорит Малышка, но черный мужчина не отвечает, и лошадь тоже ведет себя так, как если бы Малышка носила шапку-невидимку. Быстрыми шагами Малышка удаляется в сторону школы, минуя черного мужчину и его лошадь, как минуют витрину, полную вещей, которые нельзя купить.

Поздно вечером, придя из школы домой после репетиции деревенского праздника, Малышка застает бабушку дремлющей перед телевизором. В этот самый момент на экране преступник в черной маске крепко стучит в дверь. Бабушка вскакивает.

Это ты, дверь же открыта, – бормочет она, не успев выбраться из объятий мимолетного сна... – это всего лишь Сальери в маске, там, у двери. Хотел получить от Моцарта реквием... говорит, хорошо заплатит! – объясняет она Малышке.

Знаешь, пока я дремала, я пришла к выводу, что уже очень давно ни с кем не разговаривала по душам. *По душам*, – подчеркивает она, – обо всем, и снова разглядывает потолок.

Но ведь я же здесь, – говорит Малышка и с обидой смотрит на бабушку. Да, – говорит бабушка, – ты здесь, усмехается и берет лицо Малышки в ладони.

Марш на кухню, ты наверняка хочешь есть, да и я тоже.

\*

Переплетение голых черных ветвей образует фон этой фотографии.

На первом плане мы видим юную женщину, слегка склонившую голову влево. Она смотрит вдаль, словно не замечая камеры.

За переплетением голых ветвей должна быть река, ее сверкающая лента, а спереди должен быть дом. По-видимому, зима или поздняя осень.

Судя по одежде женщины, это скорее зима, потому что на ней белая штормовка и плотный красный шарф, похоже, ей холодно. Свет резковат, вероятно, она наклонила голову оттого, что из-за туч показалось солнце и слепит ей глаза.

Мы не видим ни кустарника, ни лежащего за ним леса, откуда женщина возвращается с прогулки. По ее лицу невозможно прочесть, весела она или грустна, лицо застыло от холода. Правой рукой женщина делает на уровне шеи такое движение, будто хочет прогнать нечто из своей жизни. На обратной стороне фотографии указан год. Бабушка всего несколько дней в деревне и еще незнакома с дедушкой.

\*

Вчера я видела сон о стеклянном мужчине, – говорит Эльза, – я могла спокойно заглядывать в него и сквозь него. Плоть, бесцветная как ноябрьский день. Никакой крови, кишки дымились, сердцем даже не пахло. Мозги тоже растворились в тумане. Кости отполированы до блеска. Пульса нет.

Такой покой в этом теле. Маленькая белая змея ползла, извиваясь, по каналам, по жилам, сосудам и пазухам.

Время от времени сквозь отверстия доносился легкий храп.

\*

Бабушка лежит на больничной койке, ей 93 года. Ее глаза кажутся сейчас еще больше, нежели помнится той юной женщине. Седые волосы, собранные в тонкую косу, устроились довольной змейкой у нее на груди, которая едва-едва поднимается и опускается.

Она крепко держит руку Малышки и с силой, которую в ней трудно заподозрить, проводит ею по своей левой груди. Здесь больно, – говорит она.

Прикоснувшись к ее груди, юная женщина замечает, что она у бабушки по-прежнему большая и упругая, так что, когда медсестра расстегивает ее больничную рубашку, чтобы обследовать больное место и втереть в него какую-то жидкость, грудь вываливается из нее и напоминает белую дыню.

В этот момент бабушка говорит:

Моя душа все еще молода.

В комнате наступает тишина, как будто три женщины напряженно вслушиваются, не скажет ли что-нибудь сама душа, коли о ней речь.

На следующий день бабушка отправилась в Тамангур.

В этот день на светлом небе было всего несколько черных пятен, будет говорить позже юная женщина. Хотя, может быть, это я его осветлила задним числом

## ВАЛМА

*(Перевел с латышского Сергей Палабо)*

– Антти, Антти... – кто-то звал меня, ухватив за капюшон маскхалата. И тряс. Снаряд разорвался совсем близко.

Она не из здешних. Черные волосы, смуглая кожа. Много лет назад дед нашел ее в бане. Назвал Валмой, сказал, будет жить с нами. Такая отошчала пацанка-подлесток.

Учится у матери нашей речи, поскольку отец язык ее ненавидит. Правда, не пишет пока. Когда злится, лопочет по-своему.

С дедом никто не спорил. Бывало, отец напьется и буянит, пришибет того и гляди, так мы с Валмой у деда прячемся.

С тех пор, как отца нет, в баню хожу один. Дед пара уже не держит. Валма парилась с матерью. С тех пор, как отец пнул мать в живот, та ковыляет полусогнутой, рукой придерживая низ живота, тут не до бани. Валма сказала, кишки могут выпасть.

С годами Валма сделалась красивее. Любила погреться в бане. Сбросив в предбаннике олений вамсик, остальному дает соскользнуть с плеч. Не то что прочие бабы или же я, через голову. Швы на воротах, суровой нитью сработанные, зацепятся на миг за изгиб груди, и плывут к поясу. Крутит бедрами долго-долго, пока не выкрутится из ночной рубашки.

В банные вечера Валма была иной. Понял это, когда она впервые туда зашла. Тем разом скрипнула вдруг дверь, решил было – отец явился, но в испарениях, с раскаленных камней бьющих в морозный воздух, стояла Валма. Голой.

Порой кажется, что их две. Та, что в бане, и та, что тишком-бочком снует по дому.

Дед не дождался дня рождения. Схоронили. Также и огород поспешили вскопать до времени. В конце октября мужчин поселка, всех, что больше не дети, но и не старцы немощные, созвали к поселковой лавке. Объявили, что будут войсковые учения. Валма, подсобрав в

кладовке и погребу съестного, старалась впихнуть свежешитые лисьи рукавицы в походный ранец.

У магазина ждала изрядная толпа мужчин и провожающих, в основном, женщин. Аско был уже там. Глядел на нас с Валмой, то опускающая голову, то привставая на цыпочки, поскольку был на голову ниже прочих мужчин. В семье Аско все рыжие. Дед сказал, такой род. На ком бы ни женились сыновья, каждый следующий в роду наследовал медные космы и веснушки. Сильная кровь.

– Антти! Ну наконец-то! – радостно заорал Аско. – Слушай, по радио сказали. Москва начала мирные переговоры. – Все так же пузырясь, продолжил рассказ, огладив взглядом круглящийся валмин живот, уже заметный под просторным оленьим вамсом. Ветер дул с севера. Люди судачили, зима будет скорой и на редкость злой.

– У тебя дома радио есть? – удивляюсь.

– А что, больше и послушать негде? – засмеялся Аско и стукнул меня по затылку так, что козырек шапки сел на нос.

– Куда нас повезут? – простившись с Валмой, спрашиваю у Аско.

– Без разницы, на юг, наверное... или на восток. – Почесывая красноватые лохмы, он мечтательно вглядывался в провожавших. Злость обуяла меня, когда в глазах заметил Валмы новое, странное. На что это Аско уставился? А Валма? Мои глаза предательски шныряли по сторонам. Аско широко ухмыльнулся. Кинул на меня небрежный взгляд, повернулся спиной к уходящим: – Слушай, Антти, отец-то твой где?

Я смотрел вслед Валме. Подходили и подъезжали другие мужчины поселка.

Отец ушел год назад. Одни соседи болтали, что работает на ближайших шахтах, другие, что подался обратно в Швецию, а третьи видели его в банде Марти. Это от них местные прослышали об угрозе войны.

Тридцатое ноября. – Женский голос из тьмы. – Сегодня тридцатое ноября. Началась война.

Дедов день рождения. В какой-то момент казалось – день моей смерти. Однако живу. Не шевельнуться, ни веки поднять. В голове буррав. Рядом громко выли и хрипели. Этот звук сверлил мозг, причиняя невозможную боль. Что же случилось? Когда началась бомбежка, Аско орал, что хочет домой. На его белом, только что выданном маскхалате

показались красные пятна. Может, другой парень забрызгал? Стало беспокойно. Как в тот день, когда прощался с Валмой. Перед глазами мелькнул взгляд Аско и ее глаза. Точно как в тот раз, когда исчез отец. Орал, что под одной крышей с русской не жить. Дед остался невозмутим, сказал лишь: – Кому ведомо, зятек, сам-то чьих будешь...

Мать плакала. Валма молчала. С того вечера они полгода не разговаривали.

Под вечер большой город плюнул зарей в тускнеющее небо. Полыхнуло. Соседи, гоня перед собой скотину, подались прочь. Мать была непреклонна. С ее-то дырявым животом? Валма выпрягла из саней кобылу. Та взбрыкнула и ускакала в сторону дороги. Валма за ней. – Да куда же ты, стой! – перелезая канаву, задохнувшись, кричала по-русски. На опушке кобыла встала, насторожив уши, тревожно всматривалась куда-то во мрак чащи, затем развернулась и прыгнула к Валме. – Умница моя, иди сюда, чего испугалась?! – та фыркнула и проскакала мимо. Подвернулась нога, и Валма очухалась лицом в подмерзшие луговые кочки. – Черт, что за животное! – отдышавшись, она попыталась встать. В животе потяжелело. Сначала опереться на локти. Внезапно чья-то мощная рука схватила ее за воротник вамса и дернула вверх так резко, что нога выскользнула из глубокого сапога Антти.

Февраль. Невыносимо трещит голова. Тошнит, но не проблеваться. Перед глазами ощеренный рот Аско. В ушах – вопль. Повсюду взрывы, запах серы и свежевспоротых свиных кишок.

Наши всё воюют. Аско, значит, тоже? Что ни день везут раненых. Замерзших. Одни мрут. Другие орут ночи напролет. Застрелить, а то и лупить кулаком по искореженным лицам, пока не стихнут навечно. Но не встать. Свинцовая тяжесть в теле. Ору со своей кровати одноногую у стены, чтобы заткнулся, иначе – придушу. Ревет, не умолкая. Лежу, пытаюсь утишить злобу и боль. Порой ощущаю на лбу прохладную ладонь Валмы. Приходит отец и кричит на меня. Лишь у деда можно спрятаться от тяжелого кулака, но того нигде нет. И матери нет. Опять оставила меня во власти отца. Вскоре все исчезают. В последние дни не приходит никто.

Сегодня утром меня отпустили. Метет. Голова кажется легче, боль терпимее.

Сени полны снега. Следы идут в дровяник и хлев. В замерзшем окне брезжит свет. Вхожу в комнату. Непривычно тихо, но печь топится. Кровать матери занавешена, хоть ей и не нравится так. Заслышав шаги, просовывает голову между кроватью и печью.

– Антти... – голос хрипнет, протянутая ко мне рука дрожит.

– Ма, Валма где? – указывает молча за спину.

Открываю дверь в дальнюю комнату, в ноздри садит сладкой сыростью. Над припечком висят надранные из покрывала пеленки. В большой кровати, напротив двери, завернут в одеяло грудной ребенок. Прислонившись к стене, за лежанкой стоит Валма. Пестрый плат на плечах. Один угол обмотан вокруг подбородка. Мать держит меня за локоть. – Антти, ей язык жгли. Говорить не может, ни на каком языке.

Пальцы набухли, кровят пуще прежнего. Светлая борода и желтоватые волосы посерели совсем. Непросто углекопу смыть черноту рудника. – Валма! – Казалось, собственный голос слышу все хуже. Чертова головная боль. Хотя и с отцом было так же. Под конец совсем оглох. Домой не являлся. Разок забрел, так Валма заорала дурным голосом и последнего выкинула до срока. Отец сказал, и этот мол от других, не мой. – Валма, будешь ты меня сегодня мыть? – Голова заболела сильнее. Согнулся над помойным ведром, блюю. – Едрить твою, весь шнапс наружу! – Достал из шкафчика бутыль, прижал к губам. Едкая жидкость погасила во рту привкус рвоты. На миг полегчало. Отступила боль. Взгляд уперся в полупустой ящик с красноватой глиной и кельмой, брошенный там, где девять лет назад стояла материна кровать. Печь обложена наново и уже обсохла. – Аско... Ну да, Аско! Думаешь, буду кормить твое красное отродье? – рот вновь залило предрвотной слюной, а желудок драло так невыносимо, что смешанная с горечью и слизью водка рванулась на грязный дощатый пол. Спустя миг еще пара глотков спиртного упали в пустой желудок. – И тех остальных не буду. Сколько их у тебя, Валма? Трое, четверо? – Последняя бутылка, думаю. Прятать она не решится. Как необъезженную кобылу взнуздal. – Нет, не мои это дети, не проведешь! Лярва! – Со стола тяжело взметнулся кулак, бутылка опрокинулась и, упав на пол, разбилась.

Мальчики. Валма рожала мальчиков. С красными лохмами. Отец сказал, она нам должна. За наших. Глаза повлажнели.

– Валмааа, вообще-то ты была доброй женой. Давала, когда хотел.



И никакой трескотни. Немая, как корова перед забоем. – Вдруг сорвался с гвоздя старый олений вамс Валмы. Висел себе у наружной двери с середины прошлой зимы. В последний раз Валма надевала его перед Рождеством, когда тайком отправилась в город навестить двоих из отнятых детей, после того похода Антти сломал ей ребра и запер в хлеву вместе с коровой, пока та не отелилась. Корову по весне пришлось продать. Некому было доить. Теленка забили на мясо.

– Ты не бойся, дрова еще остались. Сберег. – Острый охотничий нож легко выщеплял из полена лучинки для растопки. – Сейчас затоплю. Тебе будет тепло.

## ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ

Адриана-Паола-Анджелина-Нора и ещё несколько имён самых красивых женщин планеты, проснулась и почесала лобик. За окном плыл шум нежно-зелёного океана листвы. Три дня назад, ну, может четыре, Адриана-Паола и ещё несколько имён самых красивых женщин, еще видела, как на застекленной лоджии дома напротив женщина в голубом трико крутила педали тренажера. А теперь в окне видны только пышные зеленые прически молодых деревьев, такие, как у дам в журнале, который читает мама, пока у нее приклеиваются ногти. Поскольку ногти должны хорошо пристать, а листая журнал, можно зацепить их, мама зовет Адриану-Паолу- на помощь, и она перелистывает дам на сумочки, сумочки на красивых парней в трусиках или на часики со стрелочками из бриллиантов.

Адриана-Паола-..., дело в том, что папа с мамой подарили дочке столько прекрасных имён, что она никак не могла выбрать, кто же она такая. Мама, видимо, тоже не могла решить и потому часто звала дочку просто «котёночек». А папа у девочки был очень занятой человек и, когда появлялся дома, говорил: «моя дорогая», если был недоволен, или ласково – «малёк». «Ну, малёк, пристёгивайся, поедем в кафешку» – так он шутил, захлопывая дверцу машины, перед тем, как ехать в ресторан на встречу с бабушкой и дедушкой.

Девочка села на постели, потянулась и снова почесала лобик, но как-то неловко, и приклеенный вчера ноготь больно царапнул ее и отломался. Он был красивый, с розочкой. Лоб заболел и зачесался еще сильнее. Мама разговаривала по телефону довольно долго, и когда наконец пришла проведать дочку, та сидела совершенно зареванная.

– Не бери в голову, – посоветовала мама, и они приклеили новый ноготок, уже с голубыми цветочками, и стали кушать мюсли с Фито-Про.

На следующее утро девочка подошла к зеркалу и обнаружила, что прыщик превратился в красное пятнышко. Она знала, как мама переживает за такие вещи, и, тихонько пробравшись в ванную, взяла с туалетного столика крем, которым мама закрашивает мешочки под глазами, чтобы не было видно, что она всю ночь была в клубе для взрослых и не выспалась.

Девочка помазала пятнышко, но оно словно разгорелось огнём. Перепуганная, она прибежала к маме, но та как раз спала после ночного клуба для взрослых и не могла ничем помочь, только сказала сонным голосом, где лежат шоколадки.

Девочка разложила их на столе и стала выбирать, кого съесть первым: зайчика, цыплёнка, корзинку или яичко. Это были пасхальные шоколадки, и даже когда на столе остались только зайчики с цыплятами, пятнышко не перестало чесаться. С каждым днём оно росло и становилось темнее, пока мама не прочла что-то в своём планшете и всплеснула руками.

Тогда снова появился папа и сказал: «Пристёгивайся, малёк», и они поехали к доктору. По стенам прихожей, где они с мамой ожидали, пока дама в небесно-голубом халате назовёт множество имён девочки, висели картины с рыжими, зелёными и красными деревьями. «Это, наверно, осень» – подумала девочка – до того эти деревья были рыжие! Их в детском саду тоже заставляли делать рыжие деревья, когда они с мамой возвращались с островов. Девочка не могла понять, почему маме так нравятся её картины с рыжим пластилином на чёрных ветках, которые раздавала воспитательница. Там, на берегу океана, Адриана-Паола-Анджелина делала домики и обсаживала их настоящими пальмовыми листьями, и они были намного красивее, но мама не восхищалась, а лежала, закрыв глаза, в шезлонге.

Дама в голубом халате не стала перечислять имена девочки, а просто назвала фамилию. Доктор изучил пятнышко и стал что-то писать. Мама выглядела расстроенной. Из маминого разговора с доктором девочка не поняла ничего, будто они говорили на иностранном языке. Единственное слово, запавшее в память, оформилось чуть позже, после доктора, в большом магазине. Девочка сидела на пуфе, похожем на шоколадный кекс, и рассматривала собаку в черно-белых пятнышках, которую держала на поводке девушка рядом с занавеской, за которой мама примеряла юбку. Собака смотрела в одну сторону, а девушка в другую, и было видно, что это не ее собака. Так же как на другой фотографии, возле занавески, за которой дядька примерял джинсы с дырками и цепочкой, женщина, мужчина и ребенок улыбались, держась за руки, хотя даже не были знакомы. «Наверно их всех пригласили на праздник и пообещали подарки», – решила девочка. Хотя сама она прекрасно знала, что фантазирует, ведь обычно фотографируют

фотомоделей. Это всем известно. Девочка тоже когда-нибудь станет фотомоделью. И тут то самое слово выскочило и ошеломило девочку – «операция». Оно было похоже на многоножку, которая живет под крыльцом детского сада. Гадкая, словно собранная из конструктора, и политая соевым соусом. И эти ножки, остренькие, шустренькие, так и норовят по тебе пробежать.

Девочка видела в супермаркете фотографию мальчика, который держал дряхлого мишку и улыбался, а его ноги были запечатаны буквами. Мама сказала, что это реклама благотворительности. Есть больные дети, которым нужны деньги на операцию. Тогда девочка не обратила на это особого внимания, но ее удивило, что фотомодели тоже бывают больны.

Когда мама вышла из-за занавески с цветными юбками на согнутой руке и направилась к кассе, Адриана-Паола спросила ее, почему доктор сказал «операция». «Ой, не бойся, трусишка, он все сделает, ты и глазом моргнуть не успеешь», – улыбнулась мама.

Продавщица смерила равнодушным взглядом мамины покупки и стала их раскладывать по пакетикам. «Прямо как Ирина Семакова из сериала «Надрыв» – вспомнила девочка. «А что доктор сделает? Кому сделает?» – она дергала маму за сумку, пока та набирала код карточки, чтобы расплатиться. «Ну, не видишь, я занята, потом!» – шикнула мама.

Потом оказалось, что на этой карточке недостаточно денег, мама позвонила папе, потому что забыла код второй карточки. Мама очень нервничала, и девочка поняла, что мама не хочет говорить про доктора неспроста. В сериале про Леонида и Катерину, которая работала на скорой помощи и никак не могла выйти за него замуж, потому что он все время думал про больных, а не про нее, девочка часто видела, как обманывают смертельно больных людей. Им говорят: «Все будет хорошо, только сделаем операцию, и вы будете ходить», хотя прекрасно знают, что ничего такого не случится, а наоборот, будет плохо.

После того, как вещи были куплены, мама повела Адриану-Паолу-Анджелину в другой магазин, купить ей летние туфельки, так как дочка выросла из всех прошлогодних. Девочка устала от маминого магазина. «Маа, не хочу, жарко!» – ныла она, тащась следом, но мама тянула ее вперед по магазинной улице, которая все не кончалась и не кончалась. Перемеряв десять пар, девочка совсем раскисла. Воздух

этого магазина-улья был так высосан носами других покупателей, что девочке оставалась совсем капелька. И тут пятнышко снова зачесалось. «Не трогай!» – нервно одернула ее мама и стукнула по руке. Девочка разрыдалась, и тогда мама, несмотря на свой белый шелковый пиджак и каблуки как стрелы, взяла ее на руки и пошла к выходу.

\* \* \*

– Ты знаешь, я скоро умру, – шепнула девочка своей соседке по парте на занятиях по флористике.

– Откуда ты знаешь? – вытаращив глаза, спросила соседка.

– Врач сказал, – ответила Адриана-Паола -Анджелина таким же спокойным голосом, как Жанна из сериала про курортный отель.

– Дети не умирают, – фыркнув, отчеканила подруга.

– Еще как умирают, – отрезала Адриана-Паола, – я даже вчера слышала, как в Ираке бросили гранату в автобус и погибло три девочки и четыре мальчика.

– Они некрещенные. – Уверенно ответила соседка и настороженно прибавила: – А ты крещеная?

– Не знаю.

– Ну, крест у тебя есть?

– Дома есть.

– Значит, крещеная. – Соседка положила ножнички, взяла вырезанный кружочек и стала размахивать им перед носом Адрианы-Паолы, словно это какое-то доказательство. – Крещенные дети не умирают, – убежденно продолжала она, – потому что у них есть ангел-хранитель. Этот ангел следит за тем, чтобы ничего не упало на ребеночка, никто его не обижал, э-э-э, ну, слишком сильно. Вот моего ангела зовут Анна, а твоего как?

– Как это Анна? – удивилась девочка, – Ангел же мужчина!

– Ну ты и дура! Святая Анна меня хранит как ангел, она – мой ангел-хранитель.

– Это что же, работа такая?

– Ну да, как водитель, например, не говорят же водительница, если троллейбус ведет тетя.

Видно было, что Анна хвастается, хочет показать, что все знает, потому что старше. Ей на прошлой неделе исполнилось семь лет, а Адриане-Паоле-Анджелине еще далеко до дня рождения. Может она вовсе

не доживет до него, как Тамара из сериала про подружек из деревни, которые приехали в город. Тамара была самая добрая и красивая из них, но у нее был краб, как у другой женщины из сериала про бандитов. Видно, что Анна со своими хранителями-ангелами и святыми совсем темная. Она не пережила того, что пережила Адриана-Паола, когда умерла Тамара.

Но во время тихого часа, когда их заставляли залезать в кровати, как малышей, девочке вдруг пришла ужасная мысль: если у нее много имен, то кто же главный ее хранитель? «"У семи нянек дитя без глаза" – говорил Павел Петрович своим девочкам в сериале про семью, когда их маленький братик убежал из квартиры и потерялся. А что если эти святые: Адриана, Паола, Анджелина, Лючия и Летиция поссорились и бросили ее на смерть? Девочка пыталась представить себя то Паолой, то Лючией, но только она до конца кем-нибудь становилась, знаменитая Адриана, которая играла наемную убийцу в фильме про мужа и жену, обижалась, а нежная Паола из фильма «Последний вздох» отворачивалась от девочки. «В этом все дело, эти ангелы меня бросили. Паола попросила Лючию посидеть со мной, пока она ходит на свидание с Марком (так было в сериале про студентов), а Лючия в это время звонила Адриане, ну, в общем, так и случилось, что к девочке, которую они хранили, пришла Смерть и дотронулась до ее лобика». Девочка села в кровати и окинула спальню взглядом обреченной Тамары. Кто-то спал, кто-то играл в айфон, кто-то лазал под одеялом, и ни один не подозревал, что по этой комнате бродит Смерть. Девочка встала и вытащила из рюкзака с розовой Барби свою новую куклу. Её звали Барбарелла, из-под покрашенной верхней губы у неё выглядывали два острых клыка, она была вампиршей в чулках в сеточку и в черном платье с ярко-зелеными летучими мышами. Тетя Алиса ясновидящая. Она знает все наперед, поэтому у них с мамой модные вещи появляются раньше, чем у других. Вот и Барбареллу она подарила, зная, что скоро весь садик будет ходить в майках с черепами и куклами-зомби. Но у Адрианы-Паолы было кое-что поинтереснее, с ней была Смерть, настоящая. Девочка достала телефон. Вообще-то воспитательницы не разрешали брать телефоны на тихий час, но их никто не слушался, потому что телефоны были дорогие, и воспитательницы всегда их отдавали потом маме. А мама разрешала Адриане-Паоле пошептаться с ней на тихом часе, если было очень уж тоскливо. Но сейчас девочка

позвонила не маме, а тете Алисе, которая еще звалась ее крестной.

– Алло, мулечка! – нежно отозвалась тетя.

– Тетя Алиса, вы знаете, что я скоро умру? – прошептала девочка.

– Какие глупости, кто тебе такое сказал?

И тут девочка так испугалась, что телефон выпал у нее из рук, стукнулся о бортик кровати и разлетелся на три части – телефон, батарейку и крышечку. Тетя Алиса ответила именно так, как подруга Тамары, когда она позвонила ей из больницы, слово в слово. И почти так же отвечала Мариэтта Тому в фильме про сироту. Девочке стало очень страшно. Она еще раз посмотрела на Барбареллу и захотела от нее избавиться, может в ней прячется Смерть, что дотронулась до нее, пока эти небесные кинозвезды встречались со своими друзьями или ходили в шопинг.

– Кать, хочешь, я тебе подарю свою куклу?

– Эту? Ну, давай, – с сомнением ответила Катя.

И тут девочке стало жаль свою вампиришу, никакая она не Смерть, просто у нее модный макияж и платье такое. Но сказанного не вернешь, и она перебросила Барбареллу на кровать Кате. Та стала ее разглядывать, сняла с нее туфли на платформах, надела, а потом вдруг как закричит:

– Не хочу твою вампиришу, она кровь сосет, она – Смерть! Мне Анна сказала, что она тебя укусила, и ты станешь вампиром.

– Это не Анна тебе сказала, не ври, это было в фильме про Вирджинию, там все вампиры, ты что, его тоже смотрела?

– Ага, бабушка думала, что я сплю, и открыла дверь в мою комнату, а там брат смотрел фильм.

– Я тоже его смотрела, – замороженно сказала Адриана-Паола.

– Да нет, это же было в мультике про Буби-Руби, он объелся креветок и заснул на башне Лобстера, а тот позвал пингвинов-вампиров, и они искусали их, – вмешался Тимофей.

– Сам ты Буби-Руби, про Вирджинию было как по-настоящему! – рассердилась Адриана.

– А это правда, что ты скоро умрешь? – прошептал Тимофей.

– Правда.

– А ты не заразная? – забеспокоилась Алена, – может, у тебя СПИД?

– Нет, у меня просто смерть – мужественно ответила Адриана-Паола.

– И ты не боишься? – искренне удивился Толик.

Он сел на своей кровати, и пачка чипсов выпала на ковер. Боря и Алик бросились их собирать, а Толик так и замер от восхищения, услышав ответ.

– Есть вещи, которых нам знать не дано, – произнесла Адриана-Паола голосом Тамары, – и я верю, что мы с вами еще встретимся.

Некоторые дети заплакали, кто-то побежал к воспитательнице.

– Адриана, – строго говорила мама, – как ты себя ведешь, нельзя же так пугать!

– Я не Адриана.

– А кто ты, Паола?

– Нет.

– Ну, как ты хочешь, чтобы тебя называли?

– Моего имени не знает никто, – таинственно ответила девочка и залилась слезами.

Все вокруг нее сговорились. Мама, воспитательница, доктора, папа чуть не шлепнул ее за простую правду. Точно как подруги и родственники Тамары. Никто не хотел плакать вместе с ней, все были веселы и делали вид, что ничего не происходит, а смертельное проклятье жгло лоб девочки. Она осталась «одна на одна» со Смертью. Какая она – Смерть? Девочка смотрела на черепа, которыми была усыпана ее курточка, такие же были на рубашке у Платона из садика. Нет, не может быть, чтобы Смерть была такой. У красивых девочек и Смерть красивая, как вот тетя с ресницами на остановке автобуса, или вон та, с волосами, сияющими, словно у русалки, на магазине стиральных порошков.

Адриана-Паола-Анджелина... решила, что имя ей подарит кто-то совсем не такой, как ее ангелы-хранители. Кто-то настоящий, волшебный, тот, кто ее любит больше всего на свете. Про маму и папу она тогда не думала, потому что в сериалах мамы и папы были какие-то недобрые или глупые и своих детей не понимали. Ну как могла Мария Степановна говорить, что прыгнет под поезд, если Тамара выйдет замуж за Леонида? Ну как?

У девочки было три Кена, одного из которых звали Леонид, он все время ставил диагнозы многочисленным Барби, которые в него влюблились прямо на каталках, на которых их привозили к Леониду. Но



он был верен Тамаре до самой смерти, хоть и скрывал от нее, что она была смертельно больна.

\* \* \*

- Котик, ты будешь суши? – спросила мама.
- Нет.
- Тогда тебе пиццу с ананасами?
- Нет, мне только кофе, – тихо ответила девочка.
- Тетя Маша и Рафик рассмеялись.
- Ну, хватит капризничать, – попросила мама.

Ну, ничего себе, капризничать! Завтра у Ардианы-Паолы операция, ее ждет сама Смерть, а всем вокруг весело. Девочка посмотрела на лицо актрисы, которая играла фотографа в фильме про кораблекрушение, а теперь рекламировала крем для лица. Огромные ее глаза смотрели на посетителей кафе с противоположной витрины. И тут девочка вскрикнула. Она ясно увидела, что возле глаз актрисы есть очень маленькие морщинки, складочки, которых обычно не видно под кремом. А тут они выскочили, и оказалось, что это и есть – Смерть. Она смотрит на людей, вот так выглядывает из-за своей маски из пудры, но никто этого не видит. Мама схватила Адриану за плечи и стала трясти, словно злая мачеха из фильма про космическую девочку Кэт. Посиделки в кафе оказались испорчены.

\* \* \*

В коридоре детского сада была розовая дверь в цветочек, которую никто не открывал. Во всяком случае, так думала девочка. И она очень удивилась, когда воспитательница вместо тихого часа повела ее к этой двери.

Высокая тетя с большим лицом и узенькими хитрыми глазками поздоровалась с ней за руку. Она завела речь про Белоснежку, но Адриана-Паола не знала, о какой именно Белоснежке идет речь, о той, что сражалась на шпагах вместе с гномами и заколола Королеву, которую играла Джулия Робертс, или про ту, страшную, которая убивала гномов и задушила принца. Адриана не помнила, кто ее играл, она видела ту же актрису в фильме про наркоманов.

Высокая дама с глазами лисички предложила девочке самой сочинить сказку про ту Белоснежку, которая ей больше нравится.

– Я не умею сочинять сказки, – ответила Адриана.

– Я тебе помогу, – ласково сказала тетя.

– А-а, вы психолог, как папа в сериале про большую семью! – обрадовалась девочка.

– Ну, можно сказать и так – согласилась дама, – но я не такой же психолог, я – больше сказочник, вот я и предлагаю тебе посочинять.

– А вы всем предлагаете или мне лично? – спросила девочка.

Так же спрашивала Тамара Леонида, когда он предложил ей поцеловать его перед операцией.

– Я хочу, чтобы ты мне рассказала про Белоснежку, – заулыбалась тетя – точно так же, как Леонид, и так же не ответила на вопрос.

Но Леонид не мог ответить Тамаре. Потому что боялся, что расплачется, он же мужчина, а почему тетя не хотела ответить на вопрос, девочка не поняла.

– Помнишь, к дому, где жила Белоснежка с гномами, пришла старушка? – продолжила тетя.

«Ну, кто же этого не помнит, – подумала девочка, – не только старушка, туда еще Менестраль приходил, и Следопыт-убийца». Но она этого не сказала, а только кивнула.

– И эта старушка что преподнесла девочке?

– Отравленное яблоко, – отбарабанила Адриана-Паола.

– Правильно, и что было потом?

– Я думала, что кусок яблока застрял в горле у Белоснежки, а когда принц потом ее поцеловал, он встряхнул ее, кусочек выпал, и она ожила.

– Какая же ты умница! – произнесла тетя-психолог.

– А теперь поговорим о Спящей Красавице, как ты думаешь, что с ней было?

– Летаргический сон или кома, – отчеканила Адриана-Паола.

Брови над лисичкиными глазками поползли вверх, и девочка поняла, что у тети не глаза лисьи, а нос. Лицо большое, а носик маленький и остренький.

– Возможно и то, и другое – невозмутимо продолжила тетя, – но, главное, что она проснулась, потому что ей надо было прожить долгую жизнь, у нее было много радости впереди. Понимаешь?

Девочка кивнула. Она не могла объяснить тете, что Тамару тоже могло ждать много счастья с Леонидом. Это рассказывалось две не-

дели до того, как Тамара умерла. Тогда и мама, и она, Адриана-Паола, тоже думали, что Тамару ждет много счастья. А нет, счастье ждало не Тамару, а ее подругу, Лизу, хоть она была вообще никто, в подметки не годилась Тамаре. Но, опять, того, что происходит годами, не расскажешь за одну встречу, время – деньги. Девочка вздохнула.

– Как ты это понимаешь? – не унималась тетя-психолог.

– Я думаю, что если я вам буду объяснять про Белоснежку все как есть, садик вам не заплатит. Вы можете работать бесплатно?

Тетя достала из ящика книжку с феями и протянула девочке.

– Возьми эту книжку.

– Я еще плохо читаю, – призналась Адриана-Паола.

– А этого и не надо, – серьезно произнесла психолог – ты посмотри ее, завтра мне расскажешь, что в ней происходит по картинкам, договорились?

«Ну вот, уже и к психологу повели, – думала девочка, наблюдая серые заборы, проплывающие за окнами маминого джипа. – Какая она – Смерть, такая же страшная, как глаза за кремовой маской?». Они выехали к мосту, полностью забитому автомобилями. Медленно продвигаясь, мама переключала радио, пока не зазвучала ее любимая песня про «горячие цветы и розовый песок». Адриане тоже нравилась эта песня, только она не понимала, почему девушке нравятся «горячие цветы», которые «принес сегодня ты». Если они такие горячие, то, наверно, обжигают ноги певице, когда она говорит «у моих ты ног». А потом в припеве: «А я не статуя, а я живая, и жду тебя я».

– Да, логики у женщины никакой, – говорит вдруг Адриана.

– Что? – переспрашивает мама.

– Ну, смотри, – он уже пришел со своими цветами из микроволновки, а она все его ждет, он же уже на месте, у ее ног.

– Ты про кого? – удивляется мама.

– Про певицу, как её звали? Гранж, кажется?

– Нет, это Ленкова.

– А-а! – отзывается девочка.

Кто и что увлечёт её завтра, какое облако: блогер, певица, подруга, Адриана, Паола, Анджелина, покажет будущее.

Ирина ЗОРИНА

## МОИ ЛАТГАЛЬСКИЕ КОРНИ

Тайная война в нашей семье

Еще в детстве, но более осознанно, конечно, в юности, стала я замечать, что между отцом и мамой идет тихая и какая-то таинственная война по поводу маминой родни в Латвии. Мама, Саломея, была *pastarīte*, «последыш» в многодетной латгальской семье, где кроме нее росли три сестры – Антонина, Александра и Амалия, – и два брата – Янис и Александр. Время от времени мама говорила, что очень хочет найти своих сестер, которые, конечно же, живут там, хотя она о них ничего не знала почти 30 лет. Отец строго возражал: пустое это дело, никого ты не найдешь. И, как мне помнится, звучал запретительный тон.

Я тогда не догадывалась, что у отца были неприятности в 30-е годы из-за того, что он женился на латышке, у которой «родственники были за границей». Латвия в 1918 году получила независимость. У нас ее называли «буржуазной», т.е. заведомо нам враждебной. А когда Ульманис совершил в 1934 году переворот и установил диктатуру, распустив парламент, его стали называть «фашистом», а вместе с ним «фашистской» стала для нас и Латвия.

В Москве традиционно жило немало латышей, и сложилась большая латышская община. Еще во время Первой мировой российское правительство эвакуировало из Риги и других промышленных балтийских городов многие предприятия вместе с персоналом. В начале 20-х годов многие из московских латышей вернулись на родину, но те, что обзавелись семьями и русскими мужьями и женами, остались. В Москве в 1919 году даже был создан латышский театр «Скатуве». Его судьба оказалась трагической. Актеры и даже рабочие сцены, были расстреляны на полигоне в Бутово – среди 229 других латышей – 3 февраля 1938 года. Это год моего рождения.

Мама была далека и от этого театра, и от всей латышской общины. Но отец, Николай Зорин, следивший за политическими событиями в стране, не мог не заметить начавшихся в конце 1937 года антилатышских акций. Так что опасения коммуниста Зорина, как и его друга Владимира Напитухина (впоследствии контр-адмирала), женатых на латышках, имели в те годы основания. Но и после войны, когда произошло «присоединение» Латвии к СССР и она стала Советской со-

циалистической республикой, казалось бы, можно было уже навести справки о родственниках мамы, отец явно этого не одобрял.

Сам он был типичным «выдвиженцем». «Крестьянский сын», как писал он в анкете, Николай Зорин все получил от советской власти. Хорошее образование, закончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта; интересную работу – проектировал шлюзы и гидротехнические сооружения. В 1931 году по призыву и убеждениям вступил в партию. В 1938 году его сокурсник, ставший впоследствии бессменным министром речного флота СССР, знаменитый Зосима Шашков привлек его к проектированию и строительству водных каналов, позднее перетачил в наркомат (потом министерство) речного флота СССР.

В страшном 1937 году, когда уничтожали «врагов народа» повсюду, и когда оголились многие речные пароходства, речные училища, его, молодого аспиранта Ленинградского института инженеров водного транспорта, под угрозой – «не подчинишься, положишь партбилет на стол» – заставили бросить аспирантуру и отправили в Пермь директором Речного училища. Это отдельный рассказ, как спасал мой отец ребят училища, погибавших от цинги (горжусь, что и сегодня о нем сохранилась добрая память в училище, а в музее ему посвящена стена), как обустроивал он училище и свой новый дом, где я родилась – случайно! Судьба забросила!

Не мне его судить за то, как прожил он годы сталинщины. Знаю наверное, что душой не кривил, был честен и профессионален в работе. И когда почувствовал, что стареет, за кресло зам. министра нового Министерства мелиорации и водного хозяйства не держался, вышел на пенсию в 1968 году, в шестьдесят четыре года. Не прошло и года, отец умер.

А ведь хотелось ему рассказать мне о своей жизни, знаю это точно. Может, хотел снять с души большой грех: по странной и страшной судьбе, отец мой, замечательный гидротехник, специалист в области проектирования и эксплуатации воднотранспортных путей и гидротехнических сооружений, был причастен к уничтожению своей «малой родины» – города Мологи, затопленного Рыбинским водохранилищем.

Наверное, многим людям на исходе дней хочется побольше узнать о своей семье, своих корнях и, так или иначе, рассказать об этом.

\* \* \*

Понимал отец тягу жены к родным местам, и потому не раз посылал нас с мамой отдыхать в Юрмалу. Помнится, в Буддури был какой-то высокого ранга санаторий, где отдыхали россияне – из семей номенклатурных работников. Ездили мы с мамой и в Ригу и обычно останавливались там у старого папиного друга Ивана Баскакова, которого после войны послали в латышскую столицу для «укрепления кадров» Рижского морского пароходства. Ему предоставили очень хорошую трехкомнатную квартиру на улице Суворова, что была рядом с вокзалом. Почему-то мне тогда и в голову не приходило спросить, а как это случилось, что папины друзья – дядя Ваня и его жена – въехали в полностью обставленную квартиру. Ведь кто-то там до них жил, кто-то покупал всю эту мебель и обставлял квартиру. Это воспринималось как должное. О массовых высылках латышей из своей страны в 1941 году и в 1949 году я узнала гораздо позже, уже из литературы. Дома об этом у нас никогда не говорили, да я и не уверена, что мама вообще что-нибудь знала. Читала она мало, от политики была очень далека. А когда высказывала что-нибудь «крамольное», немедленно получала отпор. Помню, как однажды мама, тоже строптивая характером, сказала отцу, что любит Ленина, который мягко ступает в ботинках, и не любит Сталина, который жестко идет в сапогах. Отец набросился на нее: «Откуда ты это принесла?! Чтобы я никогда этого не слышал и упаси тебя бог кому-нибудь сказать такое».

Рига и Юрмала, с ее маленькими и уютными курортными поселками – Буддури, Майори, – мне очень нравились. Здесь все каким-то чудесным образом отличалось от нашей привычной московской жизни. Ароматные кафе и великолепные пирожные (у нас такие можно было купить только в одном магазине в Столешниковом переулке, отстояв очередь), чистые пляжи, относительно недорогие ресторанчики рядом с морем, вежливые официанты и продавщицы. Но самое удивительное – это прекрасные музыкальные вечера в Дзинтари. Приезжали хорошие симфонические оркестры, солисты Московской консерватории, выступали замечательные рижские музыканты.

Не скрою, мне всегда хотелось сказать, что я тоже латышка. Но естественно, возникал вопрос, почему не говорю по-латышски. Тогда я еще не придумала отвечать: «Латышка, но московского разлива». Мама не говорила ни по-латышски, ни по-латгальски, как-то никогда

даже и не сожалела об этом. Она была настоящим продуктом ленинградской советской школы, выросшей в те еще революционные 20-е, когда самым ругательным словом у них во дворе и в школе было – «буржуй». Мама и потом всегда, когда хотела обругать кого-нибудь, говорила, как в детстве: «У, буржуй проклятый». Так что «буржуйская» Латвия ее тогда мало интересовала. Но с возрастом и естественно усиливавшимся одиночеством стала тосковать по родным сестрам, хотела найти их. Но не могла и предположить, какими разными окажутся они по воспитанию и взглядам.

В результате агрессивного атеистического воспитания тех лет, царившего в советской школе, маленькая Саля, наперекор своей истово верующей католичке маме, стала не просто атеисткой, но – что меня удивляло уже в более зрелые мои годы – яркой противницей ксендзов, этих «предателей и доносчиков», как она говорила, противницей католической церкви, да и церкви вообще. Правда, иногда она с некоторым боязливым уважением говорила мне, что брат мужа ее старшей сестры Тони был очень важным священником – епископом католической церкви Латвии. Но отцу, молодому «выдвиженцу» и коммунисту, такие родственники, действительно, могли в 30-е годы, да и позже, сильно испортить жизнь.

### Как я спасла жизнь дяде Саше

Из всей маминой латышской родни долгие годы для нас с братом Юрой существовал только один дядя Саша из Ленинграда. Любимый мамин брат, немного старше ее, человек простой и, как говорится, «мастер на все руки». Когда он приезжал к нам в гости, всегда стеснялся своего зятя Коли, очень важного, в его понимании, человека, близкого к правительству. Бедный дядя Саша старался не попадаться отцу на глаза, что было нетрудно, так как тот всегда был на работе. Дядя Саша в каждый свой приезд к нам из Ленинграда успевал перечинить в доме все утюги, лампы, замки, сломанные стулья и табуреты, наточить Салиньке ножи, помочь порубить капусту и вообще переделать тысячу дел.

А вечерами, когда мама оставалась с братом наедине, они начинали вспоминать свое детство, отца, плакали о маме, погибшей от голода в блокадном Ленинграде. Я из своей комнаты слышала, как они на кухне наперебой пересказывали друг другу, что помнили о красавице Мэле,

Амалии, их старшей сестре. Понимая далеко не все, я запомнила только, что она, моя тетя Мэля, послушалась отца, который говорил ей: «Доченька, никогда не выходи замуж за поляка». Мэля вышла замуж за поляка, оказавшегося человеком тщеславным и пустым. Быстро растались, а на руках у нее оказалась маленькая дочь, существо небесной, ангельской красоты и ...слабоумное. Пока Мэля была жива, девочка жила под присмотром мамы и няни в относительном достатке. Мэля была закройщицей-портнихой высшего класса. У нее одевались многие жены партработников и чекистов Ленинграда, которые хорошо платили. Сама она была законодательницей мод в городе и, в некотором роде, «светской львицей», если этот термин можно применить уже не к нэповскому, а к казарменно-социалистическому Ленинграду. Но в 1939 году она небрежно отнеслась к начавшимся и повторявшимся болям в животе. А когда обратилась к врачам, ее немедленно положили на операционный стол по поводу гнойного аппендицита, но было уже поздно. Спасти не удалось, умерла на операционном столе в 40 лет и в самом расцвете своей красоты. Дочка ее, которой, кажется, шел восемнадцатый год, однажды, не дождавшись мамы, вышла на улицу ее искать и ... попала под трамвай. Скончалась на месте.

Но главное, что я узнала и поняла из разговоров мамы с братом, так это то, что, оказывается, их отец и, стало быть мой дед – Антон Дементьевич Паукс – был латгальцем. Не знаю точно, когда и где он родился – у мамы в свое время не расспросила, да она и сама, в семье «последыш», путалась в датах и мало интересовалась «буржуйскими временами», как она говорила. Знаю только, что в молодости дед батрачил на хуторе под Резекне, откуда и увел красавицу Леокадию, дочь богатого хуторянина. Ее родители такого «неравного брака» допустить не могли. Вот и пришлось молодым отправиться в Петербург. Было это в конце 19 века, в северной российской столице тогда уже сложилась большая латышская община. Могучий Антон со своей молодой красавицей женой пришелся, что называется, ко двору. Нашел работу, потом и жилье, а там и дети пошли... Родители простили строптивую дочь и начали помогать молодой семье. Так и стали мои дед и бабка питерцами, а потом и ленинградцами. Но об этом рассказ впереди.



\* \* \*

Про латгальцев нередко говорят, что у них «чертячий хвостик в душе». Всегда латгальцы были самыми бедными среди племен, из которых сложилась латышская нация. И может, поэтому они такие щедрые и веселые. Латгалец и в бедности радуется жизни и готов поделиться с ближним всем, что у него есть. Точно знаю, что и мама моя, и ее брат, мой любимый дядя Саша, и двоюродная сестра моя Лучия из Огре (о ней дальше расскажу) были самыми добрыми людьми, что встретились мне в жизни. Недаром отец наш с некоторым раздражением и одновременно с горделивым восторгом говорил о нашей маме: «Ну уж, Салька, – это точно про тебя: “доброта хуже воровства”».

Однажды мама, не задумываясь, отдала моему знакомому, пришедшему первый раз в наш дом, чтобы передать привет от меня из Праги (я там работала в 1964-66 гг.), – дорогую зимнюю шапку, потому что пришел он с непокрытой головой, а на дворе был мороз. Помню из детства: к нам приходили молочницы (привозили в Москву молоко на Павелецкий вокзал, мы жили недалеко), и как только начинали жаловаться на тяжелую жизнь – «семеро по лавкам...», мама отдавала половину принесенной папой зарплаты, а потом никак не знала, что придумать, как соврать, что деньги быстро кончились. Врать она катастрофически не умела. Таким же был ее брат, любимый наш дядя Саша. Добрый, наивный, большой ребенок.

Дядя Саша был для меня всегда связан с Ленинградом, куда мы с мамой часто ездили, потому что там учился в Речном училище мой брат Юра. Вспоминается история, которую я услышала от самого дяди Саши в 1975 или 1976 году, незадолго до его неожиданной смерти.

Дядя Саша готовился к своему 70-летию. Ему очень хотелось собрать на этот свой праздник всех родственников. Приехал он в Москву. Я к этому времени уже была замужем, жила отдельно от родителей, относительно благополучно, у меня была машина (заработанная на Кубе). Вот дядя Саша и решил на невероятную для него, очень скромного человека, просьбу: «Ирка, пригласи меня в ресторан, – попросил он. – Я ведь ни разу не был в московском ресторане. И потом очень хочется с тобой поговорить». Мне было немного смешно. Сама я в ресторанах тоже не бывала. Если собирались с друзьями, то всегда на кухнях, на этих знаменитых «московских кухнях». Но, тем не менее, просьбу своего любимого дяди уважила и пригласила его в ресторан, правда, не очень дорогой.

Поговорили немного «за жизнь». Дядя Саша слегка захмелел от выпитого коньяка и вдруг неожиданно сказал мне:

– Эх, Ирка, Ирка, никогда не забуду, как ты меня обидела, когда я в первый раз приехал к вам из блокадного Ленинграда.

– О чем ты, дядя Саша? Мне ведь тогда и пяти лет не было. Как я могла тебя обидеть?

А история, оказывается, была такая. В 1943 году папа забрал нас в Москву из «вакуации» (так мы с братом говорили). И вскоре к нам из освобожденного Ленинграда приехал дядя Саша. Мне, действительно, еще не было пяти лет, и я впервые увидела своего дядю. Он был толстый-претолстый, как две подушки. Что был он опухший от голода, я, конечно, в те годы понять не могла. И он все время просил маму: «Салинька, дай мне поесть». И моя сердобольная мама варила ему макароны, одну кастрюлю за другой. А он ел и снова просил: «Салинька, дай мне поесть». Я сидела в кухне на маленьком табурете и вдруг сказала очень сердито: «Ты что, дядька Сашка, приехал к нам, чтобы у нас все съесть?». Бедный блокадник поперхнулся и заплакал. Но тут пришел с работы папа и, увидев всю эту сцену, почему-то набросился на маму: «Ты что, Салька, не понимаешь? Ему же столько нельзя сразу есть. У него будет заворот кишок. Он вообще помрет!» Тут уже заплакала мама. А меня отец почему-то не ругал, а сказал: «Молодец, дочка! Можно сказать, спасла Сашу. Только впредь не жадничай!».

Я, конечно обо всем этом позабыла, хотя после рассказа дяди Саши у меня в памяти так четко все нарисовалось: наша кухня в старой квартире. Полка, на которой держали припасы: макароны и капуста. Толстый новый дядька и испуганная мама. Но вот представить себе, что этот взрослый ребенок, столько перенесший во время блокады, на всю жизнь затаит на меня обиду, – до сих пор трудно и стыдно.

А перенес дядя Саша, действительно, нечеловеческие лишения и страдания. Свою жену Лиду, девятилетнего сына Юрочку и только что родившуюся трехмесячную сестричку мою Галку сумел отправить из Ленинграда в начале войны. Сам уехать не смог. Его как железнодорожника мобилизовали. Успел только, прощаясь, сказать жене: «Береги сына, дочку не убережешь». Но тетя Лида уберегла обоих.

В первые блокадные дни у дяди Саши были работа и паек. «Александр Паук даже отличился в поимке засланного диверсанта», – так он нам, детям, потом с гордостью рассказывал. Говорили, что когда его

хотели представить к награде, попросил вместо ордена «продовольственный паек». На этом пайке продержался некоторое время, помог нашей бабушке Леокадии, которая была уже очень стара и тоже не захотела уезжать. Потом Леокадия умерла, сам он страшно голодал и приспособился ловить и есть полудохлых кошек.

Рассказывал: «ползу я однажды за кошкой. Она – полная доходяга, уже бежать не может, да и я еле ползу. И все-таки не догнал. Почему-то оказался на насыпи железнодорожной. Стал есть траву, не зная, что это лебеда. Слеп. Завыл, думал – навсегда. Проходил санитарный поезд. Почему-то остановился. Меня подобрали, определили в больницу. Я там отошел и даже раскормился немного, а в благодарность врачам и сестрам стал все подряд чинить и налаживать. Где электричество испортилось, где дверь не закрывается, даже оборудование медицинское подлатал. В общем, меня еще подержали. А потом главный врач мне говорит: «Хороший ты, Саша, человек, мастеровой, но нечем мне тебя больше кормить, да и ты все переделал, все починил. Спасибо тебе большое. Пора расставаться». Но тут уж я смекнул. Уйду из больницы – пропаду. И стал потихоньку больнице вред наносить. То где-нибудь выключатель испорчу, то замок разберу. Меня снова позвали. И главный разрешил: ну ладно, зачислите его в больницу на довольствие, как электрика и слесаря. Так и дотянул до конца блокады».

Потом вернулась его жена тетя Лида, всегда о нем очень заботившаяся, с детьми. Потихоньку жизнь наладилась. Дядя Саша устроился работать на железную дорогу помощником машиниста. Часто ездил в далекие рейсы. Ему оставили одну комнату в той самой квартире Перцова дома на Лиговке, где жили они до революции всей своей большой латгальской семьей. Теперь от семьи остались осколки. В блокаду умерла мама Лёся, наша с Юрой бабушка Леокадия. Другой старший брат моей мамы Янис пропал без вести. Не знаю, воевал ли он, но со слов моего брата Юры, который видел его весной 1941 года у нас в Москве, мечтал быть летчиком.

Сестер своих в Латвии дядя Саша никогда не искал. Человеком инициативным его назвать было трудно.

Но судьба повернулась так, что поиски разбросанных сестер и братьев увенчались успехом, совсем неожиданным.

«Здравствуйте, я – ваша тетя»

Ранним августовским утром 1959 года Александра (в семье ее звали Шура) первой электричкой приехала в Ригу из Калнциемса, где работала на комбинате строительных материалов, и со своим небольшим багажом отправилась на Центральный автовокзал. Оттуда уходил ее туристический автобус в Ленинград.

Ей все еще не верилось, что она увидит город своего детства и юности. Там они жили большой семьей. Все они были латгальцы, но в семье говорили больше по-русски, хотя отец с матерью часто между собой говорили по-латышски, и старшие дети знали немного латышский язык. Но все учились в русской школе, ленинградские ребята, естественно, во дворе говорили по-русски, только русская речь звучала и на улице.

Шуре невольно вспомнилось, как ее добрый папа, посмеиваясь над вечным «пилением» его жены Лёси, приговаривал: «Виноват, виноват, вот за то меня бранят!» Но виноват он бывал редко. Разве что, когда потихоньку таскал у Лёси ее свечи, когда надо было «чинить электричество». И если жена обнаруживала пропажу «освященных в костеле»(!) свечей, а была она фанатически верующей католичкой, в доме начинался настоящий скандал. Большой Антон либо прятался от жены, либо убегал из дома со словами: «Пошел черт по бочкам!».

Работал Антон Дементьевич как вол, – механиком, электриком, в нескольких местах. Содержал большую семью из шестерых детей, содержал ее в достатке. И даже сумел купить большую четырехкомнатную квартиру в знаменитом Перцовом доме на Лиговке, в десяти минутах ходьбы от Николаевского (теперь Московского) вокзала.

Шура покинула Питер, т.е. Ленинград, в 1925 году. После смерти отца в 1922 году жизнь семьи стала очень трудной. В городе не было топлива, в доме царили голод и холод. Бедная Лёся, оставшись вдовой в сорок лет, совсем растерялась. К тому же их семью очень быстро после революции «уплотнили», поселили каких-то «ответственных» и нужных для советской власти людей. По уточненным рассказам: из ванной сделали потом продолжение маленькой комнаты. А ванную ликвидировали как класс. Все мылись только в бане.

В Латвии после бурных перипетий, напротив, жизнь налаживалась, и об этом знали латыши и латгальцы питерской общины. В лат-

гальской общине Петербурга многие готовились вернуться на родину. Мечтали об этом и старшие дети из семьи Пауксов.

Шура покинула родной город молодой и веселой барышней, считая, что расстанется с мамой, братьями и сестрами ненадолго. Конечно, скоро все они воссоединятся в Резекне, где ее старшая сестра Антонина, первая красавица города, с мужем Изидором, вскоре получившим должность начальника Резекненского уезда, жили безбедно. А в нашей семье в Ленинграде жили впроголодь. Но все повернулась иначе. Потом все оборвалось. И Шура с Тоней уже ничего не знали о том, что происходит в Ленинграде. Не знали они ничего о своих родных и когда началась блокада Ленинграда. Удалось ли маме с детьми уехать? Остался ли кто-нибудь жив после блокады Ленинграда?

И вот теперь отважная и все еще веселая, но уже далеко не барышня, а очень даже немолодая женщина с испещренным морщинками лицом, приехала в Ленинград. А внутри все дрожало от неизвестности и страха перед незнакомым коммунистическим городом.

В Ленинграде, как только рижскую группу разместили в гостинице, Шура отправилась в свободное плавание. Первым делом нашла Николаевский вокзал, потом сразу увидела не очень изменившуюся Лиговскую улицу. По ней все еще ходили трамваи, правда, уже совсем другие. И рядом с вокзалом возвышались нетронутые бомбежкой два больших шестиэтажных серых здания Дома Перцова (инженера и подрядчика). Этот доходный дом был построен в 1910-м на американский манер, на 400 квартир разных размеров, с лифтами, телефонами, ванными общего пользования, и рассчитан на квартиросъемщиков среднего класса.

Шура нашла свой подъезд довольно быстро и поднялась на пятый этаж. Тут ее охватил такой страх, что пришлось сесть на подоконник широкого пролета лестницы и несколько минут себя успокаивать. Наконец, решила, встала и позвонила в знакомую дверь.

Дверь открыл, не спрашивая, «кто там», высокий молодой человек, черноволосый, с бровями вразлет (такие брови были у ее братьев) и с очень характерным для всех в семье Пауксов несколько одутловатым лицом, вернее – с утяжеленной нижней частью лица, придававшей ему выражение простодушного дружелюбия. Такое лицо было у папы Антона и у младшего брата Саши, которого Шура очень хорошо помнила. Когда она уезжала, Саше было 19 лет, он уже ухаживал за девушками и старался казаться совсем взрослым.

И вот теперь перед ней стоял молодой человек, вылитый ее брат! Еще не веря такому счастью, Шура, всегда отличавшаяся сообразительностью, а также решительным и немного авантюрным характером, быстро сказала: «Здравствуйте, я – ваша тетя!»

Теперь молодой человек застыл в полном недоумении. «Какая тетя? Нет у меня никакой тети!».

Надо было провести молниеносное расследование.

– Папу вашего зовут Александр Антонович?

– Да, Александр Антонович.

– А фамилия его Паукс?

– Никакой не Паукс, а Паук, – сказал юноша, сделав ударение на втором слоге.

Молодой человек, которого звали Юра и который был, действительно, племянником Шуры, еще не знал, что в паспортном столе милиции написание их фамилии упростили: отбросили ненужное русским «с» и сделали их «Пауками».

– Ну, хорошо, а где папа?

– На работе. Он машинист и сейчас на поезде едет во Владивосток.

– А мама у тебя есть?

– Ну, конечно, есть. Да что вы хотите?

– Вы, молодой человек, не бойтесь!

– Еще чего! Я вообще ничего не боюсь!

– Да нет, я понимаю, но дело в том, что ваш папа Александр – мой родной брат. А меня тоже зовут Александра. И я живу в Латвии, только вы, наверное, об этом ничего не знаете, потому что я уехала из этой квартиры, когда вас еще на свете не было. А можно мне поговорить с вашей мамой?

– Но мама тоже на работе.

– Тоже едет в поезде?

– Зачем! Мама работает в детском саду, в нашем доме, там и моя маленькая сестренка.

– Ну, так пойдём к маме!

Лидия Васильевна, жена Александра Антоновича, действительно, была в детском саду, где воевала с тридцатью ребятишками. Как только Шура увидела ее, не удержалась, расплакалась. Лида, как могла, попыталась успокоить Шуру, повела ее в дом.

...И тут начались воспоминания. Шура сбивчиво рассказывала, как уезжали они из Петрограда, как вначале мыкались в Латгалии. Очень

жалела, что так и не увидела своего брата Сашеньку. Лида обещала ей написать, а может и приехать. Хотя уверенности ни у той, ни у другой не было.

Мама, узнав от своего любимого брата Саши адрес Шуры, написала ей сразу письмо. Папа уже не возражал. А через год-два помог ей снова выехать в Прибалтику и просил своего друга Ивана Баскакова, работавшего в Рижском порту, отвезти ее в поселок Калнциемс, где жила с мужем ее родная сестра Шура.

Александра Паукс, по мужу Озолс, работала художницей на Калнциемском комбинате строительных материалов, писала всякие нужные лозунги и вообще все, что начальство просило написать и нарисовать. Александра была очень неплохой художницей-самоучкой. Нам – моему брату Юре и мне – после смерти мамы остались ее замечательные пейзажи (писала маслом). А муж ее Эдуард Озолс служил инженером на том же комбинате. Уже потом я узнала, что он был, как говорили, сыном хозяина кирпичной фабрики в Калнциемсе при Ульманисе. При советской власти этот заводик был национализирован. Его хозяину хватило ума тихо уйти в сторону, но сына он пристроил на работу. Семье Озолсов оставили небольшой домик на реке Лиелупе, недалеко от бывшей фабрики, на месте которой разросся Калнциемский строительный комбинат.

Вот в этот домик на реке Лиелупе в Калнциемс и зачастила моя мама к своей сестре Шуре. Помню, что до меня иногда, уже в московском пересказе мамы, доносились отголоски бесконечных споров сестер: мама по-прежнему ненавидела «буржуев», не любила и «бездельника» Эдика, только и сидевшего с удочками на реке, хотя сама, по просьбе Шуры, привозила ему эти удочки. А тетя Шура, хотя и старалась не говорить с мамой «о политике», не могла удержаться и время от времени поругивала советскую власть, что мама еще терпела. Но когда ее гнев обрушивался на Ленина, этого мама вынести не могла. Сестры ссорились, разъезжались. Но на следующее лето мама снова отправлялась в Латвию.

Так, почти через 30 лет, встретились две половинки нашей латгальской семьи: той, что осталась в Латвии, и другой, осколки которой сохранились в блокадном Ленинграде и нашей (Зориных), что жили в Москве.

Меня в те годы моя латышская родня как-то не затрагивала. Уни-

верситет, аспирантура в Институте мировой экономики, работа переводчицей на Кубе, потом в Праге консультантом по Латинской Америке в журнале «Проблемы мира и социализма». Интересы к истории Латвии не было, хотя я и историк по образованию. Не сумела узнать, – пока все еще были живы, – откуда родом мои дед и бабушка, как живут мои латгальские тетушки и двоюродные сестры. Интерес возник позднее и связан был, прежде всего, уже с московскими нашими делами. До настоящей встречи моей с родными в Латвии прошло еще много времени.

### Рижский десант

Осенью 1969 года мы втроем – мой муж Юрий Карякин, я и поэт Коржавин совершили десант в Ригу с тайной надеждой заработать какие-нибудь деньжата, жили почти впроголодь. Карякина вышибли из партии, не печатали, едва не уволили из Института рабочего движения, где он числился на ничтожной ставке младшего научного. Эмка скитался по Москве бездомный и ждал свою любимую Любаню из Молдавии. И вдруг какие-то либерально мыслящие рижские интеллектуалы обещали устроить поэту Коржавину и достоевсковеду Карякину встречи в каких-то литературных кафе. У Коржавина к тому времени уже вышла книжка стихов «Годы», а до этого его стихи были опубликованы в знаменитых «Тарусских страницах». Впрочем, в списках по Москве, Ленинграду вообще ходило немало его стихов. Коржавина знали и любили. Да еще в 1967 году в театре Станиславского поставили его пьесу «Однажды в двадцатом». Успех был ошеломляющим. Эмочка этим очень гордился и частенько с удовольствием приезжал в театр к концу спектакля «на поклон». Надо было видеть эту уморительную и трогательную картину. С одной стороны на сцену выходил обожаемый всеми артист Евгений Леонов, исполнитель главной роли, с другой – автор, похожий как брат-близнец на своего героя, непривычно щурящийся на свету и расплывающийся в бесконечной улыбке. Ну, а когда Алов и Наумов сняли Эмку в своем фильме «Бег», пусть и в мизерной эпизодической роли, тот решил, что пришла пора отправляться на гастроли. Честь выпала городу Риге.

Карякин не мог соперничать с Коржавиным в славе на литературном поприще. Но его фраза о Сталине – «черного кобеля не отмоешь добела», сказанная им публично на вечере памяти Платонова в Мо-



скве (в январе 1968), – распространилась по городам и весям благодаря сарафанному радио. И ее автор, исключенный, кстати, за эту фразу и за кое-что еще из партии, – стал популярен в узком кругу нашей интеллигенции.

Я же, как сопровождающий, отвечала за материально-финансовую часть поездки. Но был у меня и свой интерес – повидаться со своими двоюродными сестрами, а точнее – познакомиться со старшей сестрой Амелией, которая жила в Риге.

С младшей сестрой Лучией, мы ее называли с мамой – Люся, я уже успела немного сдружиться. Она жила на хуторе, кажется, недалеко от городка Огре. Когда мама приезжала к ней, а иногда и я присоединялась, Люся всегда весело и дружелюбно принимала нас, поила молоком, угощала своей чудесной сметаной и творогом. Правда, мы никогда не видели ее мужа, это несколько настораживало. Но Люся всегда уверяла, что он в командировках, ездит по лесным хозяйствам и заготконторам на машине, шоферит.

Иногда Люся говорила нам с некоторой опаской, что надо познакомиться нам с Мурой, Амелией, ее старшей сестрой. Но было у меня какое-то странное предчувствие, что в Риге мы не будем желанными гостями. И уж не знаю, каким чутьем учуяла я, что между сестрами тоже было напряжение.

Забегая вперед, признаюсь, что десант наш потерпел полное фиаско. Встречи в кафе были какие-то странные, без публики. Денег никаких не заработали и, в конце концов, мы даже заподозрили, что пригласивший нас парень, никогда не смотревший прямо в глаза, – Господи, упаси меня от греха! – был провокатором.

Для меня же полным поражением стало знакомство с моей старшей двоюродной сестрой Амелией.

Вот мы вчетвером – Коржавин, Юра, я и приведшая нас Люся – стоим перед дверью в добротном доме в центре Риги. Люся звонит.

Дверь открывает высокая красивая женщина средних лет, элегантная, взгляд внимательный и строгий. Обращаясь прямо ко мне, сразу, почти без приветствия, – по-видимому, она ждала нас, – говорит на неплохом русском, но с акцентом: «Если ты не говоришь по-латышски, я тебя в мой дом не пущу».

Я растерялась. Не знаю, что ответить. Люся тут же горячо на латышском принялась ее стыдить: «Ты что говоришь, Мура! Это наша

единственная сестра и ты не хочешь ее знать, потому что она не говорит по-латышски. Но откуда ей говорить! Она же всю жизнь прожила в Москве». Потом, уже обращаясь по-русски к моим мужчинам, она постаралась объяснить нашу размолвку.

Эмочка, как поэт, первым почувствовал неловкость ситуации и, слегка присвистнув, дрогнул: «Атас, ребята! Отступаем». Но Карякин спокойно стоял за мной и с интересом наблюдал за развитием ситуации.

Словесная дуэль сестер продолжалась. В этот момент я увидела в проеме двери, как по коридору прошел высокий мужчина и что-то негромко сказал по-латышски. Это был приказ жене, приказ, который мы потом с Люсей растолковали так: «Пусти их и проведи на кухню. С русскими надо быть вежливыми и осторожными. Пусть дочка Беатриса угостит их чаем».

Амелия гордо удалилась вслед за своим мужем, инженером Якобом Пуке, а выскочившая нам навстречу миловидная молодая девчушка, их дочь Беатриса, радостно и весело провела нас на кухню, напоила чаем и на прекрасном русском языке объяснила, что она очень рада таким гостям из Москвы. Сама она работает корректором в издательстве, любит книги и ей так приятно познакомиться с настоящим поэтом.

Посидели, немного поговорили. Разочарованный Карякин приговаривал, цитируя своего другого любимого поэта Давида Самойлова: «Давненько не пил я в гостях чаю». Выпить и закусить ему не обломилось. Разговора тоже не получилось. Люся явно была смущена. Вскоре мы ушли, не солоно хлебавши. А у меня осталась обида, что нас принимают за тех, кто отвечает за все те беды, что на латышской обрушились с приходом советской власти. Мы-то тут причем? Впрочем, я сама еще мало знала об этих бедах и уж вообще ничего не знала, как пострадали от репрессий и высылки наши родные в латгальской семье.

Но тогда я уже почувствовала, что многие латыши русских лишь терпят, побаиваются и тихо ненавидят. И стала я понемногу, а с годами все с большим интересом, разбираться – ПОЧЕМУ? Но чтобы ответить на этот непростой вопрос, пришлось мне поместить нашу семейную сагу в контекст российской и европейской новейшей истории и «большого времени».

## ЛАТГАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ

### Настоящий жених

– Салька, иди домой, – кричит из окна большого серого Перцова дома, что на Лиговке, старший брат Саша, – скоро придет настоящий Тонькин жених. Наверное, опять принесет шоколадных зайцев.

Сестренка стремглав мчится домой и, запыхавшись, взбегает на пятый этаж, – с вопросом к брату:

– А ты почему знаешь, что этот старикан – настоящий жених?

– Знаю. Вчера вечером сам слышал, как отец сказал Антонине про ее Изидора: вот этот – настоящий жених, дочка. Будешь за ним как за каменной стеной. Тебя любит, нас с матерью уважает. Человек серьезный, дело у него – надежное. Не раздумывай, соглашайся, а всех этих полячишек, что вьются вокруг вас с Мэлей, – вон!

Изидор Ранцанс, латгалец, сын богатого хуторянина, говорили, что он был одним из владельцев большой конфетной фабрики в Петербурге, [по некрологической заметке –[http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/p\\_001\\_iemv1930n388|article:DIVL90|query:Izidors Rancāns Rancans|issueType:P](http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/p_001_iemv1930n388|article:DIVL90|query:Izidors Rancāns Rancans|issueType:P – kara laikā ieņēma atbildīgu amatu) – kara laikā ieņēma atbildīgu amatu

Pēterpilī pārtikas pārvaldē = во время войны занимал ответственную должность в продуктовом управлении Петрограда] появился в семье Антона Дементьевича Паукса недавно. В дом он никогда не приходил с пустыми руками: приносил шоколадных зайцев, конфеты да и просто очень нужные семье продукты.

Шел к концу 1918 год. Было голодно и страшила холодная зима. Хлеб распределялся по нормам «классового пайка». И хотя Антон Паукс был главным электриком Мариинского театра, получить паек рабочего ему не удалось, он числился служащим. Когда за стол садились шестеро голодных ребят, мама Лёся, не зная чем накормить, пускалась в свой обычный зудёж. Как всегда, доставалось и мужу, но все больше – этой чертовой новой власти, которая Бога не боится.

В последнее время Антон Дементьевич стал прихварывать, жаловался на сердце, но продолжал работать везде, где предлагали. Электрики были нужны. Очень тревожился, как сложится судьба детей. Спешил отдать свою старшую дочь Антонину (ей шел двадцать первый год), красавицу, образованную, знавшую языки, замуж за хоро-

шего человека, каким виделся ему Изидор Ранцанс. Ну что ж, что был он старше на 14 лет, что не очень-то нравился дочери. «Стерпится – слюбится», – думал этот насквозь уже обрусевший латгалец. А может, оба уедут на родину. Об этом не раз заводил с ним разговор Изидор. Рассказывал, что отец его владеет хорошим хутором, недалеко от Лудзы (Луцина, Люцин, многие русские называли городок Лужа) на востоке Латгалии. Земли много, больше 100 гектар. Много коров, раньше неплохо шла торговля, хотя теперь, с этой чертовой войной, – не знает, как там отец и старший брат. Но уверен, что помогут, если они с молодой женой приедут. В родном городе живет очень много евреев, т.к. городок входит в «черту оседлости», у Ранцансов много связей с еврейскими обитателями города, есть у кого одолжить денег, пусть и под проценты. Да и у Изидора самого есть деньги, акции – так что он не пропадет.

Был и еще один сильный аргумент у «настоящего жениха» – его младший брат Язепс. Он учился в Императорской Римско-католической духовной академии, послужил два года капелланом в Российской армии, теперь уже каноник у недавно назначенного епископа Риги. На хорошем счету в епархии и говорят, что рижский епископ хочет послать его в Ватикан с докладом о положении в католической церкви в Латвии. Такие новости грели сердце маме Лесе, которая очень почитала католическую церковь и искренне радовалась, что породнится со священником.

Все так и получилось, как задумал Антон Деменьевич. Антонина вышла замуж за Ранцанса и вскоре уже ждала ребенка. Но тут поджидала их беда. Собственно на всех валились тогда беды. Остается только удивляться, как они все-таки выживали.

В августе 1920 года Советская Россия заключила с Латвией мирный договор. Осенью Изидор пересек границу, собственно бывшую в те годы довольно условным понятием, и добрался до Лудзы, а оттуда – к своим родным на хутор.

Отец поддержал намерение сына вернуться домой, но сказал прямо: «На землю не рассчитывай, дробить не буду, хозяином останется твой старший брат. А ты – перебирайся в Резекне. Там сейчас вакансий много. Дом купить можно, дело наладить».

Но на обратном пути пограничники схватили Изидора. Его обвинили в том, что он – «немецкий шпион» и посадили в тюрьму, а потом

арестовали и его беременную жену. В доме Пауксов не знали, как выволить дочь и зятя. От горя слег Антон Дементьевич и вскоре умер, не дожив до шестидесяти. Несколько недель продержали Изидора Ранцанса и его беременную жену в тюрьме, но, разобравшись, отпустили. Была у нас в доме легенда – я в нее не верю – что разобрался сам товарищ Дзержинский.

Но так или иначе, арестованный «шпион» и его жена вернулись домой. Родилась дочь Амелия. Для Изидора стало очевидно, что дальше жить в Питере уже нельзя. И в 1924 году, сразу после рождения второй их дочери – Луции, они уехали. А через год к ним перебралась младшая сестра Антонины – Александра. Когда она уезжала, мама Лёся рассчитывала, что потихоньку они все переберутся на родину. Но судьба решила по-другому. Да и подраставшие дети уже считали своей родиной Ленинград и никуда из страны Советов уезжать не собирались.

#### Новая жизнь в Латгалии

Итак, в 1924 году Изидор Ранцанс с молодой женой и двумя маленькими дочурками приехал в Резекне. Осмотрелся, купил дом, устроил семью, в доме была кухарка и няня для детей. В 1927 году у них родился сын Станислав.

Сперва Изидор был занят в кооперативном движении. В 1928 г. получил должность начальника уезда. Как уж он управлял уездом, сочинять не буду, но знаю, что оставил по себе добрую память: построил первую городскую больницу. Но через несколько лет сам заболел, поехал в Ригу, там пришлось срочно лечь на операцию по поводу воспалившейся (а может больной и похуже) почки и умер на операционном столе в 1930 году сорока семи лет отроду.

Антонина осталась молодой вдовой с тремя детьми: старшей дочери Амелии исполнилось девять лет, Лучии – 6, а сыну – три года. Семья Ранцанса и после смерти Изидора не бедствовала, но Антонина чувствовала себя покинутой. Дамы образовавшегося вокруг нее «светского круга» поохали, посочувствовали и как-то растворились. Настоящих друзей и родных не было. Антонина зачастила в костел, подолгу молилась. Была она очень хороша в своем траурном наряде. И вот стала она замечать, что на нее внимательно и, кажется, уже давно, смотрит какой-то молодой офицер. На нем была форма айзсарга. Это был Илия (Elijaš) Анцанс. Он давно заметил привлекательную и

богатую вдовушку и стал ее добиваться. Был он моложе ее на семь лет. Но ... вспыхнула страсть. Может быть, впервые Антонина влюбилась. Ее ничто уже не могло удержать. Избранник не просто ослепительно красив, как ей кажется, он к тому же – образованный человек (закончил сельскохозяйственную школу), отличается умением говорить и ухаживать, польстить, успокоить и приголубить. Антонина сдалась и поехала в Ригу просить совета и разрешения на второй брак и второе венчание у брата своего умершего мужа, Язепса Ранцанса, который уже стал епископом.

Мудрый и добрый Язепс выслушал свою сноху с пониманием и только спросил не без лукавства:

– Как зовут твоего сердцееда?

– Илия Анцанс, – ответила Антонина.

– Ну что ж, была ты Ранцанс, станешь Анцанс. Одну буковку поте-ряешь, зато, может, счастье найдешь.

Так в 1935 году в нашу латгальскую семью вошел айзсарг Илия Анцанс.

Антонина отправила дочерей учиться в католическое учебное заведение при монастыре, что был недалеко от Резекне. На руках остался только маленький Стасик, он много болел, требовал материнского внимания. Но несмотря на это, в первые годы нового брака Антонина была счастлива.

Илия получил место преподавателя в Сельскохозяйственной школе Резекне. Были у него и «частные» ученики – дети вставших на ноги новых фермеров, которым хотелось поставить свое хозяйство на «европейский уровень».

Илия был сторонником партии «Крестьянский союз». Ее лидер Ульманис, сын зажиточного крестьянина, с детства привязанный к земле, нутром своим понимал, что в Латвии основой всего может быть только сельское хозяйство, а его опорой – крестьянство, фермеры, зажиточные хуторяне. Его смешной и наивный лозунг – «Наше будущее – в телятах» – для добродетельного сельского латыша звучал даже убедительно. И для молодого латгальского патриота Анцанса – Ульманис стал образцом.

Как и все айзсарги, он поддержал переворот 1934 год, разгон парламента и партий, считая как «истинный патриот», что политическая грызня в Сейме лишь ослабляла страну. Активно участвовал в сборах и военной подготовке 17-го резекнеского полка. Все чаще он наведы-

вался в Ригу. Антонина уже редко видела своего молодого мужа. Летом он отправлял семейство отдыхать в Юрмалу. Девочки подросли, Антонина занималась больным сыном, чувствовала, что теряет мужа.

\* \* \*

Наступил столь памятный и страшный для моих сестер 1940 год.

Собственно все началось раньше, когда 23 августа 1939 года был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Три прибалтийских «вождя» – Карлис Ульманис, Антанас Сметона (Литва) и Константин Пятс (Эстония) предпочли спрятаться от надвигающейся угрозы за щитом политики нейтралитета, полагая, что подчеркнутое «невмешательство» в европейские дела спасет их от готовых сжаться челюстей двух агрессоров – на Западе и на Востоке – Германии и СССР, заключивших временный союз. Да и что могли им противопоставить маленькие прибалтийские страны, у которых и настоящих армий не было. Воевать и против Красной армии, и против армии Вермахта было бы безумием. Да и у людей еще был жив страх и память о том, в какую мясорубку они попали в Первую мировую. Никто из латышей не хотел ни воевать, ни умирать.

Президент Ульманис успокаивал население: отношения с восточным соседом развиваются нормально, дружелюбно. Люди в Латвии продолжали жить обычной жизнью. В семье Антонины жизнь тоже шла своим чередом. Лучия раньше времени покинула католическую школу, ей была невыносима дисциплина и занудство сестер-наставниц. В 1939 г. она поехала на год учиться в Германию, но скоро вернулась. Амалия оставалась в католической школе и намеревалась посвятить свою жизнь помощи больным, училась на медсестру.

На Рождество и встречу нового 1940 года в Резекне приехал из Риги епископ Ранцанс – навестить отца, старшего брата и семью своей золовки Антонины. Он был явно в тревоге и долго говорил с Илией и его женой. Его опыт службы в епископате Риги и в Сейме, куда он был избран депутатом, подсказывал, что разделом Польши дело не закончится. Скоро придут русские, – уверял он Антонину и ее молодого мужа, – и это может обернуться катастрофой. Недаром правительство Германии в прошедшем октябре призвало всех фольксдойче, то есть немцев, проживающих вне территории Третьего рейха, «вернуться

домой». А их, балтийских немцев, в Латвии больше 50 тысяч. И все они в своем большинстве продают имущество, получают компенсацию и уезжают в Германию.

Илия горячился: «Польшу поделили, теперь возьмутся за нас. Но у нас нет ни оружия, ни людей. Что можем мы, айзсарги? А Ульманис всех успокаивает. Вот увидите, он нас предаст».

Язепс не мог ему возразить, сам понимал, что короткая передышка, полученная латышами, скоро кончится и, вероятнее всего, опять большой кровью. Но своим родным он сказал твердо: если придут русские безбожники, всем нам будет плохо. Вы можете лишиться крова. Надо уезжать. Понимаю, что на отъезд трудно решиться и куда? Я сам буду в Риге. Но если нависнет угроза над вашим домом и – не дай Бог – над жизнью, – спрячьтесь в лесу у моего друга, сельского священника в лесном хозяйстве. Он поможет, если наступят совсем плохие времена.

Антонина поглядывала то на мужа, то на деверя, ставшего таким важным в католическом епископате, и ей не хотелось верить, что наступят опять тяжелые времена. А мои молодые сестренки – и серьезная Мура (ей исполнилось 19 лет), и веселая и легкомысленная Люся (скоро 17!) отнеслись ко всем этим предостережениям несерьезно. Им было интересно – какие эти молодые русские солдаты? Хотелось поскорее на них посмотреть. Ждать оставалось недолго.

\* \* \*

17 июня 1940 года советские войска вступили в Латвию. Президент выступил с обращением к народу по радио и заявил: «Оставайтесь все на своих местах, а я остаюсь на своём». Население пассивно отнеслось к вступлению русских войск. Никакого сопротивления им оказано не было.

... Мои сестрички с утра торчали у окон. Ждали, что вот-вот придут советские русские. Немцев они уже видели. А русские какие?

Были разочарованы, когда из танков посыпались курносые коротышки, на их взгляд – плохо подстриженные. Особенно, по семейным преданиям, сестер поразило, что вместо ремней шинельки солдат были подвязаны веревками?! Поначалу никакой опасности от прихода русских жители Резекне не ощутили. Офицеры и солдаты, расположившиеся на базах, вели себя скромно, вежливо. Правда, местных удивляло, как много скупают советские офицеры всякой одежды и других товаров и отправляют домой.



Насторожило другое: вскоре на улицах Резекне (а в Риге – еще активнее) начались демонстрации. Это были свои латыши и латгальцы, и они требовали установить советскую власть. Взрослые говорили, что организуют все коммунисты, которые в конце Первой мировой войны бежали в Петроград и Москву и стали там начальниками, а теперь вот вернулись. Некоторые участники митингов, вооруженные, пытались даже захватить полицейское управление в Резекне. Айзсарги не допустили.

Однажды Илия взорвался: «...назначили на 14 – 15 июля выборы в Народный сейм, а голосовать можно только за один список: от «Блока трудового народа», за коммунистов и их гольтьбу. Хорошо еще, что у нас нет внутренних паспортов, сразу узнают, кто как голосовал и заметут! Да и Ульманис хорош! Готов во всем идти на уступки. Вот посмотрите, он нас предаст», – твердил он в отчаянии..

21 июля 1940 года Ульманис добровольно ушёл в отставку и обратился к советскому правительству с просьбой о пенсии и выезде в Швейцарию. Наивный и легковёрный человек, с кем имел дело! Мышка давно попала в мышеловку.

Когда стали поговаривать о национализации крупных землевладений, Антонина и ее муж насторожились. В сентябре власти добрались до хутора Ранцансов. У отца Изидора и его старшего брата земли было больше 100 га, в то время как установленная норма владения не превышала 30 га.

А вскоре и обитатели нашего латгальского дома в Резекне попали в списки неблагонадежных. «Информаторы», как официально назначенные новой властью, так и добровольные, донесли, что первый муж Антонины и хозяин этого дома был начальником уезда, значит из «бывших», значит прислужник «фашистского режима» Ульманиса. А второй ее муж – офицер айзсаргов. Новая советская власть определила организацию айзсаргов как «фашистскую», и она официально была распущена. Многих ее командиров и активных членов арестовывали, расстреливали или осуждали на длительные сроки. Илия Анцанс уже знал, что руководители их организации в Резекне арестованы. Ему пришлось прятаться. Антонину и детей пока не трогали.

Однажды весной 1941 года один из «информаторов», молодой человек, давно симпатизировавший Лучии, предупредил ее, что вся их семья – в списке на «выселение». Списки эти были составлены партийными чиновниками и местными функционерами, лояльными но-

вым властям. И хотя сам информатор точно не знал, что значит «выселение», он посоветовал своей подруге где-нибудь спрятаться.

Когда Люся сказала матери, что в школе допрашивали учительницу обо всех учениках, в том числе уже и кончивших, что ее приятель уже давно советовал ей хорошо спрятаться, Антонина поняла, что всем им не сдобровать. Надо бежать в лесное хозяйство к священнику, адрес которого оставил епископ. И в первых числах июня они бежали из своего дома в Резекне. Люся рассказывала мне, что бросили все, взяв самое необходимое. На столе остались недопитые чашки чая, будто хозяева вот-вот вернуться. Это их бегство спасло им жизнь.

Несколько месяцев они прожили в лесном хозяйстве, расположенном вдали от всех хуторов. Туда, как и предвидел мудрый епископ Язепс Ранцанс, когти НКВД не дотянулись. Жили в постоянном страхе. Антонину зачислили бухгалтером, она была хорошо образована, так быстро и точно считала, что начальник сразу ее заметил. Люсе пришлось заняться кухней и домом. Конечно, после стольких лет жизни в городском комфорте с кухарками и горничными, всем было нелегко, но здесь, в отдаленном лесном хозяйстве, они были в безопасности.

А вот старшего брата отца моих сестер, дядю Винцента, «раскулачили» и вместе со всей семьей (жена, трое сыновей, две дочери) сослали в Сибирь. Винцент умер в дороге. Жена его тоже умерла, в Сибири. Старший сын Франц и две сестры вернулись в Латвию уже после смерти Сталина. Дети Франца живут в Нью-Йорке. Судьба остальных мне неизвестна.

В 1941 году волна репрессий прокатилась по всей Латвии и Латгалии. Мирная жизнь латышей окончилась. А жизнь моих родных в Латгалии за считанные дни перевернулась с ног на голову. Этого красного террора латыши не забудут никогда, как не забыли его в моей латгальской семье, хотя старались об ужасе того года не рассказывать мне, русской, из Москвы. Однако даже сегодня можно слышать, как они, поругиваясь, порой кричат вместо «Иди к черту!» – «Чтоб тебя в Сибирь отправили!».

## МЕЖДУ СОВЕТСКИМ МОЛОТОМ И НАЦИСТСКОЙ НАКОВАЛЬНЕЙ

### Немцы страшнее русских

Утром 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбила латвийские города Вентспилс и Лиенаю. Началось наступление германской армии. Части Красной армии стремительно и хаотично отступали. На десятый день почти без сопротивления взяли Ригу. К 8 июля немецкая армия оккупировала всю территорию Латвии.

Но еще до прихода немцев в Ригу кто-то из местных жителей стрелял из разных укрытий по отступавшим из города хвостам Красной Армии, – ведь первый год советской власти у большинства населения, даже у тех, кто поначалу был благожелательно настроен к Советской России, вызвал глубокую вражду к новым порядкам.

«Мстили слепо и сурово. / В сорок первом за акции сорокового», – напишет о них в 1962 году поэт Наум Коржавин («Братское кладбище в Риге»).

С уходом Красной Армии и до прихода немецкой в Латвии возникла попытка самоуправления и создания военизированных отрядов. В этих отрядах был и Илия Анцанс. Но когда немцы укрепились, эти латышские военизированные отряды быстро разоружили.

Хватило полугода, чтобы надежды на восстановление независимости рухнули.

Многие годы спустя Илия Анцанс пытался объяснить своим сыновьям: «Мы хотели мстить большевизму, коммунистам, Советскому Союзу за уничтожение нашей республики, нашего государства – Латвии, за убийства, ссылки, депортации».

Я не знаю, как далеко зашла месть Илии Анцанса. Был ли он замешан в нацистских преступлениях, в уничтожении евреев, – не знаю. Когда я раздумываю над тем, почему Анцанс и моя сестра Лучия так боялись всю жизнь даже упоминания о войне и о том, где они были во время немецкой оккупации, почему кошмар преследования со стороны НКВД и КГБ висел над ними всю жизнь, – поневоле приходит мысль, что Илия мог быть активен не только в партизанской войне против отступающих отрядов Красной армии, но, возможно, и в карательных акциях.

Одним из самых страшных эпизодов войны остается сожжение латгальской деревни Аудрини, населенной в основном русскими староверами, в январе 1942 года. Ольгерт горячо уверял меня, что отец не участвовал в этой акции, что он не поехал в Аудрини.

В августе 1941 года была введена всеобщая трудовая повинность. Население вербовали на работу в Германию. Сначала желающих, а позднее начался принудительный набор. Мой бедный брат Станислав был отправлен в Германию в 1944 году, когда ему исполнилось 17 лет. Он написал отчаянную поздравительную рождественскую открытку своему дяде епископу Ранцансу с просьбой помочь. Не получилось. Его угнали. Там, в Германии, у него, болезненного с детства, открылся туберкулез. После окончания войны, по возвращении домой, он умер.

\* \* \*

После ухода «красных» из Резекне моя латгальская семья вернулась в свой дом. Но жизнь не налаживалась, хотя Антонина устроилась бухгалтером в ту больницу, что построил ее первый муж Изидор Ранцанс, и проработала там все четыре года немецкой оккупации. Но произошли драматические события в самой семье, о которых мне рассказала моя старшая сестра Амалия уже незадолго до своей смерти в 2009 году. Рассказывала она со стыдом и страхом.

Отчим Илия, у которого до того были бесконечные командировки в Ригу по делам организации айзасаргов, стал на удивление жены часто оставаться в доме. 38-летний красавец начал проявлять явный интерес к своим повзрослевшим и расцветшим падчерицам.

И однажды он пошел на штурм крепости: решил взять старшую Амалию, которой исполнилось двадцать лет, и была она очень хороша: высокая, стройная, скромно, но с большим вкусом одетая, образованная, молчаливая и... умеющая удивительно достойно держаться со всеми. Но штурм не удался. Нападающий получил пару хороших пощечин. Амалия заявила матери: «Жить в одном доме с твоим мужем не буду. Уезжаю в Ригу». И уехала в Ригу, где нашла работу медсестры в больнице, а потом вышла замуж за инженера Якобса Пуке.

Пришлось уже не очень молодому, но закаленному в любовных боях офицеру брать на прицел младшую падчерицу. Была она тоже хороша собой, чуть полновата, но очень неплохо сложена. Всегда веселая, добродушная и открытая, вечно окруженная друзьями и под-

ругами. Правда, осада этой крепости затянулась на несколько лет. Но помогла ему война и безвыходная ситуация, сложившаяся в Латгалии и в нашей латгальской семье к концу немецкой оккупации. Об этом чуть позже.

В 1943 году Илия Анцанс, как и многие айзсарги, вступил в Латышский легион, созданный в составе войск СС. После разгрома под Сталинградом немцы нуждались в пополнении сил. Формирование Латышского легиона проходило и добровольно, и в порядке принудительной мобилизации. Под эту разверстку попал и Илия Анцанс. Точно не знаю, но по сбивчивым рассказам его сына Ольгерта, выходит, что отец вступил в Латышский легион добровольно.

В 1944 году, когда уже подступали советские войска к Латгалии, Илия Анцанс бежал с Люсей, которая фактически стала его женой, на границу с Литвой. Эту крепость, что звалась Лучия, айзсарг Анцанс наконец взял. «Я ему просто уступила», – с горечью призналась как-то спустя уже многие годы Люся. Ну а потом, как водится, и дети пошли.

Но тогда, в 1944 году, она, молодая и насмерть запуганная, во всем подчинялась мужу. Анцанс в пограничной деревне Ислице сумел охмурить какую-то бабу из сельсовета, задурил ее, – у него, мол, во время бомбежки в доме сгорели все документы, в том числе и паспорт. И получил новый паспорт. Так он стал поляком Станиславом Викторовичем Закшевским, изменив для верности и дату рождения с 1903 на 1902 год. Лучия Ранцанс тоже стала Закшевской. И дети их, появившиеся уже после войны, – Юрис (родился в 1946) и Ольгерт (1948), – долгие годы назывались Закшевскими. Юрис – до своей ранней смерти в 1990 году (похоронен в Елгаве) и Ольгерт, пока не поменял эту фамилию на настоящую фамилию отца уже после его смерти.

Если бы Илия Анцанс-Закшевский попал в плен к западным союзникам, – что для него оказалось невозможным, – он был бы среди 30 тысяч латышских солдат и офицеров, сдавшихся после капитуляции Германии, и получил бы разрешение на эмиграцию в Великобританию, США и другие страны Запада, так как латышским организациям удалось убедить союзников, что латышские легионеры должны рассматриваться как граждане независимой Латвии, незаконно призванные на военную службу. Но они с Люсей застряли в Латгалии. Пришла освободительница Советская армия. И Илье-Станиславу Анцансу-Закшевскому пришлось всю оставшуюся жизнь как бывше-

му айзсаргу и легионеру прятаться от советских властей под чужим именем и работать в глухих лесных хозяйствах. Он старался ни с кем не общаться. Всю оставшуюся жизнь боялся, что его узнают. Он даже не решился купить машину, хотя была такая возможность и для него, шофера, был бы постоянный заработок. Но остановил его страх, что при оформлении документов в милиции докопаются до его настоящего имени. Из-за того же страха перед властями не поехал на похороны отца в Резекне, а потом и матери после окончания войны, серьезно опасаясь, что там его опознают. Оказалось, – по рассказам того же Ольгерта, – там его действительно ждали сотрудники НКВД.

Шли годы. В 1957 г. семья перебралась из затерянного лесничества, где и родились оба сына, в Елгавский район. Детям нужна была нормальная школа. Люся работала на ферме недалеко от Огре. Но отец остался работать в лесничестве. Он, стараясь по-прежнему поменьше общаться с людьми, шоферил на дальних рейсах.

И все-таки в 1967 году КГБ его нашло.

Илия был очень напуган вызовом в КГБ. Его долго держали в каком-то подвальном помещении, допрашивали. За давностью лет его офицерство в организации айзсаргов уже не ставилось в вину. А доказать участие вызванного на допрос Анцанса в латышской вспомогательной полиции и его участие в нацистских преступлениях не удалось, да, надеюсь, оно и было незначительным. Так что отпустили его на все четыре стороны. Но пережить страх и отчаяние, охватившие его в тот год, он не смог и очень быстро умер от стремительно уничтожившего его рака крови.

После смерти мужа Люся осмелилась переехать в городок Огре и поступить швеей на трикотажную фабрику. Работала хорошо, портрет ее часто висел на доске почета, но страх ее никогда не оставлял. И никаких критических высказываний никогда она себе не позволяла, хотя советскую власть не любила и даже меня, приезжавшую к ней в гости из Москвы уже в 70-80-х годах, – побаивалась. Но мою маму, свою тетю Салю, искренне любила и меня всегда в своем доме встречала дружелюбно, хотя рассказывать о своей жизни не решалась.

Мы никогда не обсуждали ни в нашей московской семье, ни с нашей латгальской семьей в те недолгие встречи, что были у нас, – чем обернулось для них освобождение от немецкой оккупации советскими войсками. Репрессии возобновились. Многие были арестованы и

высланы в Сибирь, расстреляны, немногим удалось бежать в Швецию, а кое-кто ушел к «лесным братьям», в партизанские отряды, потому что сдаться «советским» означало для них смерть.

Репрессии затронули и семью моей старшей кузины – Муры, которая жила в Риге. Брата ее мужа Яниса Пуке, семнадцатилетнего гимназиста, в октябре 1940 года арестовали за «антисоветские» стихи и в марте 1941 г. отправили в лагерь в Воркуту. И хотя первоначальный срок был «двушечка», потом еще несколько лет добавили. В 1946 году освободили условно и отправили в ссылку в Казахстан. В 1948 г. благодаря брату ему удалось выбраться и вернуться в Латвию. В 2004 году он издал книгу «Dzimis laimes kreklīnā» («Родился в рубашке»). – о том, что повидал в ГУЛАГе и как чудом остался жив.

Ну а что стало с епископом Ранцансом, родным дядей моих латгальских кузин?

Язепс Ранцанс был не просто епископом, но и активным политиком. На заре республики он был уже активным сторонником Крестьянской партии, созданной еще в 1920 году, потом – членом Учредительного собрания, выработавшего Конституцию Латвии. Выбирался депутатом Сейма всех созывов, был товарищем Председателя Четвёртого Сейма, распущенного Ульманисом. Трудно даже понять, кто в нем доминировал – священник или политик.

В 1944 году он был вывезен немцами в Германию, откуда ему удалось перебраться в Великобританию, а потом в США. Он сумел вывезти с собой – среди церковных предметов – не только важные документы сейма Республики, но и ее символы – герб и флаг. После смерти и.о. президента Латвии Паулса Кальниньша в 1947 году занял этот пост. Формально оставался на нем до 1969 года, т.е. до своей смерти. В том же году этот пост был упразднен.

После провозглашения независимости Латвии в 1991 г. прах епископа и политика Язепса Ранцанса был перевезен в Латвию. Торжественный кортеж с гробом был остановлен перед Сеймом в Риге, где выдающемуся политику и свяннослужителю были отданы воинские почести. Захоронен епископ Язепс Ранцанс в крипте Аглонской базилики, в поселке Аглона, в восточной Латвии. Аглонская базилика – центр паломничества и католицизма в Латвии.

\* Юрий Федорович Карякин (1930-2011) – писатель, публицист, философ, общественный деятель; депутат Первого съезда народных депутатов СССР, один из учредителей общества «Мемориал»; в Межрегиональной депутатской группе вместе с А.Д.Сахаровым, Ю.Н.Афанасьевым и некоторыми другими депутатами активно выступал за предоставление независимости Латвии, Литве и Эстонии. В годы перестройки его статьи «Стоит ли наступать на грабли? Открытое письмо одному инкогнито» («Знамя», 1987, № 7) и «Ждановская жидкость» («Огонек», 1988, май) получили широкое признание. Ю.Карякин – автор книг о Достоевском: «Самообман Раскольникова» (1976). «Достоевский и канун XXI века» (1989), «Достоевский и Апокалипсис» (2009).

\*\* Коржавин (Наум Моисеевич Мандель) – русский поэт, прозаик, переводчик, драматург.

\*\*\*Айзсарги – отряды самообороны, созданы в Латвии в 1919 г.



## ДВЕ НЕОБЫЧНЫЕ ВСТРЕЧИ\*

Пер. Ц.И.

Об авторе стихотворения «Братское кладбище в Риге»  
Науме Коржавине

С августа 1959 года я работал в газете „Literatūra un Māksla”. Моей основной задачей было готовить информации о литературной жизни в Латвии, в соседних странах, иногда – и в более отдаленных. Вместе с тем я сделался вроде как консультантом молодых литераторов.

Всё чаще приходили поэты – как рижане, так и приезжие из разных мест. «Настоящие» публикации стихотворений наших поэтов и переводов готовил немного более опытный Янис Плотникс.

Тут надо сразу добавить, что возрастная амплитуда молодого поэта того времени могла быть от 16 до 60 лет, к тому же иной из них был опытнее, чем оба консультанта вместе взятые, и в поэзии тоже ушли дальше, чем кое-кто из «настоящих» поэтов. Война, западные и восточные лагеря, высылки – чего только не было...

Поэтому я не очень удивился, когда однажды в мой кабинет не вошел, а как-то вступил между кучами старых газет, небольшого роста круглоочкарик, лет на десять старше меня. Как бы извиняясь, он протянул несоразмерно маленькую ручку и, будто бы сотворивший какое-то прегрешение, виновато улыбаясь, вымолвил: – Наум Коржавин ... из Москвы. Но в литературной среде меня обычно называют Эмкой... Эмкой Манделем.

На вопрос, не хочет ли он что-нибудь предложить нашей литературной газете, Наум ответил, что сперва хотел бы немного узнать Ригу и рижских молодых поэтов. Там видно будет, может быть, образуется какое-нибудь сотрудничество.

Он робко протянул пару листков поблекшего машинописного текста. Я жадно прочитал, мы тогда долгие годы потребляли стихи в неограниченном количестве. Стихи были необычными даже для того необычного времени. Спросив, что в Риге стоит посмотреть, Наум Коржавин отправился в центр, на Братское кладбище, наверно, еще куда-нибудь.

---

\*Из книги И.Аузиня «Mana mūža pasaule. Vēstījums par laikiem un cilvēkiem». («Мир моей жизни. Повесть о временах и людях»).

Полвека я время от времени думаю, почему этот уже тогда выдающийся, знаменитый, но совсем мало публикующийся поэт заглянул в нашу редакцию. В сущности, у меня только одна версия. Было начало 60-х годов XX-го века. В очередной раз решалось, продолжит ли огромная страна путь десталинизации или постепенно соскользнет в трясиину неосталинизма. И вот, именно в этот момент „Literatūra un Māksla”, может быть, была единственной газетой в империи, которая недавно опубликовала столь существенное стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина» в прекрасном переводе Яниса Сирмбардиса. За это взялся на свой страх и риск Янис Плотникс вместе с некоторыми сотрудниками редакции. Он был ночной дежурный номера – на улице Блауманя – и без ведома редактора подписал стихотворение в печать.

Дальнейшее достойно целой небольшой новеллы. Скандал, грозные раскаты грома вскоре сменила чуть ли ни благодарность переводчику и публикатору. Потому что до Риги дошли сведения, что в главной московской газете это смелое стихотворение получило благословение на самом высоком уровне власти. Что тут, в Риге, на это возразишь, хотя недовольное ворчание слышалось во многих местах. Очевидно, это резко увеличило интерес к нам – к нашей газете.

А Наум Коржавин был не просто «один из талантливейших поэтов тогдашней метрополии», а, как пишет в документальной повести «Охота» известный писатель, сокурсник Наума Коржавина в Литературном институте имени Горького в Москве, Владимир Тендряков, «... каждый из нас – кто таясь, а кто афишируя, – претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали – Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка».\*

Он был не от мира сего. Ограничусь парой деталей. В послевоенной Москве он ходил в старой буденовке чуть ли не времен гражданской войны, в выданных институтским профсоюзом валенках топал и в мороз, и в теплую погоду, и по снегу, и по лужам ... А белье отправлял раз в год стирать маме в Киев. Когда чекисты в приливе антисемитизма и

---

\*\* Знамя. 1988. № 9. С. 87-124.

усиления борьбы с космополитизмом пришли Эмку арестовывать, он беспомощно собирался в путь с голубыми околышами, бормоча: – А я только теперь начал по-настоящему понимать марксизм...

Отсидел назначенные ему месяцы и годы в тюрьме и ссылке, но уже начинались более свободные времена...

Сотрудничество с Наумом Коржавиным всё же не получилось, потому что в Москве его произведения чаще запрещали, чем разрешали. И всё-таки рижская поездка, может быть, и опыт заключения, увенчались выдающимся произведением «Братское кладбище в Риге», которое высоко оценила и Анна Ахматова. Это стихотворение мы смогли прочитать лишь спустя долгие годы, когда поэт в 70-х годах 20-го века эмигрировал в США. В последние десятилетия и в Москве, и в США издано несколько его книг. Можно сказать, что они не только убедительно показывают выдающееся, хотя и долго замалчиваемое, место поэта в целой литературной эпохе соседней страны, но и подтверждают те наития о его редкостном таланте, которые были у его бывших сокурсников уже в молодости.

Читая это стихотворение, я снова вспоминаю нашу краткую встречу в Доме Беньяминов. С большим интересом и по возможности с максимальной точностью я перевел это сочинение, как наиболее полный поперечный разрез 20-го века Латвии, увиденный глазами ино-племенника.

**Виктор НИКОЛАЕВ**

## ОТРЫВКИ МОЕЙ БИОГРАФИИ

*Публикуемые ниже воспоминания создавались в два приема. Первая часть, над которой автор работал около полугода, была окончена осенью 1997 г. и преимущественно посвящена была печальным и трагическим событиям в жизни мемуариста, которому, в первую очередь, хотелось рассказать именно о таких эпизодах его жизни. Вторая часть, завершенная весной 1999 г., в основном, отдана повествованию о светлых промежутках жизни мемуариста. В данной публикации обе части объединены, события выстроены в хронологической последовательности.*

*Автор воспоминаний – Виктор Андреевич Николаев, родился в 1898, скончался в 2001 году. По специальности – юрисконсульт. Над воспоминаниями он начал работать в 99-летнем возрасте, завершил их на пороге 101 года – случай не рядовой. К сожалению, за пределами воспоминаний осталась почти вся вторая половина долгой жизни мемуариста – немного не хватило времени, причина смерти – несчастный случай в возрасте 102 лет.*

*Публикация И.В.Николаевой.*

*Подготовка текста – Б.А.Равдина.*

*Воспоминания печатаются с существенными сокращениями.*

*Б.Р.*

Моей дочери Ирине посвящаю.

### КРАТКАЯ РОДОСЛОВНАЯ

*«Воспоминанья нам даны, чтоб увеличить  
тоску по невозвратному».*

Я, Виктор Андреевич Николаев, родился 7 октября (по старому стилю) 1898 года.

До 1920 года жил в Ростове-на-Дону, отсюда переехал в Харьков, прожил здесь 65 лет и в 1985 году переехал в Ригу. Мой дед (по отцу) жил в Воронеже и был владельцем торгового предприятия. У него было трое детей: Андрей (мой отец), Ольга и Василий. Другой мой дед (по маме) происходил из старинного казачьего рода, служил в казачьих частях и дослужился до полковника. Он жил в столице Донского

казачества – в Новочеркасске, в большом собственном доме. У него было шестеро детей: три сына и три дочери. Все они жили в Новочеркасске, кроме дяди Кости, который, как и мы, жил с женой в Ростове.

### НАША СЕМЬЯ

Наша семья состояла из папы, мамы, брата и меня, плюс нянька Уляша, кот Кузька и пёс Буян. Жили мы на Казанской улице в доме №106, рядом с церковью, в большом домовладении, состоявшем из отдельных рядом стоявших домов.

В ограде церкви находилась начальная школа, которую я окончил перед поступлением в реальное училище.

Наш дом был полутораэтажный; наверху было четыре комнаты: столовая, спальня родителей, наша с братом комната и гостиная. В нижней части дома была кухня и ещё одна комната. В спальне родителей, в углу, стоял небольшой столик, а над ним, на стене, висели иконы Иисуса Христа, Божьей Матери и Николая Угодника, а также две иконы, которыми родители папы и мамы благословляли их перед венчанием. На столике стояли бутылки с Крещенской водой. Перед иконами висела тёмно-красная лампада, которую зажигали вечером и тушили утром. Здесь приятно пахло лампадным маслом, огонёк лампады отражался на иконах, было тепло и уютно.

### ПАПА

Папа [почетный гражданин города Ростова] по профессии был бухгалтером. Почти всю жизнь он служил в управлении Владикавказской железной дороги и стал заведующим отделом. Его жалованье давало возможность снимать в центре города пятикомнатную квартиру, содержать семью, иметь прислугу и обучать сыновей в реальном училище. Он был человеком спокойного нрава, рассудительным, непьющим, много курил. Папиросы он делал сам из трёх сортов табака: фабрики Асмолова, фабрики Кушнарёва и табака «Дюбек лимонный». Этой душистой смесью он набивал гильзы «Котык». Было видно, что процесс изготовления папирос доставляет ему удовольствие; курение было для него не потребностью, а наслаждением. Он любил играть в преферанс и периодически, по воскресеньям, к нам приходили с жёнами солидные дяди, его сослуживцы и партнёры по преферансу.

Со службы он приходил усталый и жизнью нашей семьи руководила мама, которую её родители хорошо подготовили к выполнению обязанностей матери и хозяйки. Придя с работы, пообедав и отдохнув, папа шёл в гостиную, садился в своё кресло и читал свою любимую газету «Русское слово», либерального направления.

### БРАТ

Брат Коля был старше меня на два года. Он унаследовал от мамы все черты казацкого характера: решительность, смелость и непокорность. А я был папиного рода: спокойный, послушный и застенчивый. Он был светловолосый и похож на маму, а я – брюнет, и похож на папу. Он был спортсмен и хорошо плавал; я не был спортсменом, но плавал неплохо. У него был лёгкий полугоночный велосипед английской фирмы «Спорт», который он сам выбрал, а у меня – прочный, но тяжеловатый, немецкой фирмы «Вандерер», который выбрали для меня родители. У него были коньки «Нурмис», с острым носком, а у меня – «Снегурочки», с закруглённым носком, и он, смеясь, говорил, что это коньки для девочек. Он был общительным и хорошо танцевал; я тоже танцевал хорошо, но был молчаливым. Он был главарём дворовых и уличных мальчишек, а я – рядовым. По всем статьям он превосходил меня, и я безоговорочно признал это. Тогда в моде была французская борьба, и в цирке нашего города часто выступали известные всей России борцы Кожемякин, Поддубный, Заикин и другие. Николай хорошо изучил приёмы борьбы и успешно применял их в борьбе со мной. Он где-то научился цыганской борьбе (ногами) и научил меня.

Несмотря на эти различия, мы жили дружно, и он всегда помогал мне в затруднительных случаях. Когда мы стали учиться в реальном училище, его превосходство надо мною уменьшилось. Я учился хорошо, а он – неважно. Я читал больше, чем он, и знал наизусть много стихотворений.

Не закончив обучения в седьмом, последнем, классе он поступил в военное училище, был произведён в прапорщики и направлен на фронт (шла война с немцами). Там он получил первую офицерскую награду: «Анненский темляк» (лента к «Ордену святой Анны», прикреплённой к эфесу офицерской сабли), а после этого орден «За храбрость». В бою под Барановичами (Белоруссия) он был убит. Прожил мой дорогой братец всего 21 год.

*Вот прапорищик юный, со взводом пехоты,  
Старается знамя полка отстоять.  
Один он остался из всей своей роты  
И знает: нельзя отступить!*

*(Из песни тех лет.)*

Я

Когда я родился, родители, подбирая мне имя, увидели в православном календаре, что 11 ноября церковь поминает мученика Виктора. Они решили назвать меня этим именем, и 11 ноября стало днём моих именин (день рождения тогда не праздновали). Имя этого мученика предопределило мою будущую жизнь.

Я очень любил читать. Прочитал сказки Пушкина, Андерсена, братьев Гримм и Альфонса Додэ, повести детской писательницы Лидии Чарской «Паж цесаревны» и «Княжна Джаваха», а также рассказы Клавдии Лукашевич. С большим интересом прочитал я Майн-Рида, Жюль Верна, нашумевшую повесть писательницы Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» и много, много других. Я записался также в городскую библиотеку. Увидев во мне любознательного читателя, заведующая библиотекой составила мне список книг, которые я обязательно должен был прочитать, и я выполнил её рекомендацию.

Мы получали по подписке два ежемесячных журнала «Родина» и «Нива». В складчину с братом мы покупали выходившие огромным тиражом книжки о подвигах великих сыщиков мира: Ната Пинкертон, Ника Картера, Шерлока Холмса, Путилина и других. Это были невероятно интересные, захватывающие детективные рассказы, пользовавшиеся огромной популярностью среди мальчишек.

У нас дома были музыкальные инструменты. Сначала музыкальный ящик с металлическими пластинками; он назывался «Ариозо». Его ручку нужно было крутить, как в шарманке. Потом появился граммофон с большой трубой и иголками. Его сменил патефон, без трубы и с вечным сапфиром вместо иголок. Благодаря им мы слушали пение артисток Вяльцевой, Плевницкой, Вари Паниной, Шаляпина, Смирнова, Собинова, Камионского и других.

Особенно весело мы, дети, проводили время, когда родители уходили в гости или в театр. Я приводил своего сверстника Яшку, с которым мы играли во дворе, и мы вчетвером (Уляшу-няньку мы научили)

играли в лото или в подкидного дурака, или проигрывали подряд все имеющиеся пластинки, или Оля с Буяном (собакой) показывали нам «представление»: различные трюки и фокусы.

## УЛЯША

Когда родился я и маме стало трудно воспитывать двух сыновей и вести хозяйство, возник вопрос о няне. Дядьки-маклера привозили в город из соседней Харьковской губернии деревенских девушек, желавших подработать себе на приданое и предлагали их в прислуги. Этих девушек называли «сроковыми», так как они нанимались на год «от Покрова (1 октября) до Покрова». Они получали жалованье и обязательные подарки на Рождество и Пасху.

Среди взрослых девушек оказалась одна девочка, которая пригласилась маме, и она взяла её в няни. Звали её Ульяна. Ей было 12 лет, она была круглой сиротой и жила у родной тётки в хате с соломенной крышей, земляным полом и большую часть времени ходила босиком. В бедной семье тётки она была лишним ртом, и когда она закончила начальную школу, тётка послала её на заработки. Мама сожгла всю её одежду и после санитарно-гигиенической обработки одела в городскую одежду. Уляша оказалась смышлёной девочкой с хорошим характером.

С Уляшей у меня связаны некоторые воспоминания.

Каждую субботу у нас дома был «день чистоты»: всё мыли, чистили, вытрясали, заменяли нательное, постельное и столовое бельё. Обычно в этот день в нашей комнате появлялась Уляша с двумя чистыми и выглаженными носовыми платками и говорили: «Мама сказали, чтоб отдали носовые платки».

– Опять неправильно говоришь, – отвечал брат. – Сколько раз тебе толковали, что надо говорить: «мама сказала», а не «сказали». Говори правильно!

Уляша молчала, и брат добавлял: «Не скажешь правильно, не будет тебе никаких платков». Зная характер брата, Уляша тихо говорила: «Мама сказала», получала носовые платки и уходила. В конце концов мы добились, что она отвыкла от своей деревенской привычки и перестала говорить о папе и маме во множественном числе. Но было ещё одно обстоятельство: и брату и мне она говорила «вы». Она вынянчила нас, кормила манной кашей, стирала пелёнки, сажала на горшочек,



жила у нас долго, была наша, семейная и поэтому мы не могли примириться с этим «вы». Однако, несмотря на наши усилия, мы в этом случае не добились успеха и не смогли ничего изменить. Наши родители довольно часто делали нам подарки: на именины, при переходе в следующий класс, на Рождество и Пасху. Подарки готовились заблаговременно, и мы с братом старались тайком от родителей узнать, какие нам приготовлены сюрпризы. Мы выросли и считали себя умными и сознательными. Однажды в сочельник брат заговорщицким голосом сказал, что подарки уже куплены, лежат в столовой на столике, и мы можем посмотреть на них, так как мама и Уляша в кухне. Мы тихонько подошли к столовой. Дверь в неё оказалась закрытой, но не плотно, и мы увидели, как мама, сидевшая у стола, взяла свёрток с материей и глубокую тарелку, наполненную пряниками, орехами и конфетами и отдала всё это Уляше, стоявшей перед ней. Поставив подарки на стол, Уляша стала перед мамой на колени и поклонилась ей в ноги. «Мне не надо кланяться, меня надо слушаться», – сказала мама. Мы были поражены, Коля рывком открыл дверь, и мы очутились в столовой. Мама оправилась от неожиданности нашего появления, и произошёл такой диалог:

– Так! Значит, подсматривали и подслушивали?

– Мама! Ведь это нехорошо: нельзя, чтобы человек кланялся другому человеку в ноги.

– Я её не заставляла, у них в деревне так принято.

– Но мы живём в городе. И скажи, почему она называет тебя барыней?

Мама вспылила.

– Это не твоё дело. Как ты смеешь делать мне замечание? Прекрати!

– А Коля продолжал:

– В Новочеркасске, у твоих родственников, тоже есть слуги, но они называют своих хозяев по имени и отчеству. Какая ты барыня? Ты – казачка.

Это был меткий и сильный удар, сразивший маму. Она была недовольна тем, что её любимчик Коленька делает ей выговор, а я, тихоня, ему поддакиваю, но понимала, что мы были правы. Она действительно была чистокровной казачкой, а не чиновницей, дворянкой или помещицей.

Помолчав, она обняла нас и сказала: «Дорогие мои ребятки, революционеры! Я согласна с вами, больше этого не будет. Но запомните

на всю свою жизнь, что подсматривать и подслушивать нехорошо и подло».

На следующий день, на Рождество, когда папа с мамой ушли в гости, мы провели с Уляшей воспитательную и разъяснительную беседу и больше такие случаи не повторялись.

В то время самыми большими праздниками считались Рождество и Пасха. Три дня были закрыты все учреждения, не работали предприятия, закрыты базары.

В эти дни у нас дома, в столовой, накрывали стол, ставили закуски, салаты и крепкие напитки. На большом блюде лежал целиком зажаренный поросёнок, а на другом – целый окорок. Это было предназначено для тех, кто придёт поздравить нас с праздником, для визитёров. Первыми обычно приходили священник с дьяконом. Церковь была рядом, и мы считались её прихожанами. Прочитав несколько молитв, они садились за стол, выпивали по рюмке водки, закусывали и уходили поздравлять других зажиточных прихожан. После них приходил городской. Его пост находился недалеко от нас на Московской улице. Он поздравлял, выпивал полстакана водки и хорошо закусывал. Папа вручал ему серебрянный рубль. Потом появлялся дворник нашего дома Егор. Он выпивал две рюмки водки, закусывал и получал от папы серебрянный полтинник. Следом за ними приходил водовоз, который привозил нам в бочке свежую воду из бассейна (два ведра воды стоили одну копейку). После выпивки и закуски он получал от папы двадцать копеек. После этих «должностных лиц» приходили до обеда другие визитёры: папины молодые подчинённые и знакомые холостяки.

Нам было запрещено входить в столовую и «болтаться под ногами», и мы со стороны смотрели на всё происходившее. У меня возникало много недоумённых вопросов; я не понимал, почему к нам с поздравлением приходил городской, почему папа давал ему «на чай» больше, чем другим, и для чего у него на боку висит шашка. Но брата я спрашивал о другом: «Почему на стол поставили целого поросёнка и целый окорок?» – «Это для фасона», – отвечал он...

...Наступал вечер; к этому времени мы уже сделали уроки, папа после обеда отдохнул и подремал, мама с Уляшей закончили хозяйственные дела.

И вся семья собиралась в столовой на вечернее чаепитие.

Много, много лет прошло с тех пор и когда я вспоминаю об этих

семейных чаепитиях, сердцу становится теплей. Вот так жили мы, и таким было моё счастливое и безоблачное детство.

## МАМА

...Моя мама умерла, когда мне было всего 11 лет. Понимаете ли вы, что значит остаться без мамы в таком возрасте?

Умирала она спокойно, без болей и в полном сознании. Она захотела попрощаться с детьми. Нас привели, и я, брат и сёстренка, стали на колени возле ее кровати с зажженными свечками в руках. Она смотрела на нас печально, с любовью, гладила по головкам и вдруг заплакала. Мы тоже заплакали. Плакали также и все, кто был в комнате. А в соседней комнате отчаянно и страшно плакал папа.

На ее могиле поставили памятник и ограду, в которой мы посадили ее любимые сирень и липу; липа вскоре пышно разрослась. Мы вчетвером часто приходили сюда, садились на скамейки, вспоминали и, конечно, плакали.

Смерть мамы была первым в моей жизни большим горем и потрясла меня.

## ШКОЛА

Реальное училище имени Петра Великого, в котором я учился, было построено на средства, пожертвованные Ростовским миллионером Максимовым. Он не пожалел денег на специальный проект и отличное оборудование. Трёхэтажное здание училища находилось в центре города, на главной улице – Садовой. Рядом с ним, с одной стороны, стояло красивое здание Городской управы, а с другой был Городской сад. По соседству, в тылу, была Екатерининская женская гимназия, и наши школьные дворы были отгорожены забором. В здании кроме классных комнат были два рекреационных зала, физический, географический и рисовальный учебные кабинеты, а также химическая лаборатория. Был также большой гимнастический зал со спортивным инвентарём. Лестницы на второй и третий этажи были из белого мрамора, с ковровой дорожкой посередине. Со стороны двора к зданию училища была пристроена церковь, вход в которую находился на втором этаже училища. Весь третий этаж училища занимал большой актёрский зал с высоким потолком, большими люстрами и хорами для оркестра. На стенах зала висели большие портреты всех царей,

императоров и императриц, начиная с царя Михаила Фёдоровича и кончая Николаем II. Они были изображены в натуральную величину, со всеми царскими регалиями: коронами, скипетрами, державами, с орденами и разноцветными лентами. Все портреты были в одинаковых больших бронзовых рамах, с гербами. Они были нарисованы хорошими художниками, красочными, каждый портрет представлял большую ценность. Этот драгоценный подарок сделал попечитель училища Максимов ко дню открытия училища, построенного на его деньги. Кроме портретов, на стенах, в красивых, различных по форме рамках, висели гербы всех пятидесяти двух губерний, входивших в состав Российской империи. Портреты и гербы очень украшали и без того красивый актовый зал. На человека, впервые вошедшего в него, он производил большое впечатление. В нашем городе не было такого прекрасного школьного здания, как наше, и такого большого и красивого актового зала, и мы очень гордились этим.

Я описываю это подробно для того, чтобы читатели видели, какие прекрасные условия были созданы для педагогов и учащихся. В этом «дворце образования» было неудобно и стыдно плохо учиться.

В то время в средних школах существовало раздельное обучение мальчиков и девочек. Были также закрытые учебные заведения: кадетский, морской и пажеский корпуса для мальчиков и институты благородных девиц – для девушек. Тогда считали, что совместное обучение имеет много недостатков: раннюю влюблённость и ссоры, что мешает обучению. А ежедневное общение и особенности женского организма создают «прозаическую близость» и лишают юношей и девушек романтического представления друг о друге.

Раздельное обучение не означало, что мы были изолированы от девушек. Мы встречались с ними на вечеринках, играли во «флирт цветов» и в «фанты», а повзрослев – в крокет, в серсо, в диаволо. Мы катались с ними летом на роликовых коньках в скетинг-ринке, а зимой на катке, ходили с ними в биограф (кино), в театр, на литературные вечера и танцевали на балах. Нас приучали держать себя прилично в женском обществе.

Все учащиеся должны были носить форму. Она была разной для гимназистов, реалистов и учащихся технического училища. У нас были форменные фуражки с кантами и гербами учебного заведения и поясные ремни с пряжками и названием училища. У гимназисток

форма была разного цвета: коричневая в Екатерининской гимназии, синяя – в частной гимназии Берберовой, и самая красивая – голубая, в гимназии Любимовой. Фасон формы и качество материи, из которой она сшита, должны были соответствовать утверждённым образцам. Часы, цепочки и брелоки у мальчиков, серёжки, медальоны, брошки и кольца у девочек были запрещены.

Такие строгие правила были установлены для того, чтобы избежать зависти, ссор и расслоения учащихся по социальному и материальному признакам. При таком порядке дочь полковника и начальника Ростовского гарнизона Катя Зорина внешне ничем не отличалась от своей соученицы Ирины Рязанцевой, у которой отец был портным. А мой соученик Коля Иванов, сын начальника Ростовского порта, не отличался от своего одноклассника Феди Дорошенко, отец которого имел бакалейную торговлю.

В школах была строгая дисциплина. У нас на уроках присутствовали надзиратели, а у девушек – классные дамы; они следили за поведением учащихся. Нам ставили отметки не только за поведение, но и «за внимание» и «за прилежание». Учащиеся не могли находиться вне дома после восьми часов вечера и за соблюдением этого правила следили работники внешкольного надзора.

Нас воспитывали строго. И педагоги, и родители стремились сделать из нас образованных, порядочных людей и патриотов. Особенно заботились о нравственности девушек.

Конечно, существовавшая тогда система образования и воспитания, с её ограничениями и правилами поведения – стесняла нас, но она применялась с детских лет и становилась привычной.

В старших классах эти рамки и ограничения стали более ощутимыми и вызывали недовольство, но уже приблизилось окончание училища, а в ВУЗах было больше свободы и существовало совместное обучение.

Расскажу о любимых учителях и о некоторых случаях за время обучения.

### УЧИТЕЛЬ ГИМНАСТИКИ

Однажды в гимнастический зал пришёл директор с незнакомым мужчиной и лаконично сказал нам: «Это – учитель гимнастики», – и, обратившись к нему, произнёс: «Приступайте, Николай Васильевич!».

И тот «приступил». Сняв одежду и, оставшись в спортивном костюме, не говоря ни единого слова, подошёл к спортивным снарядам и сделал на кольцах и параллельных брусьях упражнения, требующие силы и натренированности, а на турнике легко и непринуждённо выполнил «солнце».

Потом разбежался, оттолкнулся ногами от трамплина, перевернулся в воздухе и перелетел над длинным корпусом «кобылы».

Мы были восхищены и поняли, что наш учитель гимнастики – спортсмен высокого класса и мастер своего дела.

Познакомив таким необычным способом нас с собою, он оделся, построил нас в одну шеренгу по росту и громко скомандовал: «Смирно!! И никаких шевелений!» Класс гомерически захохотал, так как в русском языке слова «шевеление» не существует. Наш смех его не смутил. Оказалось, что это у него неистребимая привычка и всякий раз, когда он говорил это слово, мы громко смеялись.

Николай Васильевич много сделал для нашего физического развития; мы выпрямились, расправили плечи, наши движения стали плавными, и походка твёрдой и уверенной. Он организовывал гимнастические праздники во дворе училища, и сотни ребят в одинаковой спортивной одежде и с разноцветными флажками в руках под его руководством и под звуки оркестра ритмично делали спортивные упражнения и красивые пирамиды, а приглашённые на эти праздники родители бурно аплодировали.

### ФРОЙЛЯЙН ШТУБЕР

Самой любимой нашей учительницей была преподавательница немецкого языка Клара Иоганновна Штубер, милостивая девушка с большими голубыми глазами. Она хорошо говорила по-русски, с небольшим, приятным акцентом, а когда волновалась или смущалась, то сильно краснела.

Совсем молоденькая, она по своему возрасту была как бы нашей сестрой. Рассказав кратко свою биографию, она добавила, что в Германии ученики не называют преподавателей по имени и отчеству, как в России, что молодых учительниц там называют «фройляйн» (барышня) и попросила, чтобы мы тоже называли её так. Смущаясь и краснея, она рассказала, что очень волновалась, когда в первый раз шла в наше училище, так как боялась, что будет одна среди пятисот мужчин,

но что теперь не боится. Весь класс засмеялся. Её искренность очень понравилась нам и вызвала чувство симпатии, а беззащитность – желание защитить и не дать в обиду.

Мы всем классом влюбились в неё и постановили: всем хорошо учить немецкий язык, и в дальнейшем выполняли это решение.

Она оказалась хорошей учительницей и в сравнительно короткий срок мы этим языком овладели. У меня выявилась способность к изучению этого языка; я легко и быстро выучил его правила грамматики и орфографии и по этому предмету стал лучшим учеником в классе. Учительница заметила это и, когда возникали затруднения с переводом, всегда обращалась ко мне.

Наш директор часто посещал уроки преподавателей и однажды пришёл к нам вместе с учительницей. Она предложила ему сесть на кафедре, объявила классу по-немецки, что господин директор выразил желание ознакомиться с результатами обучения; потом она сказала директору по-русски (он не знал немецкого языка), что в программе сегодняшнего урока – рассказы о достопримечательностях в немецких городах, что переводчиком будет ученик Николаев, и села на стул возле окна.

Директор вызвал пятерых учеников, которые рассказали о городах Германии и ответили на его дополнительные вопросы, не сказав при этом ни одного слова по-русски.

Я всё сказанное ими переводил. Шестым был вызван ученик Василевский. Он рассказал о Мюнхене и добавил после этого, что хочет сказать несколько слов об учительнице. «Этого нет в программе, – сказал он, – но мы сами добавили».

Он сказал, что фройляйн родилась в Баварии, что там живут её родители и два брата, что она окончила гимназию с золотой медалью, а диплом института у неё с отличием. Заканчивая, он сказал: «Фройляйн говорила нам о том, как она волновалась, когда шла в наше училище в первый раз, боясь быть одной среди пятисот мужчин, но что теперь не боится».

И мы увидели, что наш серьёзный и солидный директор был явно взволнован. Он поднялся со своего места. Встал и весь класс, чувствуя, что сейчас произойдёт что-то необычное. Он подошёл к нашей любимице и сказал: «Фройляйн! Вы – отличная и талантливая учительница!». Весь класс заплодировал. Пунцовая от волнения, она поблагодарила его, и он быстро вышел из класса.

Но вот однажды произошёл казус... Был урок немецкого языка, и в класс вошла фройляйн. Желая успокоить шумевших ребят, она громко сказала свои обычные слова: «Рюиг», «Ляйзе»! (Спокойно, тихо!) Кто-то из ребят, желая пошутить, громко добавил: «И никаких шевелений». Класс громко засмеялся. Учительница не поняла причины смеха и, обращаясь ко мне, спросила: «Николаев! Вас ист дас «шевеление»? (Что такое шевеление?) Но я смеялся со всеми и поэтому ответил: «Их вайсе нихт» («Я не знаю»). И все увидели, как она сразу изменилась; всегда весёлая и жизнерадостная, она вдруг поникла, глаза стали грустными, и весь урок она была чем то озабочена.

Когда после звонка она вышла из класса, я подошёл к ней, чтобы выяснить, что случилось. Она сказала, что не поняла, почему класс смеялся, а я не захотел ей объяснить и поэтому она считает, что смеялись над ней и это ей обидно и неприятно.

«Что я сделала не так?», – спрашивала она. Я объяснил ей, что смеялись не над ней, а над словом «шевеление», которого нет в русском языке; что оно является любимым словом учителя гимнастики, и мы всегда смеёмся, когда слышим это слово.

Надо было видеть, как она изменилась и обрадовалась, услышав мои объяснения.

На следующий день был опять её урок. Войдя в класс, она, как всегда, громко сказала: «Рюиг», «Ляйзе»! Потом стукнула журналом по кафедре и воскликнула: «И никаких шевелений!»

Мы ответили на это бурной овацией.

## БЕЛАЯ АКАЦИЯ

*Белой акации гроздь душистые  
Вновь ароматом полны.*

Одной из достопримечательностей Ростова-на-Дону была белая акация. Не знаю, как это произошло, но во всём городе, в парке, в городском саду, на площадях, бульварах, улицах и переулках росли деревья только белой акации; деревьев других пород было мало. И каждой весной, когда все деревья города начинали цвести, в нём происходило что-то невообразимое.

Хмельной аромат кружил головы, одурманивал людей, возбуждал эмоции и толкал их на непредсказуемые поступки. В один из таких полусумасшедших дней я встретил на Садовой улице свою крёстную



мать. С детских лет я был влюблён в эту красивую женщину. Она обрадовалась встрече, отдала мне свёртки со своими покупками и сказала, чтобы я проводил её домой.

Год назад она овдовела, муж оставил ей небольшой капитал, и она мирно жила, ожидая второго замужества. Детей не было.

Когда мы дошли, она предложила мне зайти к ней. Переодевшись, она угостила меня чаем с вишнёвым вареньем и домашним печеньем. Потом села на диван и сказала, чтобы я сел рядом.

– Когда ты был маленьким, – сказала она, – я однажды видела, как ты поднял носовой платочек, который я уронила, но мне не отдал, а спрятал. Когда ты вырос, то всегда при встречах со мной пристально осматриваешь меня с ног до головы. Скажи, я тебе нравлюсь?

Я утвердительно кивнул головой.

– А что тебе нравится больше всего: лицо или фигура?

Я молчал, она допытывалась, и я вдруг ляпнул: «Бюст».

Она засмеялась.

– Разве так говорят? Нужно говорить: «грудь». Но до груди мы ещё дойдём. А сейчас скажи, моё лицо тебе нравится?

– Да! – ответил я.

– А ты хотел бы его поцеловать?

– Да, – опять сказал я.

– Ну, поцелуй!

У неё были пухленькие розовые щёчки, и я вонзился в одну из них своими губами.

– Опять не так, – засмеялась она. – Так страстно целуют только в губы, а в щёчку нужно нежно, вот так. – И она поцеловала меня.

– А теперь посмотри, какие у меня ноги. – И она откинула полы своего халатика. Ноги у неё были полные, ровные, с пухленькими колечками, в длинных чулках телесного цвета и круглыми розовыми резинками.

– Ну, пошли дальше, – сказала она. – Ты видел когда-нибудь раздетую женщину? – Я отрицательно мотнул головой.

– А хочешь увидеть? – И сама ответила:

– Я знаю, что хочешь. Ну, раздень меня и запомни, что женщину должен раздевать мужчина.

Она показала, что нужно сделать. Я потянул пояс халатика и когда он раскрылся, снял его вместе с рубашкой. На ней остался лифчик,

туго стягивающий грудь и застёгнутый на пуговички, и белые панталоны с кружевами.

У меня начала кружиться голова. Игра, которую мы вели, постепенно возбуждала не только меня, но и её.

Глаза её сузились, лицо побледнело, она стала говорить отрывисто.

– Расстегни лифчик! – Я быстро расстегнул.

– Сними брюки!

Немного отвернувшись, я снял, а когда обернулся, то обомлел: она была без лифчика и без панталон.

Впервые в своей жизни я видел обнажённую красивую женщину, её голую грудь и самые интимные части женского тела. Кровь ударила мне в голову и, не ожидая её указаний, я обнял её, прижал к себе и стал целовать. Обеими руками она взяла мою голову и своим маленьким ротиком впиалась в мои губы.

Мы повалились на диван, и она обхватила меня ногами...

Мне было 19, а ей 41...

Возможно, что прочитав это, некоторые читатели осудят поступок моей крёстной и будут считать, что молодая голодная вдовушка соблазнила своего несовершеннолетнего и невинного крестника.

Такое мнение абсолютно неправильно. Чтобы объективно и правильно оценить её действия, нужно учесть, что это событие произошло 80 лет назад, когда существовал другой общественный строй, были другие нравы и обычаи, и была такая жизнь, о которой наши дети и внуки не имеют никакого представления.

Нас воспитывали очень строго и старались сделать из нас порядочных и нравственных людей. Однако, в продуманной до малейших деталей системе нашего воспитания был серьёзный изъян: нас совершенно не знакомили с предстоящей семейной жизнью, и мы ничего не знали о половых отношениях. И в семье, и в школе это была запретная тема.

Есть старый анекдот:

Адам и Ева гуляют по цветущим аллеям райского сада. «Адам, – спрашивает Ева, – ты меня любишь?». – «Очень люблю, – ответил Адам, – но я не знаю, что нужно делать дальше».

Мы были такими наивными Адамами. Мы созревали в половом отношении значительно раньше, чем вступали в брак, однако удовлетворить возникшие у нас потребности мы не имели возможности. В

то время во взаимоотношениях между нами и нашими сверстницами существовала невидимая преграда, преступать которую строго запрещалось. В обществе бытовали понятия о «девичьей чести», о «девственности», которую нужно беречь и отдавать только мужу. Нарушение этого неписанного закона строго каралось обществом и влекло серьёзные последствия для нарушительницы. По этим причинам наши сверстницы, молодые девушки, были абсолютно недоступны.

Выход был один – проституция. Она была легализована государством и проститутки стали «первыми учительницами» молодого поколения в науке о половых отношениях.

Когда ребята, уже отведавшие «райского яблочка», рассказывали нам о первой близости с женщиной, то на вопрос о том, какое впечатление осталось у них после этого, большинство отвечало «было противно». И действительно, какое впечатление должно было остаться у парня после торопливого совокупления в подъезде жилого дома, или даже в подворотне, в номере бани или в обстановке публичного дома...

Моя крёстная была не посторонней или просто знакомой. Она знала меня с младенческих лет и не могла безразлично отнестись к тому, что я, подобно моим сверстникам, выражаясь высокопарно, отдам свою невинность проститутке. Будучи опытной женщиной, она понимала также, что впечатление, оставшееся от первой близости с женщиной, оказывает значительное влияние на отношение к женщинам в будущем. После размышлений, не видя другого выхода, она решила стать моей первой женщиной. Осторожно и тактично, она знакомила меня с азами близких отношений и подвела к финишу. Её обаяние и темперамент привели меня в восхищение и доставили огромное, не испытанное раньше наслаждение. Больше это не повторялось.

Мы встретились примерно через полтора месяца. Объясняя мне причину своего поступка, она сказала, что первый мужчина и первая женщина запоминаются надолго и что она сделала всё возможное, чтобы у меня это воспоминание было приятным и радостным. Этот разговор происходил на людной улице, но несмотря на это я обнял её и крепко поцеловал в знак благодарности.

## ВЫПУСКНОЙ БАЛ

И вот, наконец, наступил долгожданный день, в который состоялся наш выпускной бал.

По давно установившейся традиции мы приглашали в этот день выпускниц всех трёх женских гимназий, их преподавателей и родителей.

Ребята подстриглись, сбрили отцовскими бритвами пробивающиеся усики и пришли в непривычных костюмах, с неумело повязанными галстуками, с часами, подаренными к выпуску, и с отцовскими портсигарами в карманах.

А девушки сняли надоевшую форму, надели светлые платья, сшитые по своему вкусу, медальоны, серёжки и колечки.

Всё было – как в волшебной сказке. Очень жаль, что в нашей жизни бывает мало таких радостных и счастливых событий! Разве это можно забыть!!!

И никто не знал, какую ужасную жизнь уготовила судьба этому молодому поколению, что для многих участников этого прекрасного бала он будет последним балом в их жизни. Через пять месяцев произойдёт Октябрьская революция и начнётся продолжительная гражданская война. Наш город большевики прозовут «осиным гнездом контрреволюции», и он станет колыбелью Добровольческой армии. Большинство ребят Ростова поступили в Добровольческую армию, а девушки, окончив краткосрочные курсы сестёр милосердия, сделают то же. Много, примерно 30% этих добровольцев, погибнет в Корниловском походе, а остальные – в последовавшей гражданской войне.

Одними из первых были убиты в боях наши спортсмены: Саша Карпов и Володя Третьяков; это они на выпускном балу понравились зрителям своими мускулистыми фигурами и акробатическими трюками

Лучший танцор из нашего класса Коля Англиченков в бою под Новочеркасском был зарублен шашками будёновцев.

Сестра милосердия Люся Семко, с которой на выпускном балу я протанцевал все танцы, в одном из боёв была смертельно ранена в живот осколком шrapнели.

Мой однокашник Рубэн Саядов, который вместе со мной служил в Орловском артдивизионе, а потом в той же батарее Добровольческой

армии, где и я, на моих глазах был убит гранатой во время ожесточённого обстрела нашей батареи.

Ирина Рязанцева была красивой и жизнерадостной девушкой. Это она на выпускном балу под гром аплодисментов пела нам арии из оперетт. В бою под станицей Медведовской она, по нелепой случайности, оказалась на территории, занятой красногвардейцами. По существовавшим законам, на войне сестра милосердия – лицо неприкосновенное, однако озверевшие от жестокого боя красногвардейцы сначала надругались над нею, а потом пригвоздили её штыками к земле. Овладев станицей, мы увидели эту ужасную картину.

Катя Зорина, бывшая гимназистка, активная участница и любимица нашей юношеской компании, была убита в бою под Батайском (недалеко от Ростова) в тот момент, когда перевязывала своего раненого мужа-офицера.

Наш отличник и медалист Виталий Трифонов в самом ожесточённом и кровопролитном бою за время Похода, под станицей Ново-Дмитриевской, не выдержал огромного физического и психологического напряжения и психически заболел. Остановившись на отдых, мы пошли его навестить, однако увидев нас, он спрятался под стол. «Бойтся людей», – сказал нам врач.

Я не в состоянии продолжать этот длинный скорбный список...

С тех пор прошло более 80 лет, но, вспоминая об этом, я волнуюсь, испытываю глубокую скорбь.

Ведь я сам был активным участником этих событий; с этими погибшими ребятами я вместе учился и дружил, за этими девушками – ухаживал и танцевал с ними на вечерах. Мы повзрослели в начале 20-го столетия, когда в нашей стране происходили великие исторические события, потрясшие не только Россию, но и весь мир. Наше поколение приняло Февральскую революцию, низвержение самодержавия, либерализацию государственного режима и различные свободы. Но не успели мы освоиться с происшедшими изменениями, как произошла Октябрьская революция, которая разрушила существовавшие общественные отношения и коренным образом изменила недавно изменённый государственный строй.

Мы были подготовлены к жизни и к работе в совершенно других условиях и психологически не могли воспринять радикальных реформ новой власти. А когда они стали внедряться в жизнь с применением насилия и жестокости, мы воспротивились.

Так возникло противостояние. Последовавшие за этим события сломали и искалечили жизнь многим из нас и, в конечном счёте, привели к гибели большей части моего поколения в цветущем возрасте.

## ОСМАН

Это произошло в Орле. В старой русской армии было правило: лица, имевшие среднее или высшее образование, могли проходить обязательную военную службу в любой военной части по своему выбору. Их называли вольноопределяющимися и они, по сравнению с солдатами, имели некоторые льготы: жили не в казарме, а в отдельном помещении, могли носить не казенное обмундирование, а свое собственное, и офицеры обязаны были говорить им «вы».

Окончив реальное училище, я поступил вольноопределяющимся в Орловский конноартиллерийский дивизион и был зачислен в учебную команду, в которой основным предметом обучения была артиллерия. Кроме того, нас учили ездить верхом. Через полгода, после сдачи экзаменов, мне было присвоено звание «фейерверкер», я также окончил школу верховой езды, освоил приемы вольтижировки и уверенно держался в седле.



*Справа – я, вольноопределяющийся Орловского конно-артиллерийского дивизиона, фейерверкер, и мой однокашник по реальному училищу Валентин Невский. Ростов-на-Дону. 1918 г.*

Командир дивизиона разрешил вольноопределяющимся для усовершенствования в верховой езде в воскресные дни совершать прогулки за городом на прикрепленных к ним лошадях. Мы с радостью воспользовались этим разрешением, во время прогулок обменивались лошадьми, приобрели опыт и в результате хорошо ездили верхом.

У старшего фейерверкера учебной команды Власенко был конь Осман. Красивой масти с тонкими и стройными ногами и почти бесшерстный Осман был красив, но у него были серьезные дефекты: он был непокорным, норовистым и нервным конем; сказывалась его азиатская кровь. И мы не понимали, почему опытный кавалерист Власенко выбрал себе такого коня.

Однажды Власенко разрешил мне проехать на Османе несколько кругов по плацу. Осман оказался сильным конем, рвущимся вперед без понуканий; но самым главным его достоинством оказался его ход. Когда он шел рысью, не нужно было, как на других лошадях, ритмично подниматься на стременах и опускаться в седло; он шел плавно, как будто катился по рельсам, и я сидел в седле как в удобном мягком кресле. Езда на нем доставляла такое удовольствие и наслаждение, что я понял, за что Власенко любит своего коня.

Однажды я с большим трудом уговорил Власенко дать мне Османа для воскресной прогулки за городом. Он сам оседлал Османа, вложил ему в рот мундштук (приспособление для усмирения лошади путем причинения ей боли) и сказал: «Господин вольноопределяющийся (без «ся»), будьте осторожны, это опасный конь, он не терпит насилия. И снимите, пожалуйста, шпоры». И мы поехали. Все шло хорошо, я блаженствовал, Осман шел рысью по лесной дороге. Вдруг перед нами вспорхнула какая-то птица; от неожиданности Осман испугался, вздрогнул и остановился. Я дал ему время успокоиться, потом отпустил поводья и послал его вперед, но он стоял, как вкопанный. Я шкал шенкелями его бока и легонечко толкнул каблуками, но безрезультатно. Шпор на сапогах не было и тогда я натянул поводья мундштука, который должен был повернуться у него во рту и причинить ему боль. К моему удивлению, он зубами крепко прикусил мундштук, не давая ему повернуться. Я разозлился и изо всех сил ударил его каблуками сапог. Такого оскорбления гордый азиат перенести не мог. Не отпуская зубами мундштука, он круто повернулся и помчался обратно в дивизион.

Я думал, что, добежав до расположения дивизиона, он уменьшит скорость, и я смогу его остановить, но этого не произошло. Не уменьшая скорости, он мчался к конюшне.

Дверной проем в конюшне был не очень высок, и въехать в нее верхом было невозможно. А Осман уже приближался к конюшне. И вдруг кто-то взволнованным голосом громко крикнул: «Голова!». Я мгновенно среагировал: сильно согнулся в седле, голову прижал к потной шее Османа, и мы влетели в конюшню. Он остановился, тяжело дыша, и злыми черными глазами смотрел на меня.

Солдаты сказали мне, что были аналогичные случаи, окончившиеся печально.

Когда я рассказал, что Осман прикусил мундштук, они с трудом поверили, так как никогда ни одна лошадь в дивизионе этого не делала.

Итак, голова моя осталась целой, но с Османом мы поссорились навсегда. Прошло несколько месяцев после этого события и однажды Осман, задними подкованными ногами так сильно ударил одного солдата в живот, что тот умер на месте.

На следующий день по приказу командования его застрелили.

## КОРНИЛОВСКИЙ ПОХОД

Я принимал активное участие в Гражданской войне – поступил в Добровольческую армию и участвовал в походе от Ростова до Екатеринодара.

Это было одно из самых опасных событий в моей жизни и много раз в этом походе мне угрожала смерть. От начала и до конца похода шли кровопролитные бои, сопровождаемые невероятной жестокостью с обеих сторон. В тяжелых условиях и с большим трудом мы пробивались на юг, встречая отчаянное сопротивление. Я был командиром орудия и к концу похода почти оглох от непрерывной артиллерийской стрельбы. Орден, который я получил за этот поход, символизировал невероятно трудные условия, в которых мы воевали: к Георгиевской ленте был подвешен серебряный терновый венок, а с обратной стороны на пластинке было написано: «Участнику Корниловского ледяного похода».



## ТИФ

После того, как под Екатеринодаром был убит командующий Добровольческой армией генерал Лавр Георгиевич Корнилов, я, как и некоторые другие, вышел из Добровольческой армии, вернулся в Ростов и через некоторое время уехал на Донской фронт. Донские казаки образовали свою республику, обороняли Область войска Донского и не пропускали Красную армию, рвущуюся на юг к Новочеркаску и Ростову. И опять бои.

На этом фронте я заболел, был эвакуирован в Ростов, где, с короткими промежутками, переболел тремя тифами: сыпным, возвратным и брюшным. Врачи считали это необычным случаем и опасались, что мой организм не выдержит навалившихся на меня болезней. Однако, я выжил и выздоровел. Были, правда, осложнения: после болезней я оглох и около двух месяцев ничего не слышал, но постепенно это прошло.

## ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА

В декабре 1919 года южный фронт Красной армии приблизился к Ростову и командование Добровольческой армии решило вывести из города расквартированные в нем свои воинские части. Уход был назначен на 25 декабря. Остаться в Ростове мне, участнику Корниловского похода, было опасно и я решил присоединиться к уходящим. Однако произошло неожиданное: конная армия Буденного прорвала Донской фронт и подошла к Ростову. В связи с этим части Добровольческой армии были вынуждены уйти из города не днем 25 декабря, как планировалось, а раньше, ночью. Проснувшись на рассвете, я узнал об этом и решил догонять. Надел военную форму, сапоги, шинель с погонами и трехцветным треугольником на левом рукаве и шашку; вложил в кобуру заряженный наган и вышел на улицу. Было раннее утро; на улицах ни души, и стояла такая тревожная тишина, какая бывает, когда одна власть ушла из города, а другая еще не пришла.

Представьте себе: по безлюдным улицам города, в который вот-вот должны войти «красные», идет человек в форме Добровольческой армии, с оружием, опасющийся внезапного нападения, и вы поймете мое состояние.

Я находился недалеко от Таганрогского проспекта, по которому должен был спуститься к наплавному мосту через Дон, как ВДРУГ

увидел, что навстречу мне едут три всадника. Это были разведчики Конной армии. Мне грозила верная смерть! Я попытался открыть калитку ближайшего дома, но она была заперта; в другом доме – тоже закрыта. Я застучал кулаками в парадную дверь квартиры; она открылась и меня впустили, то есть спасли мне жизнь. В квартире находилась женщина с сыном школьником, которая видела в окно то, что происходило на улице; ее муж, офицер, ушел с Добровольческой армией.

Когда я рассказывал о том, что произошло, ее сын, смотревший в окно, сказал: «едут», и мы через гардину увидели, как трое конников медленно проехали мимо дома.

Школьник отнес мою записку; вечером мне принесли штатскую одежду, и я вернулся туда, откуда ушел утром.

Перед уходом возник вопрос, куда девать военную форму и оружие, т.к. хранить их в квартире женщина опасалась. Вместе с ее сыном я спрятал фуражку, шинель, шашку и наган во дворе за мусорным ящиком.

Через несколько дней я пришел сюда, чтобы поблагодарить эту женщину за спасение и спросил у мальчика, целы ли спрятанные вещи?

Он ответил, что все куда-то исчезло.

### ДонЧека. ТЮРЬМА. ВЫСЫЛКА ИЗ РОСТОВА

После занятия Ростова Красной армией в городе начались повальные аресты. По доносу одного из соседей, ДонЧека арестовало и меня за службу в Белой армии. После допроса я очутился в тюрьме. Она была переполнена, и для ее разгрузки была создана специальная комиссия. Когда меня вызвали на заседание комиссии, то на заданные мне вопросы я ответил, что я – сын служащего, бухгалтера и что мои родители не имели недвижимой собственности и капиталов. На вопрос, что же заставило меня поступить в армию, которая защищает интересы буржуазии, я ответил, что почти все мои товарищи поступили в армию, и я из ребяческой солидарности сделал то же.

Комиссия постановила: учитывая мое социальное происхождение, молодость и политическую незрелость, – освободить меня из тюрьмы и выслать из Ростова. Так как по возрасту я был военнообязанным, меня доставили в Ростовский военкомат, который выдал мне предписание – выехать в Харьков в распоряжение Губвоенкомата.

Очутившись на свободе и обдумав создавшееся положение, я понял, что если я поеду в Харьков с таким документом, то, несомненно, буду мобилизован в Красную армию и мне придется воевать против своих товарищей, служивших в Добровольческой армии. Этого сделать я не мог и обратился к своим друзьям за советом и помощью. И ребята мне помогли. Две бывшие гимназистки из нашей ребяческой компании работали в Ростовском отделении Рабоче-крестьянской инспекции (Р.К.И.), одна секретарем, а другая машинисткой; они сделали мне два документа; в одном было сказано, что я работал в Ростовском отделении Р.К.И. в должности помощника контролера и уволен по личной просьбе в связи с выездом в Харьков для продолжения образования. В другом документе было сказано, что комиссией по предоставлению отсрочек от военной службы я был освобожден от призыва, как работник необходимый «для пользы делу». В этих документах штампы, печати и подписи были настоящими, но их содержание абсолютно не соответствовало действительности. Они были хороши тем, что совершенно закрывали мою службу в Добровольческой армии и на Донском фронте, а также объясняли, почему я не был призван на военную службу. Мы рассчитывали на то, что в хаосе, который тогда царил в стране, никто не будет проверять, явился ли я в распоряжение Харьковского Губвоенкомата.

## ОЛЯ

*(Небольшое отступление)*

Вот уже 77 лет храню я фотографию девушки в парадной гимназической форме. Это Оля Гетлинг, моя Первая Любовь. Мы познакомились, когда я заканчивал реальное училище, а она – престижную частную гимназию Любимовой.

Она обладала редко встречающимся качеством – необычайной способностью к самопожертвованию.

За время нашего знакомства мы с Олей разлучались на продолжительное время три раза. Первый – когда я уезжал в Орел на военную службу, второй – когда уходил из Ростова в Корниловский поход, и третий – когда уезжал на Донской фронт.

Когда состоялось постановление о высылке меня из Ростова, я пришел к Оле попрощаться, вы подумайте, в четвертый раз. Это было 20 мая 1920 года. С тех пор прошло 77 лет, но я до сих пор помню все подробности этого невероятно трудного и тяжелого расставания.

## ЖЕНИТЬБА

Когда я уезжал из Ростова в Харьков, в котором никого не знал, один знакомый дал мне записку к своему другу, жившему в Харькове в собственном доме, с просьбой приютить меня, хотя бы временно. Приехав в Харьков, я узнал, что его друг, бывший крупный торговец, уехал из Харькова, боясь репрессий новой власти. Жена уехавшего согласилась сдать мне комнату, и я поселился в ее доме.

Я устроился на службу [контролером, инспектором в Харьковский губотдел Рабоче-крестьянской инспекции], а через некоторое время поступил на вечернее отделение юридического факультета [Харьковского института народного хозяйства]. Прошло несколько лет трудной и упорной работы. За это время я познакомился с девушкой, которую звали Тоня Супрун. Она жила в пяти минутах ходьбы от дома, в котором жил я. Мы стали часто встречаться и, примерно через полтора года, решили стать мужем и женой, как только я окончу институт, т.е. через несколько месяцев.



*Сотрудники юридического отдела Харьковского горжилсоюза (городского жилищного союза). 1927 или 1928 г. Сидят (слева направо): Науменко, Кулагин (завотделом), Дешевов, М.О.Давидсон, Васильев. Стоят: Гиммельфарб, В.Николаев.*



*5-я юридическая консультация коллегии адвокатов. Харьков. 1934 г. Сидят (слева направо): Панферов В.М., Варшавский, Ковская (машинистка), Гальперн Н., Мешойер Б.М., Александров А.А., Семененко А.П. [в 1942-1943 гг. бургомистр Харькова], Капуцевский Б.С., Дынин М.Г. Стоят: Смолянова Е.М., Нюренберг Л.Г., Горбовицер, Итин Л.Г., Николаев В.А., Гринфельд Л., Амчиславский(?), Линецкий Б.И. (возле Варшавского И. Гальперн).*

И вот однажды встревоженная Тоня рассказала мне, что мама нашла ей жениха. Он – вдовец, старше ее более, чем в два раза, имеет собственный дом и работает кассиром в Госбанке; уже были смотрины, и она ему понравилась.

Я почувствовал опасность и решил поговорить с ее мамашей. Когда я пришел, то она, не давая мне раскрыть рот, сказала, что к Тоне сватается солидный и обеспеченный человек, что вопрос решен положительно, что я должен прекратить посещения их дома и оставить Тоню в покое.

С первого дня моего знакомства с Тоней ее мамаша почему-то невзлюбила меня и наши отношения были прохладными. Но она была моей будущей тещей, и я старался быть с ней вежливым и сдержанным. Но сейчас я не смог удержаться и, возмущенный, воскликнул: «Вы вдова и он вдовец и по возрасту подходите, вот сами и выходите за него замуж». Хлопнув дверью, я вышел. Тоня выбежала вслед за

мой. На следующий день мы зарегистрировались в загсе. Так я отвоевал себе жену. Несколько месяцев она должна была пожить дома, пока я не закончу институт.

И вот однажды она неожиданно для меня попросила обвенчаться с ней в церкви. Я отказался, однако она настаивала, говоря, что это нужно сделать для того, чтобы уменьшить гнев матери, которая не может простить нашего поступка. К этому времени я так сильно любил ее, что не мог ей отказать и, поколебавшись, согласился. И вот, в небольшой церковке на окраине Харькова, на Павловке, состоялась наша бедненькая свадьба.

Это произошло через пять лет после того как я приехал из Ростова в Харьков. Тоня оказалась права: мать сменила гнев на милость и когда Тоня ожидала ребенка, отдала нам одну комнату в своей квартире.

Мы прожили в браке 63 года, до смерти Тони.

## ЮРИК

30 октября 1925 года у нас родился сын, которого мы ожидали с нетерпением и полюбили еще до его появления на свет Божий. Мы назвали его Юриком. Он был поразительно точной копией своей красивой мамы, веселенький, общительный, быстро развивался и нравился всем, даже своей суровой бабушке. Это была наша общая радость. Боже! Как мы его любили! Я был в восторге: впервые я стал отцом и у меня появилась семья, о которой я мечтал со дня смерти мамы. Это было самое счастливое время в моей жизни.

И вот ему исполнилось три годика.

29 октября 1928 года по вине Веры (младшей сестры Тони) он получил ожоги 3-й степени и через два дня в невероятных мучениях умер в детской больнице на руках у Тони...

31 октября 1928 года, в хмурый осенний день, мы с женой вышли из больницы, в которой ушел от нас навсегда наш сыночек. Поддерживая друг друга, мы шли по многолюдным улицам города, и, не обращая внимания на окружающих, плакали. Все смотрели на нас с удивлением. Так прошли мы от больницы до дома и плакали.

Горе наше было безмерным. Трагическая гибель сына потрясла и сокрушила нас. Утрата была невероятно тяжела. Огромное счастье, завоеванное с таким трудом, рухнуло. После смерти мамы это было самым большим горем в моей жизни.

Веру удалили из квартиры, и она жила у своей старшей сестры. Если бы этого не сделали, я бы ее задушил. Я совершенно обезумел.

Происшедшее несчастье оставило в наших сердцах незаживающую рану. Со времени этого трагического события прошло 70 лет, а я до сих пор не могу забыть нашего чудесного малыша, который должен был стать продолжателем нашего рода. Его портретик висит у меня в комнате рядом с его мамой.

Через пять лет, после того, как не стало Юрика, т.е. в 1933 году, жена подарила мне дочку. Мы назвали ее Ирина, и это была уже копия папы.

### ИРИНА

После женитьбы мы довольно долго жили вместе с тещей, но в 1936 году получили собственную квартиру: две комнаты в доме жилстройкопа, членом которого я был.

Мы растили дочку. Когда она была совсем маленькой, я помогал маме купать ее; когда она капризничала и не хотела спать, я вместо уставшей мамы носил ее на руках, баюкал, пел колыбельные песни; когда она подросла – рассказывал ей сказки, а еще позже – учил читать и декламировать стишки, а зимой, по воскресеньям, катал на саночках и возил в Университетский сад, где она каталась с горки.

Детсад, в который она ходила, выехал летом на дачу, и мы посещали ее каждое воскресенье. И однажды зав. детсадом рассказала нам о таком случае: воспитательницы заметили, что к веранде, где была столовая, в те часы, когда дети питались, сбегаются собаки со всего дачного поселка. Проследили и увидели, что дети сбрасывают собакам пищу, которая им почему-то не понравилась; особенно это относилось к манной каше. Заведующая утверждала, что руководителем этого мероприятия была Ирина, у которой нашли плакатик, написанный ее рукой: «Манная каша – враг детей». Я понял, что моя дочка далеко пойдет!

### 1937 ГОД. НКВД. ТЮРЬМА

27 октября 1937 года, в два часа ночи, агенты Харьковского ГПУ произвели в моей квартире обыск, не давший каких-либо компрометирующих результатов. После этого они арестовали меня, предъявив ордер, в котором было сказано: «за антисоветскую агитацию».



Арест был неожиданным и ошеломил меня. Когда два милиционера вели меня в комендатуру ГПУ, я думал о том, чем вызван арест, а также о том, что дома плачет жена, оставшаяся с четырехлетней дочкой.

На первый допрос меня вызвали почти через два месяца после ареста.

За это время я пришел в себя, немного успокоился и стал думать о предстоящем допросе.

В камере оказалось довольно много заключенных, тоже обвинявшихся в антисоветской агитации, причем, у многих допросы были уже закончены, и они ожидали приговора.

Они рассказали мне, что допросы обвиняемых по этой статье обычно ведет следователь, сидящий в кабинете №43, что это жестокий и страшный мужик, с которым опасно конфликтовать и что почти все они под его давлением и угрозами применить насилие собственноручно написали признания своей вины, хотя никакого преступления не совершали.

Обдумывая все услышанное, я понял, что эти люди сделали большую ошибку и лишили себя возможности добиться пересмотра приговора, т.к. никто не будет пересматривать приговор, если в деле есть собственноручно написанное обвиняемым признание своей вины, причем, без применения к нему физического насилия.

Я сидел в тюрьме второй раз; но сейчас я был не юношей, которого в Ростове допрашивали в ДонЧека, а зрелым мужчиной с житейским опытом и, что самое главное, обладающим юридическими знаниями.

Как юрист, я знал, что статья уголовного кодекса об антисоветской агитации является самой «легкой» в перечне государственных преступлений. А как практикующий адвокат я знал, что органы ГПУ не применяют к обвиняемым по этой статье физического насилия, и поэтому угрозы следователя применить его являются блефом.

Обдумав все услышанное, я решил:

- ни в коем случае не признавать себя виновным в преступлении, которого не совершал;
- сделать все возможное для того, чтобы в моем деле было зафиксировано как можно больше отрицаний моей вины.

И вот, наконец, меня привезли из тюрьмы в ГПУ на первый допрос, и конвоир подвел меня к кабинету №43. Взволнованный и напряженный я вошел в кабинет.



За большим столом, заваленным папками с делами, сидел следователь и внимательно смотрел на меня.

«Здравствуйте», – сказал я, но ответа не последовало; он молчал и продолжал смотреть на меня.

Наконец он сказал: «Садись». Я сел на стул, прикрепленный к полу, и мое лицо осветилось специально установленной электролампой.

– Ты обвиняешься в антисоветской агитации, рассказывай!

– О чем рассказывать?

– Где и когда ты это делал?

– Я никогда этого не делал.

– А как ты относишься к Советской власти?

Ответ у меня был заготовлен, и я сказал:

– Советская власть дала мне возможность бесплатно получить высшее образование, дала квартиру и работу по специальности, и у меня нет причин быть недовольным ею.

– И ты никогда не причинял ей вреда?

Я ответил отрицательно.

– А ты в своей антисоветской адвокатуре какие дела вел?

Я понял, куда он клонит – здесь не любят адвокатов, в особенности, криминалистов, и считают, что они защищают преступников от Советской власти; поэтому я уклончиво ответил:

– Разные дела...

– И уголовные тоже?

– Нет, только гражданские, – соврал я.

Допрос явно не клеился, не получался. Объяснялось это тем, что предъявив мне обвинение, следователь обязан был сказать в чем конкретно состояла моя вина и предъявить мне документы, свидетельские показания и другие доказательства, подтверждающие обвинение. Он этого не сделал; у него был свой, незаконный, метод допроса: он требовал, чтобы обвиняемый сам рассказал о своем преступлении и раскаялся.

Мне рассказывать было нечего, оговаривать себя я не собирался. Поэтому нам не о чем было разговаривать.

Он начал злиться и сказал:

– Слушай! Тебя обвиняют в государственном преступлении, а ты, вместо того, чтобы правдиво рассказать все, валяешь дурака, врешь и агитируешь меня за Советскую власть. Ты что, хочешь неприятностей?

Я молчал. Тогда он сказал:

– А хочешь я предъявлю тебе доказательства, что ты – преступник?

У меня замерло сердце; неужели у него действительно есть показания лжесвидетелей или сфабрикованные документы? Это сильно осложнило бы мое положение, и я молчал. А он сказал:

– Ну, ладно, оставим это для более подходящего случая.

И, вдруг, он нанес мне неожиданный удар:

– А чем занимается твоя жена?

– Ухаживает за дочкой.

– «Она такая же антисоветская, как и ты?»

– Я не антисоветский и она тоже. Она – дочь рабочего.

– Ну, это еще нужно проверить, – сказал он.

Я твердо знал, что ГПУ не арестовывает жен тех лиц, которые обвиняются в антисоветской агитации, однако эта угроза меня обеспокоила.

Закончив писать протокол допроса, следователь протянул его мне для подписи. Я внимательно прочитал его и сказал, что в нем не все записано.

– Что не записано?»

– Ответ на ваш вопрос, как я отношусь к Советской власти.

– Я не обязан записывать все, что ты говорил; я записал, что ты не признаешь себя виновным и этого достаточно; остальное не имеет никакого значения.

Мне было очень нужно, чтобы сказанные мною слова были обязательно зафиксированы в протоколе, так как они обосновывали мое отрицание виновности. Боясь его обозлить, я тихо просительным голосом сказал:

– Гражданин следователь! На ваш вопрос о моем отношении к Советской власти я ответил, что у меня нет причин быть недовольным ею, так как она дала мне высшее образование, квартиру и работу. Это – достижения Советской власти, а вы говорите, что они не имеют никакого значения. Очень прошу вас, пожалуйста, запишите мой ответ в протокол.

Он насторожился: в словах моей просьбы он почувствовал скрытую угрозу в случае отказа использовать против него необдуманно сказанные им слова. Подумав немного, он выполнил мою просьбу, а потом сказал:

– А ты, оказывается, хорошая штучка...

Когда я уходил, он сказал:

– Если не хочешь неприятностей, хорошенько подумай, поговори в камере с теми, у кого допросы закончились.

Но я отличался от других подследственных. Как практикующий адвокат, я хорошо знал уголовное и процессуальное законодательство, технику допросов и права обвиняемых. Образно говоря, я знал правила этой игры.

На втором допросе следователь сказал, что получил из Президиума адвокатуры мою характеристику.

– Пишут, что ты – советский юрист. Но все адвокаты, в том числе и ты, – брехуны и скрытые враги Советской власти, маскируются. Какой же ты советский, когда у меня есть доказательства, что ты антисоветский. Ну, что ты надумал?

Я ответил, что никаких преступлений не совершал.

Его лицо исказилось от злости, и он начал вести себя грубо и агрессивно: кричал, называл меня дураком, ничтожеством, лишним человеком, дерьмом, говнюком, сволочью, ругался матом, придумывал самые оскорбительные и унижающие человеческое достоинство слова, которые нельзя написать, кричал, что за свое упрямство я получу «на всю катушку».

Это была невероятно сильная психическая атака, чтобы вызвать у меня чувство неполноценности и сломить меня. Мне было очень трудно противостоять такому натиску, но это была борьба за мою свободу и, собрав силы и волю, я устоял.

Но неожиданно возникла мысль: почему у меня такая жестокая и несправедливая судьба? Почему жизнь причиняет мне столько страданий и горя? За что? Я проникся жалостью к самому себе, произошел нервный срыв и, не удержавшись, я зарыдал; не заплакал, а зарыдал.

– Потому, что никогда меня так не оскорбляли и не унижали.

– Потому, что я был невиновен, а сидел в тюрьме.

– Потому, что беспокоился о жене и дочери.

– Потому, что не знал, что ожидает меня в будущем.

– Потому, что огромное напряжение, в котором я находился со дня ареста, требовало разрядки.

Все слилось вместе и нервы не выдержали.

А изверг молча смотрел на меня, и в его глазах была холодная жестокость. Он много раз видел человеческие страдания и это сделало его безжалостным и ожесточило его сердце.

Я чувствовал, что он чего-то ожидает. Но не дождался. С большим трудом я заставил себя успокоиться и спросил, почему он не ведет протокол допроса и не фиксирует происходящее.

Он понял, что не добился своей цели и насмешливо сказал:

– А я тебя не допрашиваю; я с тобой беседую.

Мы оба находились в таком состоянии, что продолжать допрос было невозможно.

Когда я уходил, он, как всегда, сказал напутственные слова:

– Одумайся, дурак, чтобы потом не жалеть.

Предстоял еще третий допрос, который, как мне рассказывали, был самым агрессивным, и это меня тревожило.

В самом начале третьего допроса он сказал, что у него нет времени возиться со мной и он решил прекратить расследование моего дела.

– Черт с тобой! Какая разница, сознался или не сознался, все равно поедешь в лагерь. Распишись, что тебе объявлено о прекращении следствия, – и он протянул мне свое постановление.

В это время зазвонил телефон, стоявший на тумбочке сбоку стола. Воспользовавшись тем, что он отвернулся и стал разговаривать, я быстро написал на постановлении:

– Мне объявлено. Категорически заявляю, что я ни в чем не виноват. – И расписался.

Закончив разговор, он взял у меня постановление и, когда увидел сделанную мной приписку, его лицо побагровело.

На прошлом допросе я отказался оговорить себя и это его обозлило; сейчас я сделал приписку, указывающую на активное сопротивление ему; это привело его в ярость, он осатанел, застучал кулаками по столу, затопал ногами, вскочил с кресла, стал орать, ругаясь словами, которых я никогда не слышал. Постепенно взвинчивая себя, он подошел ко мне и так сильно ударил кулаком по голове, что я свалился со стула на пол. Он бил меня лежачего кулаками, ногами и какой-то палкой. Я стонал, потом начал кричать от боли, но это его не остановило. Он совершенно озверел.

Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы я не потерял сознание. Меня отнесли в медсанчасть, находившуюся в этом же здании, где я пролежал две недели.

Из медсанчасти меня отвезли в тюрьму, где думали, что меня уже нет в живых.

Говорили, что я сам виноват, что меня избили. Но нужно понять, почему я так поступил. Я смотрел вперед, не терял надежды и стремился к тому, чтобы в моем деле было как можно больше записей об отрицании виновности.

И вот, наконец, меня вызвали в канцелярию тюрьмы и дали для ознакомления приговор.

В нем было напечатано, что специальная тройка Харьковской области в составе: первого секретаря обкома партии, председателя Облсеполкома и начальника ГПУ рассмотрела заочно мое дело и приговорила меня к десяти годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере, за антисоветскую агитацию.

Это был удар огромной силы. Такого произвола и беззакония я не ожидал.

Я понял, что судьи не читали моего дела и проштамповали приговор, подготовленный ГПУ.

Нужно было что-то делать.

Канцелярия тюрьмы – это не кабинет следователя; здесь некого бояться, и я написал на приговоре: «С приговором ознакомлен. Еще раз заявляю, что я абсолютно ни в чем не виноват». И подписался.

Этот приговор был приобщен к моему делу и теперь в нем стало уже три категорических отрицания моей виновности.

Я надеялся, что в будущем это может мне помочь. Теперь нужно было сообщить жене о том, что произошло. [Это удалось.]

В записке я рассказал обо всем, а также какие есть основания для опротестования приговора.

Жена передала эту записку в юрконсультацию, где я работал, и мои коллеги оказали мне активную помощь. Были составлены юридически обоснованные жалобы на недоказанность обвинения и необоснованность приговора. Жена разослала их во все надзорные и высшие инстанции: в областную прокуратуру, в коллегия ГПУ, в прокуратуру Союза, в Верховный суд СССР, в Верховный Совет и еще куда-то.

Через две недели меня отправили в лагерь с этапом, направляющимся на Северный Урал.

Нас довезли до Соликамска, где распределили по лагерям. Я попал в Усольлаг. Так началась моя лагерная жизнь.

## ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ

С восходом солнца нас выводили под конвоем из лагеря и около часа мы шли до лесной делянки; каждый нес тяжелый топор и пилу. Когда доходили до места рубки, разбивались попарно и приступали к работе.

В лагере никого не расстреливали, не отравляли, в нем не было эпидемий; люди гибли от холода, голода, непосильной работы и тяжелых бытовых условий.

В лагере было довольно много грузин; их расселили по разным баракам, где они держались обособленно. В их всегда грустных и печальных глазах была тоска по родине, по далекой, солнечной и теплой Грузии. Им было значительно труднее, чем другим, приспособиться к суровому климату северного Урала, и смертность среди них была очень большой. В нашем бараке сначала было 30 грузин, а через год осталось 14 человек.

Вероятно, слухи об этом дошли до Грузии, и обеспокоенные грузины одного небольшого поселения поручили нескольким грузинкам, у которых были репрессированы родные, узнать, что происходит с грузинами.

Грузинки добрались до места расположения лагеря, устроились в небольшом поселке в нескольких километрах и подали начальнику лагеря заявление с просьбой разрешить им свидание со своими близкими. Свидания в лагере были запрещены, и они получили отказ. Тогда они решили попытаться увидеть своих родных вне лагеря, когда их будут вести на работу.

Однажды большую группу заключенных вывели из лагеря на работу. Мы построились, нас окружали конвоиры с винтовками и овчарками.

Мы тронулись в путь и, вдруг, увидели пятерых грузинок, одетых во все черное. Подойдя к нам довольно близко, они стали всматриваться в нас, надеясь увидеть кого-либо из своих, но это было невозможно, т.к. мы все были одеты в одинаковую лагерную одежду, все были худые, заросшие, с изможденными лицами.

Тогда они стали выкрикивать грузинские имена, думая, что кто-нибудь отзовется, но начальник конвоя приказал нам молчать. Не получая ответов и считая, что тех, имена которых они выкрикивали, уже

нет в живых, все грузинки разом громко заплакали и что-то закричали по-грузински.

Неожиданно громко заплакали все грузины, находившиеся среди нас.

Вся наша колонна вздрогнула и зашумела. Мы вспомнили о своих женах, дочерях и матерях.

Создалась очень напряженная ситуация. Почувствовав это, начальник конвоя приказал конвоиру отогнать грузинок, и тот направился к ним, с трудом удерживая рвущуюся овчарку. Женщины в страхе разбежались.

Мы добрались до лесоразработок, но в этот день ни одного дерева срублено не было.

Об этом случае было доложено начальству, оно приняло меры и больше мы грузинок не видели.

А теперь я хочу рассказать о том, как же мне удалось уцелеть и выжить в таких страшных условиях.

Из меня уходили силы, и я стал превращаться в «доходягу».

И вот однажды утром я не смог подняться и лежал на нарах, укрывшись с головой лагерным одеялом.

После того, как заключенных выводили на работу, в лагере происходила проверка барачков, чтобы выяснить, кто остался и почему. Проверку производили дежурный по лагерю и фельдшер больницы.

Дежурный сорвал с меня одеяло. «Почему лежишь?» – спросил он. – «Не могу подняться», – ответил я. – «Как фамилия?» – «Николаев», – сказал я. – Он хотел записать, но фельдшер, услышав мою фамилию, сказал: «Подождите», – достал из санитарной сумки термометр, измерил температуру и сказал: «Высокая, надо в больницу».

Фельдшер лагерной больницы Грищенко был моим третьим земляком- харьковчанином.

Мы ехали из Харькова в лагерь в одном вагоне, рядом лежали на нарах и, как водится, рассказали друг другу о своих делах.

В лагере его сразу забрали в больницу, как опытного фельдшера.

Заведовал больницей хирург Шония, умный и энергичный человек, политический заключенный.

На лесоповале совершенно не соблюдалась техника безопасности и было много случаев травмирования. Однако в больнице не было медицинских инструментов для их лечения. По просьбе Шонии, управ-

ление Усоляга разрешило ему получить из дому его собственные медицинские инструменты, необходимые для производства операций.

Получив их, Шония удалил аппендикс начальнику лагеря и вылечил сломанную руку его сыну. Начальник лагеря относился к нему с уважением и наедине говорил ему «вы». Имея поддержку начальства, Шония превратил запущенную больницу в маленький оазис на территории лагеря. Здесь было тепло, чисто, больные лежали на отдельных койках и питались из котла, в котором готовили пищу для конвоя и вольнонаемных...

...Когда Грищенко сказал дежурному по лагерю, что у меня высокая температура – это была неправда: я был сильно истощен и обессилен.

Услышав мою фамилию, он вспомнил меня и решил помочь, поместив в больницу.

Здесь был рай: отдых, нормальное питание и лекарства.

Через некоторое время я поправился, окреп и из рая возвратился в ад.

Еще два раза после этого случая, когда я «доходил до точки», Грищенко, под разными предлогами, забирал меня в больницу.

Однажды я заболел: стало трудно дышать, появились ночные выпоты, поднялась температура. Я очутился в больнице. Шония и Грищенко обследовали меня и поставили диагноз: «экссудативный плеврит левого легкого», и стали лечить.

Через несколько дней один из лагерных «стукачей» сообщил оперуполномоченному ГПУ о том, что фельдшер больницы Грищенко (политический) поместил в больницу своего знакомого (политического) Николаева, который здоров и увильивает от лесоповала.

Оперуполномоченный сообщил об этом начальнику лагеря, и тот вызвал к себе Шонию.

Зная, что я серьезно болен, Шония пригласил в больницу начальника лагеря, оперуполномоченного и начальника конвоя, чтобы они ознакомились с действительным положением дела. Они пришли.

И вот, поддерживаемый санитаром, я вошел в амбулаторию. Накануне на ночь мне дали лекарство, от которого я всю ночь сильно потел и мое белье было мокрым, на что обратил внимание присутствующих Шония. Измерили температуру, было 38 градусов, Шония сказал, что я болен экссудативным плевритом, что болезнь вызвана продолжительным пребыванием в сыром помещении, вследствие чего левое легкое



впитало в себя влагу, набухло, оттеснило сердце вправо и оно у меня сейчас находится не в левой части груди, а посредине грудной клетки. Лечение заключается в удалении жидкости из легкого. Оно производится с помощью лекарств, вызывающих сильные выпоты, а также путем высасывания жидкости. Грищенко подал Шонии шприц, емкостью не меньше полулитра, он сделал мне прокол на спине между ребрами и с помощью Грищенко шприцем начал высасывать жидкость из легкого. Когда шприц был почти заполнен, в нем оказалась чистая, прозрачная вода, которую Шония показал присутствующим.

А я постепенно выздоравливал. Воду из легкого удалили и сердце медленно возвращалось на свое место.

Выписывая меня из больницы, Шония выдал мне справку о том, что я не могу работать на лесоповале, и я выполнял легкую работу внутри лагеря.

[В начале июля 1939 г.] я получил телеграмму от жены. Она писала, что мое дело пересмотрено, приговор признан необоснованным и заключение о его отмене направлено в Москву на утверждение. «Целую, жду», – было написано в конце телеграммы.

Впервые за два года я засмеялся. Я хохотал так громко, что в бараке подумали, что я сошел с ума. Вот когда восторжествовала правда! Вот, наконец, сбылись мои надежды! Вот, когда стало видно, что мучения, перенесенные в ГПУ, были не напрасны! Вот, когда я действительно выиграл свое дело!

Через две недели [16 июля] пришло распоряжение о моем освобождении.

Для оформления я должен был идти в Усолье, километров 15. Мне сказали, что заблудиться нельзя, так как туда есть только одна лесная дорога.

Я был безмерно счастлив и старался радостью освобождения подавить мысль о том, за что же меня мучили два года?

И вот, наконец, я один, без конвоя, вышел из лагеря. Рассказать о том, что чувствует человек, освобожденный из тюрьмы или лагеря – невозможно; чтобы понять это, нужно самому превратиться из раба в свободного человека.

Я шел и блаженствовал.

Пройдя несколько километров, я увидел, что впереди меня кто-то идет. Подойдя ближе, я увидел, что это молодая женщина в лагерной одежде.

Мы пошли рядом и стали знакомиться. Ее звали Лида Миклашевская; она москвичка, работала в Министерстве цветных металлов инженером, жила с мужем-журналистом и матерью, была осуждена на 10 лет за шпионаж в пользу Германии, находилась в женском лагере, не очень далеко от нашего и работала в швейной мастерской. Как и я, была освобождена в связи с прекращением дела и идет в Усолье для оформления.

Наступил вечер, дальше идти было невозможно, и мы стали искать место для ночлега. Недалеко от дороги стоял штабель бревен, мы влезли на самый верх и расположились. По лагерной привычке сильно прижались друг к другу спинами, чтобы было теплей и так проспали до восхода солнца.

К обеду мы дошли до Усолья. Там нас накормили, мы помылись, нас приодели и на грузовике привезли в Соликамск, где находилось Управление всеми лагерями северного Урала. Нас с Лидой и еще нескольких таких же, как мы, привели в приемную и поодиночке стали вызывать в один из кабинетов, чтобы ознакомить с постановлениями об освобождении. Первой вызвали Лидию и минут через десять после того, как она зашла в кабинет, оттуда послышался истерический крик и плач – и через некоторое время вышла бледная с заплаканными глазами Лидия.

Вызвали и меня. Из постановления я узнал, что показания против меня давал секретный сотрудник ГПУ, вместо фамилии которого было сказано: «источник». По характеру его показаний я понял, что это был мой друг и товарищ Федор Ефимович Колесников. Мы с ним учились в институте, потом работали в адвокатуре и дружили.

Нам выдали бесплатные билеты для проезда, Лиде – до Москвы, а мне до Харькова, суточные, а также деньги на фотокарточки, которые нужно было наклеить на справки об освобождении. Одну из них Лида подарила мне, написав: «На память о политкаторжанах 1937 года».

Нас довели до Свердловска, и мы сели в поезд Свердловск-Москва. Перед отъездом я дал телеграмму в Харьков – жене, а она в Москву – матери.

В лагере существовал обычай: «Не лезь человеку в душу». Она не рассказала мне, почему плакала в кабинете в Соликамске, почему дала телеграмму не мужу, а матери. И я ее об этом не спрашивал.

Но, вероятно, у нее возникла необходимость поделиться и выговориться и в поезде она сама рассказала все. Оказалось, что из поста-

новлении о ее освобождении как-то было понятно, что ее муж, допрошенный по делу как свидетель, давал показания против нее.

Поезд пришел в Москву и подошел к перрону. Она внимательно смотрела в окно и вдруг сказала: «Смотри! Он встречает меня с цветами».

Мы попрощались, поцеловались, она вышла из вагона, и больше я ее не видел никогда. А карточку ее храню до сих пор.

Я доехал до Харькова, где меня встретила жена.

В туалете Харьковского вокзала я переоделся в одежду, принесенную женой, и мы приехали домой...

Меня восстановили на прежней работе, выдали двухмесячный оклад, как компенсацию, и по решению суда мне была возвращена комната, отобранная у жены после моего ареста.

И только моя стриженная голова напоминала о том, что я был в заключении.

Я снова начал жить!

В оккупированном немцами Харькове я прожил два очень трудных года<sup>3</sup>.

Я не рассказал, как я был мобилизован в Советскую армию и за участие в штурме и взятии Берлина был награжден медалью и орденом; не рассказал, какие интересные случаи произошли со мной за 40 лет, с 1945 до 1985 года. Я рассказал только о первой половине своей жизни. О второй половине расскажу после, если успею. [Из первой половины жизни нужно еще вспомнить] что в институте я подружился со студенткой Марией Осиповной Давидсон, мы одновременно поступили в адвокатуру и работали по совместительству в юротделе Горжилсоюза. Память о ней является одним из светлых воспоминаний моей молодости.

Слава Всевышнему, который сохранил мне хорошую память до глубокой старости.

---

3. В оккупированном Харькове В. Николаев служил в нотариальной конторе. В 1943 г. ушел из Харькова вместе с отступавшими немецкими войсками. Достиг Германии; по семейным воспоминаниям, работал в Берлине на какой-то фабрике. С приходом Советской армии в Германию был признан остарбайтером, мобилизован красноармейцем, в 1946 г. был награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией», в 1985 г. – орденом Красной звезды. Не позднее конца 1945 г. был демобилизован, вернулся в родной Харьков, где продолжил свою деятельность юристконсульта.

## ОТ МЕНЯ УШЛА БАБУШКА

После того, как дочь родила нам внука, я стал называть жену бабушкой, а она меня – дедушкой. В 1963 году бабушка поехала в Ригу, где жила дочь с внуком и мужем. На пляже в Юрмале у неё произошёл инфаркт, и она очутилась в больнице.

После этого её здоровье ухудшилось, она стала часто болеть и случалось так, что иногда мы болели одновременно. Дочь советовала нам переехать в Ригу. Мы жили тогда в Харькове, и менять климат Украины на латвийский не хотелось, да и врачи не советовали. Однако обстоятельства вынудили нас, и летом 1985 года мы обменяли свою двухкомнатную квартиру в Харькове на двухкомнатную в Риге, а потом, в конце декабря 1985 года, обменяли свою и Ирину двухкомнатные квартиры на четырёхкомнатную, и с 1 января 1986 года стали жить вместе.

В роду бабушки мужья умирали раньше своих жён; её отец умер раньше матери, все три сестры пережили своих мужей, а брат также умер раньше жены. Мы считали, что так же будет и у нас. Бабушке было 82 года, мне – 88, и мы не боялись говорить на эту тему и свыклись с мыслью о том, что я уйду раньше, чем она.

Прошло два года. Здоровье бабушки ухудшалось, ноги стали работать плохо; малоподвижный образ жизни вызвал учащение сердечных приступов, особенно ночью. 25 марта 1988 года, вечером, мы смотрели по телевизору фигурное катание. Когда оно окончилось, я хотел уйти в соседнюю комнату, в которой спал. «Побудь со мной ещё немного; я хочу тебе что-то сказать», – сказала бабушка.

Я сел рядом с ней на кровать, она обняла меня и сказала: «Дедушка! А ведь я скоро умру». Я стал её успокаивать, говорил то, что обычно говорится в таких случаях, что каждому назначен свой срок, напомнил о том, что в её роду мужья умирают раньше жён. Но она твёрдо сказала: «Нет, дедушка, я очень скоро умру», – положила мне голову на плечо и заплакала. До поздней ночи мы сидели на кровати, тесно прижавшись друг к другу, и разговаривали. Я дал ей лекарство, уложил в кровать и сидел рядом до тех пор, пока она не заснула.

Ушёл к себе я обеспокоенный: так со мной она никогда не разговаривала.

Утром следующего дня я вошёл в её комнату; она лежала на кровати в своей обычной позе: на правом боку, лицом к стене и казалась спя-

щей. Однако попытки разбудить её оказались тщетными; вызванные врачи установили, что она умерла во сне, часа два назад. И я понял, что она предчувствовала свою смерть и то, что произошло накануне поздним вечером, было её предсмертным прощанием со мной.

Я был потрясён и смутно помню промежуток со дня смерти до похорон. Я сидел в своей комнате и плакал. Приходили какие-то женщины утешать меня, но всё заканчивалось тем, что видя моё неутешное горе, они плакали вместе со мной.

Постепенно я пришёл в себя. До дня похорон мы заказали и отстояли в церкви заочную панихиду; организация похорон была поручена похоронной фирме.

Проводить бабушку пришли Иринины и Юрины друзья, знакомые и сослуживцы.

Из-за перегородки, не доходящей до потолка, слышалась музыка; один музыкант играл на виолончели, другой аккомпанировал ему на органе; они исполняли классические траурные и похоронные мелодии.

Я стоял у гроба и смотрел, не отрываясь на спокойное, умиротворённое лицо покинувшей меня жёнушки.

Музыканты играли полчаса. Это была как бы гражданская панихида.

Зажглись люстры, мы прощались с бабушкой, гроб накрыли крышкой, вынесли из часовни, и вся процессия направилась к могиле, возле которой стоял небольшой духовой оркестр, игравший похоронные мелодии до того, как гроб засыпали землёй.

Благодаря Ирине и Юрию, мы похоронили бабушку торжественно, достойно и с глубоким уважением к ней. Она заслужила такое отношение к себе; у неё было доброе сердце, мягкий характер, она была бесхитростной, скромной и незлобивой: прожила 84 года, но никогда не имела врагов. До самого последнего дня я очень любил её. После похорон я старался успокоиться, внушал себе, что произошло неизбежное и с этим нужно примириться; однако сердце не соглашалось с доводами рассудка и здравого смысла.

## КАК Я ХОТЕЛ УЙТИ

Проходили годы. Постепенно ушли из жизни почти все мои родственники, друзья, знакомые, сослуживцы, однокашники и все мои сверстники.

Не осталось никого, с кем можно было поговорить о прочитанном или увиденном, поспорить о политике, сыграть партию в шахматы, выпить по рюмочке и поговорить откровенно.

Когда умерла бабушка, мне стало казаться, что от меня ушла жизнь. Мне стало тоскливо и одиноко. Я жил с дочкой и зятем, но это не улучшало моего состояния.

Каждое новое поколение отличается от предыдущего; это – естественно, и без этого не было бы общественного прогресса. Однако их мировоззрение и убеждения не только отличались от моих, что было бы естественно, но были диаметрально противоположны, полярные моим, что меня неприятно удивляло. Поняв на опыте, что диалог и общение с ними невозможны, я замкнулся в себе, уединился в своей комнате и стал придумывать способы, как заполнить свободное время. Моё психологическое состояние прогрессивно ухудшалось. И постепенно возникло чувство духовного одиночества. Это очень тяжёлое состояние души. У меня пропал сон, снотворное не действовало, и в длинные бессонные ночи я думал о том, что же нужно сделать, чтобы изменить создавшееся положение. Ответа я не нашёл. Поставьте себя на моё место и постарайтесь понять меня. Я привык жить полноценной жизнью, а теперь часами смотрел на уличную жизнь с балкона восьмого этажа.

Я привык общаться с людьми, а сейчас у меня не было ни одного своего знакомого, не было собеседников, и очень часто в течение суток я говорил только три слова: «доброе утро», когда выходил завтракать и «спасибо» после обеда.

Чем заполнить свободное время и отвлечься от мрачных мыслей? Я смотрел на фотографии своих родственников, висевших на стене моей комнаты, и старался вспомнить биографию одного, потом другого, потом третьего и т.д. Я стал разговаривать сам с собой, с говорящими часами, стоявшими в комнате, с посудным шкафом и другими предметами. Я читал вслух многочисленные стихи, которые знал наизусть. Я делал всё возможное, чтобы заглушить гнетущее чувство одиночества, но безуспешно. Я не был монахом-отшельником, добровольно

уединившимся от людей. Я не был опасным преступником, принудительно заключённым в одиночную камеру. Но фактически я находился в таком же положении, как и они.

Разве можно так жить?! Какой смысл в такой жизни? Что мне оставалось делать?

И я решил уйти...

Нужно было найти способ для осуществления этого решения. Их было несколько.

Газовая плита? Но это был очень опасный способ, не только для моих близких, но и для соседей, для всего дома. Он явно не подходил.

Выброситься из лоджии нашего восьмого этажа? Этот способ привлекал своей простотой: не нужно никакой подготовки или специальных приспособлений. Решив сделать репетицию, я вышел на лоджию и увидел, что перила балкона высокие и, стоя на его полу, перекинуть через них ноги будет трудно. У меня в комнате был детский стульчик, который я купил ещё в Харькове, когда Ирине было три годика. Я вынес его на балкон, встал на него и, легко перебросив правую ногу через перила на внешнюю сторону, убедился, что стульчик согдится для выполнения задуманного.

Размышляя о последствиях самоубийства таким способом, я понимал, что оно причинит Ирине и Юрию беспокойство и неприятности. Будет огласка, полиция станет выяснять причины и мотивы самоубийства и т.д. Но Ирина и Юрий многое сделали для меня: Ирина ухаживала за мной и кормила, Юрий – лечил. Я им благодарен за это и поэтому не мог и не хотел причинить неприятности своими действиями. Не подходил и этот способ.

Однако какая-то неодолимая сила влекла меня на балкон. Я часто выходил туда и, перегнувшись через перила, смотрел вниз и старался определить продолжительность падения моего тела с восьмого этажа на землю. Однажды за таким занятием меня увидел неожиданно зашедший Юрий и спросил, что я делаю. Не ответив на его вопрос, я спросил, сколько времени, по его мнению, будет падать какой-либо предмет с балкона на землю. Он как-то странно посмотрел на меня, ничего не ответил и ушёл.

Был ещё один способ уйти – «Обзидан». Это лекарство, замедляющее сердцебиение. В больницах мне давали его во время приступов и всегда предупреждали, чтобы я был осторожен с ним, так как обычно

сердцебиение у меня медленное и слабенькое. Этот способ я признал самым подходящим: принять перед сном большую дозу и сердце остановится. Безболезненно и никаких следов. Никто не будет выяснять причину смерти; будут думать, что умер от старости. Ко мне ежемесячно приходила врач из поликлиники, чтобы выписать лекарства, которые я принимаю каждый день. Лекарства у меня заканчивались, и мы рассчитывали вызвать врача дня через три. «Обзидан» аптеки отпускают только по рецепту, и я рассчитывал получить у врача рецепт на него.

А состояние моё продолжало ухудшаться, и я находился в положении какого-то тревожного ожидания.

В первой книге воспоминаний я рассказал о семи случаях, когда моя жизнь подвергалась смертельной опасности, но в самый последний момент судьба давала мне возможность уцелеть. Так произошло и в этот раз. За несколько дней до исполнения моего намерения вмешалась судьба и резко изменила ход событий.

Длительное душевное напряжение, в котором я находился, сделало своё дело, я заболел и снова очутился в больнице. Лечение, перемена обстановки и общение с новыми людьми, оказали благотворное влияние на моё состояние. Я стал медленно поправляться, спокойно распускать и осмысливать создавшееся положение.

В роду отца и в роду мамы не было случаев самоубийства и во мне не было заложено предрасположения к нему. У меня здоровая психика, нет мазама, отличная память и я действую осознанно. Что же заставило меня решиться на такой ужасный поступок? Одиночество? Это трудное и тяжёлое состояние, но разве следует лишать себя жизни по этой причине? И разве не было в моей жизни более тяжёлых и трагических событий, но тогда не возникало такого намерения?

Как же мог я, любящий поэзию и литературу, интересующийся политикой, увлекающийся спортивными соревнованиями, равнодушный к красивым женщинам, как я – жизнелюб, решил на такой безумный поступок?!

Несомненно, что это произошло потому, что я находился в состоянии глубокой депрессии. Я всегда боролся с навалившимися на меня невзгодами и не давал им сокрушить себя духовно, а в этот раз, оставшись в одиночестве, без моральной поддержки, не боролся, был пассивным, сломался и едва не погиб.



Так размышлял и философствовал я, лёжа на больничной койке. Я возвратился домой совсем другим человеком, с твёрдым решением: жить, терпеть и бороться.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

У меня есть небольшая библиотечка любимых книг. Тяготясь одиночеством, я забыл, что лучшими друзьями человека являются книги. Я стал их перечитывать, читал запоем днём и ночью. И передо мною снова прошли: Евгений Онегин, Печорин и Демон, Анна Каренина, героини Тургеневских произведений, Чеховские персонажи, Вера и Марк Волохов из Гончаровского «Обрыва», Григорий и Аксиныя, многочисленные типы из пьес Островского, семья Турбиных, Жан Вальжан, Сомс Форсайт, герои романов Ремарка, рассказов О.Генри, Стефана Цвейга и многие другие.

Я так увлёкся чтением, что герои прочитанных произведений начали мне сниться, а содержание перепутывалось. Я понял, что немного переборщил и забыл польскую поговорку: «Цо занадто, то нездро», то есть: «Что слишком, то плохо», и начал читать умеренно.

Я стал усердным зрителем телевизионных сериалов, купил магнитофон и напел на кассеты 75 песен и романсов.

Чтобы загрузить себя ещё больше я решил написать свои воспоминания

Естественно, что эти воспоминания не отражают полностью моей жизнедеятельности. В жизни любого человека есть события, о которых он, по разным причинам, не хочет никому рассказывать. У каждого есть свой внутренний мир, в который он никого не впускает. Кроме того, автобиография это, ведь, не исповедь...

Поздно стал я писать воспоминания; начал бы лет пятнадцать назад, – получилось бы больше и интереснее. Стоящие на шкафу говорящие часы сказали, что сейчас уже полночь. Все в доме спят, я сижу за столом и пишу заключительную главу своих воспоминаний. В это позднее время, когда никто и ничто не может помешать, легче вспоминается, лучше думается, возникают разные мысли.

Почему я так долго живу? Казалось бы, невероятно трудные и тяжёлые испытания должны были сократить мою жизнь, а я дожил до глубокой старости. Невозможно также понять, почему во всех многочисленных происшествиях, когда мне грозила смерть, я остался жи-

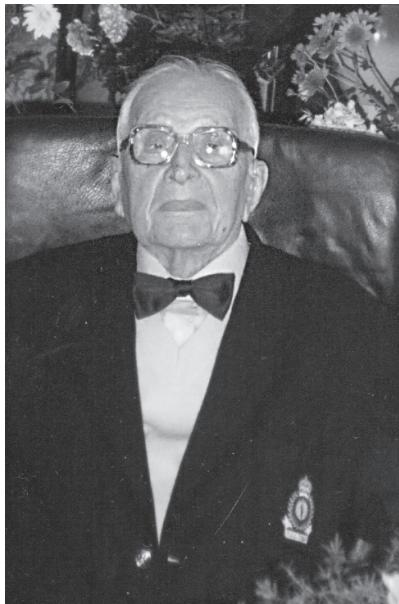
вым. Судьба как бы играла со мной: доводила до края бездны и в самый последний момент давала возможность уцелеть.

Судьба не любила меня и всё время беспощадно издевалась, топтала и мучила. Даже сейчас, в конце моей жизни, она подготовила мне большое огорчение.

Я – русский, родился на юге России и прожил в родной стране 87 лет. Там похоронены мои родители, сыночек, близкие родственники и друзья.

Но судьбе было угодно, чтобы я, в престарелом возрасте, стал иностранцем. Я очутился далеко от Родины, среди людей, непохожих на русских своими нравами и обычаями, с языком, которого я не знаю.

И похоронят меня не в родной земле, а на чужбине, далеко от России и родных могил. Не понимаю, за что мне такое наказание. И только одно утешает меня: буду лежать в земле рядом со своей любимой жёнушкой.



*Не могу удержаться, чтобы не сказать, что 7 октября 1998 года мне исполнилось 100 лет.*

*15 сентября 1997 г. – май 1999 г.*

*Рига.*

## О РИГЕ И САМООБРАЗОВАНИИ

*Автор публикуемых ниже воспоминаний – Сергей Иванович Григорьянц – киевлянин, рижанин, москвич, дважды лагерник, журналист, публицист, редактор, издатель, активный участник общественно-политических событий в СССР и России со стажем за 40 лет, коллекционер – рассказывает о Риге начала 1960-х гг., о городе, приблизившем его «к хорошей музыке, серьезной живописи и такой же литературе, то есть к русской литературе начала века и русской эмиграции».*

*Предлагаемая глава с любезного разрешения автора взята из его книги «В преддверии судьбы» (<http://grigoryants.ru/podvodya-itogi/v-preddverii-sudby-s-i-grigoryants/>).*

*Примечания Б.Равдина.*

*Благодарим за участие в работе над примечаниями К.Белоглазова, В.Дозорцева, Г.Гайлита, Т.Гуревич, Р.Негодяеву, А.и Т. Никитиных, С.Ригу, Н.Троицкую, В.Фарбера, С.Христовского, Р.Хрулеву, О.Чернобаеву-Салдоне...*

Рига, на узких улицах которой в 60-е годы возле небольших кафе стояли по несколько столиков<sup>1</sup>, и молодые люди сидели там, заказав по одной чашечке кофе, часами, читали друг другу стихи, показывали рисунки, обсуждали фильмы «Новой волны» – Рига была совершенно другой, чем все остальные советские поселения – город. С одной стороны, она не была совсем уж маленькой – гораздо больше и разнообразнее Таллинна, Каунаса. С другой стороны, там была совсем иная атмосфера, чем в остальном Советском Союзе.

В 1960 году летом мама повезла меня отдыхать в Прибалтику. Так случилось, что я провел там гораздо более долгое и во многом определившее мою жизнь время, чем один летний отпуск. В тот год в Риге Высшее военно-авиационное училище реорганизовали в Институт гражданского воздушного флота, но сохранили те же учебные программы, которые были в Московском авиационном. Мне, круглому отличнику, очень досаждали, не соответствовали моим академическим претензиям те жалкие программы, которые были у нас в Киеве на вечернем отделении моего домашнего Политехнического института. И мне удалось перевестись. Несмотря на несоответствие программ,

меня охотно приняли на второй курс радиотехнического факультета в новый институт ГВФ. Так я и оказался в Риге.

Здесь для меня всё переменялось – началась самостоятельная жизнь.

Почти сразу же оказалось, что мне перестали быть интересны точные науки. Проведя всё детство среди серьёзных учёных, я знал, с каким трудом даже к очень талантливым людям приходят подлинные достижения в науке, и вполне жёстко для себя решил, что не спать ночами из-за таких привычных и не трудных для меня математики и физики, отдавать этому жизнь – не хочу. Но, будучи по природе человеком академическим и уже накупив у тайных торговцев и в букинистических магазинах книги Блока, Андрея Белого, Ремизова, Цветаевой, Ахматовой (именно тогда разрешили продавать их дореволюционные и двадцатых годов издания, до этого – запрещенные и изъятые из библиотек)<sup>2</sup>, начал просиживать к тому же целые дни в двух первоклассных рижских библиотеках – республиканской и академической – над тем, что мне пока не удалось найти в продаже. Хотя и там всего было немало: ведь в Риге до войны была значительная часть русской эмиграции, и еще больше книг и старых журналов было у полулегальных букинистов и сборщиков вторсырья, которые тоже активно ходили по старым домам и у них можно было найти издания, не допускавшиеся к продаже в ставших более либеральными букинистических магазинах. Книги бывали и из Берлина, и из Праги, и даже из Парижа 1920-х годов. И все это я читал, даже пробовал что-то писать о них.

Больше того, Больше того, латышская художественная школа начала XX века была просто первоклассной. Она дала русскому авангарду таких выдающихся художников, как Владимир Марков (Матвей)<sup>3</sup>, Густав Клуцис, Александр Древин, Вольдемар Андерсон (Voldemārs Andersons), скульптор Теодор Залькалн, но многие художники оставались в Риге, где в результате был очень хороший музей современной живописи<sup>4</sup>. К тому же до войны в Риге существовало общество и музей Николая Рериха. Теперь уже ничего этого не было, но десятка два тибетских композиций художника открыто экспонировались в музее, что по тем временам было почти революционным. Уровень собственно латышской живописи был таким, что на Всемирной выставке, кажется, в Венеции в начале 1930-х годов латышская экспозиция заняла первое место (французы были вне конкуренции)<sup>5</sup>.

Да ещё в Риге был один из лучших в Европе органов в Домском соборе и постоянные очень хорошие концерты – и в нём, и в первоклассной филармонии, куда приезжали все лучшие пианисты. Я тут же купил себе абонементы. В те годы Рига была современным культурным центром, чем я активно пользовался в освободившееся от института время. На лекции в свой институт я вообще не ходил, но зато начал писать большую статью о русской ритмической прозе от Тургенева и Лескова до Белого и Хлебникова.

И всё же главное было в другом: как я уже начал говорить, Рига был уцелевший в СССР большой ганзейский город, где соединились хрущёвская оттепель и растущая открытость к Западу с общей чуть большей свободой Прибалтики в Советском Союзе и поразительным соответствием всеевропейскому молодёжному движению «новой волны». Рига была Парижем Советского Союза, где гораздо меньше, чем даже в молодёжной культуре Москвы и Ленинграда, были заметны советские очень популярные тогда идеи. В Риге совершенно не было никакой «революционной романтики» и возвращения к «ленинским идеалам». Для меня, выросшего среди обломков дореволюционной дорогой мебели, среди полуразбитых мейсенских и гарднеровских ваз и сравнительно небольшого числа целых вещей и остатков коллекций, сохранённых нашими друзьями или не распроданных в эвакуации (то, что теперь называется семейной частью коллекции, вплоть до портретов родных, собрано мной у нескольких, преимущественно московских, моих дедов и бабушек). Я рос в ощущении разрушенного русского мира – частью сохранившаяся европейская атмосфера Риги воспринималась контрастно со всем мне тогда в России известным. Первоклассные, шедшие тогда в их Союзе кинематографистов фильмы – «Пепел и алмаз» Вайды, «Тени забытых предков» Параджанова, «Мать Иоанна от ангелов» Кавалеровича, да ещё наиболее известный из купленных тогда в СССР фильмов «новой волны» – бельгийский «Чайки умирают в гавани», где всё, вплоть до постоянных серых дождей, так напоминало Ригу, и в ней молодые люди начали, как в фильме, ходить в плащах с поднятыми воротниками. Для меня в двадцать лет не могло быть места (во всяком случае, в Советском Союзе) лучше, чем Рига, куда я так случайно попал.

Значительной сохранностью Риги мы были обязаны не только тем, кто делал все, чтобы уцелел привычный быт и национальный уклад балтийского города, но косвенно и тем, кто в 1960-м году, даже на

окраинах Риги, где были другие факультеты нашего института, продолжал с оружием защищаться. Изредка мы слышали рассказы о возникавших перестрелках<sup>6</sup>. А потому и советские власти вели себя более осторожно, не так уж стремились озлоблять латышей, не сносили, как это было в русских городах, все, что было связано с их историей и культурой, не превращали Ригу в рядовой советский город.

Но Рига одновременно была и русской столицей маленькой европейской страны, одного из центров русской эмиграции со своим журналом «Перезвоны»<sup>7</sup>, русскими выставками, и русской музыкой. И это сочетание остатков европейской свободы и русского прошлого, немецкой готики и латышского быта с необходимостью их собирать по частям, как и в наших киевских комнатах, было так мне близко в своем разнообразии, взаимодополняющей полноте, что создавало ощущение счастья. По вечерам я мог часами один ходить под морозящим дождём, и поразительная чистота воздуха естественно сочеталась с внутренним блаженством и ощущением полнейшей свободы.

Парк «Аркадия» – уцелевший островок в центре города<sup>8</sup> высокого садового искусства середины XIX века, казался лучшим и самым близким мне местом в мире. Маленькие кафе на средневековых улицах, где наша весёлая компания сидела часами за одной чашечкой кофе, в кафе «Дубль»<sup>9</sup>, где нам готовы были приготовить и двойной кофе. Кафе, в которых просиживали вечера литературовед Роман Тименчик (в своей книге преувеличенно называющий меня человеком, на него серьёзно повлиявшим, сейчас очень известный художник Артур Никитин (и мне приятно, что он захотел написать несколько, по-моему, очень красивых моих портретов)<sup>10</sup>, религиозный реформатор, а в те годы художник Сандро Рига<sup>11</sup>, близкий мой друг Лёня Мещанинов<sup>12</sup>. И это только мне известные люди моего поколения, да всех не перечтёшь. Мы были веселые, молодые, некоторые, как Лена Ратнер<sup>13</sup> и Женя Гуревич<sup>14</sup> – ошеломляюще красивы. Иногда мы заходили в гости к матери Гуревича<sup>15</sup>, балерине, которая благодаря многочисленным романам знала пол-Риги. Но она об этой (или как раз о противоположной половине) еще и очень любила рассказывать.

Естественно, я в этой очень молодой компании по своим библиотечно-музейно-концертным интересам казался человеком почти академическим, и одна из наших очаровательных двадцатилетних приятельниц<sup>16</sup> – тогда инструктор райкома комсомола (в хрущёвские годы это бывало и в приличных молодёжных компаниях), предложила

мне для заработка читать лекции (о том, что я уже несколько лет не комсомолец, потому что, закончив школу в 1958 году, уже никуда не отнёс свою учётную карточку, я никому ни в Риге, ни даже в МГУ в Москве умудрялся не говорить). Темы я выбрал две: о Сергее Есенине, тогда уже очень популярном, но ещё почти не переиздававшимся, и о Марине Цветаевой, один сборник которой, под редакцией Владимира Орлова<sup>17</sup>, уже был издан, но у меня к тому же была и своя берлинская «Разлука», и воспоминания о Цветаевой – тоже изданное в Берлине «Быт и бытие»<sup>18</sup> Сергея Волконского, да и пересмотрел я всё, что мог, и самих Есенина и Цветаевой, и о них в тогда довольно свободных рижских библиотеках. Допуска в спецхран официально у меня не было (но я его тут же получил, переехав в Москву), но, благодаря либерализму библиотекарей (не могу забыть интеллигентнейшую Баумане<sup>19</sup>) и их хорошему ко мне отношению, получить я мог почти всё, что не читали (в основном потому, что и не интересовались) другие, а потому в свои двадцать лет считал себя очень образованным. Довольно быстро меня ещё сделали и членом «Общества по распространению («распылению» – говорили мы) знаний», и несколько десятков лекций я прочёл тогда уже и по путёвкам «Знания» (куда позовут, туда я и шёл, конечно). Многих я не помню, но в памяти остались две лекции.

Пришла заявка из рижской тюрьмы. Я не понимал, что там будет происходить, но оказалось, что это была лекция для охранников, возможно, молодых, а не для заключённых. Большой тёмный зал. Я читал лекцию о Цветаевой. Уж не знаю, как они реагировали на всё остальное и что понимали из моего рассказа о белом движении, об эмиграции и стихах Цветаевой, даже на цитаты из «Белого стана», но, когда я прочёл:

*Уж и нрав у меня спокойный!*

*Уж и очи мои ясны!*

*Отпусти-ка меня, конвойный,*

*Прогуляться до той сосны!*

– вдруг почувствовал какое-то оживление в зале.

Как и полагалось, после десятка моих лекций, конечно, оплачиваемых (я жил за счёт этого, кроме денег, которые мне присылала мама из Киева), мне прислали сотрудника Ин-та языка и литературы АН ЛССР как рецензента – очень симпатичную даму, которая прослушала мою лекцию о Есенине. Я считал, что знаю очень много, пересказывал



«Роман без вранья» Мариенгофа и какие-то записки Шершеневича (всё из изданий 1920-х годов), среди стихов Есенина прочёл две его не вошедшие тогда ни в один сборник довольно едкие частушки – одну о Брюсове, другую о Маяковском:

*Бежит Брюсов по Тверской  
Не мышью, а крысиной.  
Дядя-дядя, я большой,  
Скоро буду с лысиной<sup>20</sup>.*

*Эх, сыть, эх, жарь.  
Маяковский – бездарь.  
Рожа краской питана,  
Обокрал Уитмана.*

– Я был вполне уверен в содержательности своей лекции. Мне ничего, правда, сказано не было, но этой моей приятельнице она написала отзыв, по-видимому, вполне доброжелательный, и прибавила: «Григорьянц – человек, конечно, молодой и знает не так уж много, но стихи читает очень красиво». Господи, мне же был 21 год!

К тому же в эти рижские годы, кроме статьи о ритмической прозе (не опубликована), я написал для журнала «В мире книг» большую статью об Ольге Кобылянской, а для рижской газеты «Советская молодёжь», главным редактором которой был тоже наш приятель Лёша Солоницын<sup>21</sup>, кажется, младший брат известного актёра, написал целый подвал с рецензией на большую выставку Аркадия Рылова<sup>22</sup>, которую привезли в Рижский музей. Меня Лёша, правда, попросил подписаться «внештатный инструктор райкома комсомола» – ему это надо было для отчётности. Тогда для меня это ещё не имело значения, и я согласился, не объясняя детали моих отношений с комсомолом.

Для меня Рига открывалась во всем своем частью все же уцелевшем, частью еще живом богатстве и разнообразии – от остатков готической архитектуры (а общежитие нашего факультета как раз и разместилось в полуразрушенном монастыре XVI века и полгода я жил в монашеской келье), и до такой странной и любопытной литературной жизни, где нас официальный Союз писателей затрагивал лишь выступавшими там гостями из Москвы: Андреем Синявским<sup>23</sup>, Васей Аксеновым, Сашей Ароновым, с которыми мы успевали подружиться, а у меня эти знакомства сохранялись на долгие годы. Но может быть более интере-



сен был немолодой, чудом спасшийся при немцах поэт Гегерманис<sup>24</sup>, печатавший в Москве в журнале «Советиш Геймланд» стихи на идише о поющих тракторах, но меня приводивший к своим еще довоенным друзьям из старой латышской интеллигенции и рассказывавший о все еще живом латышском «короле мыла», у которого на стене до сих пор висит как остаток бывшего богатства пейзаж Ван-Гога.

Для того, чтобы написать о Рылове, я пришел и к последнему из старых латышских художников – первоклассному пейзажисту [Я.Р.] Тильбергу. Он мне рассказывал об их общих еще дореволюционных выставках и показывал мраморные надгробия с барельефами на свою могилу и могилу своей жены. Но в Риге был первоклассный и вполне живой, хоть и постарше нас, художник Янис Паулюк, в мастерскую которого мы тоже ходили. А юный Сережа Хрулев<sup>25</sup> восторженно рассказывал о Коктебеле и о знакомстве с ученицами Волошина. Михаил Самойлович Юзефович<sup>26</sup> был знаком со всей пореволюционной русской эмиграцией, да и сам был ее частью, а очень талантливый наш сверстник Сева Лессиг<sup>27</sup>, не только читал стихи с нами в «Дубле», но и объяснял мне, как получают денежную компенсацию за расстрелянных родителей – на своем, конечно, личном опыте.

Тименчик пишет, что у меня в Риге уже собралась замечательная библиотека. Такой она казалась семнадцатилетнему мальчику, хотя у меня был, конечно, очень редкий каталог собрания Русского пражского архива<sup>28</sup> и много других книг русской эмиграции. К тому времени я уже знал, что первыми в уже освобожденную армией Власова Прагу вошли войска НКВД и тут же бросились к зданию Пражского архива. И вся улица была усеяна листьями из собранных там мемуаров и документов<sup>29</sup>.

В результате через три года из Риги в Москву я приехал, поступив на факультет журналистики с вполне сформировавшимся интересом к хорошей музыке, серьезной живописи и такой же литературе, то есть к русской литературе начала века и русской эмиграции.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. В начале 1960-х гг. в Риге было не более двух летних кафе; одно из них – знаменитый «Птичник» на месте разрушенной во время войны гостиницы «De Rome».

2. Заключенное в скобках нуждается в уточнении.

3. Настоящее имя – Волдемарс Матвейс (Voldemārs Matvejs).

4. Имеется в виду Художественный музей Латвийской ССР, ныне: Национальный художественный музей Латвии.

5. Вероятно, имеются в виду Всемирные выставки в Париже (1925, 1937 гг.) или в Брюсселе (1935 г.), на которых представители латвийского искусства были отмечены разнообразными призами.

6. Ср. принятый 25 апр. 1996 г. Сеймом Латвии закон «Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu» (О статусе участника движения национального сопротивления), в соответствии с которым крайняя дата вооруженного и подпольного сопротивления в Латвии определяется 31 дек. 1960 г. (<https://likumi.lv/doc.php?id=40103>)

7. «Перезвоны» – литературно-художественный журнал, издавался в Риге в 1925-1929 гг.

8. Парк «Аркадия» находится на территории района Пардаугава (Задвинье), в некотором отдалении от центра города.

9. Модное кафе в Старом городе (ул. Ленина / ныне – Кальтю, 6 или 8); название «Дубль» – обиходное (от – «двойной кофе»).

10. Портрет автора воспоминаний работы А.Никитина (1986 г.) см.: Портрет художника. Живопись, графика, скульптура, рисунок, иллюстрация [альбом] = A portrait of the artist. Paintings, graphics, sculptures, drawings, illustrations / Артур Никитин. Предисл. С. Хаенко. Riga. Галерея Lapa, 1999. С.50. Еще один портрет С.Г. – в собрании мемуариста (?).

11. Сандро Рига – правильно: Сандр Рига (1939 г., Рига), учился в Рижском училище прикладного искусства, активный участник неформального экуменического движения; в 1984-1987 гг. находился в заключении.

12. Мещанинов Леонид (?-1988, Рига), занимался фотографией.

13. Ратнер Елена Евгеньевна (1937, Одесса) – дочь рижского писателя Е.Ратнера, выпускница историко-филологического ф-та Лат. гос. ун-та, отделение русск.яз. и лит-ры (1964 г.); вышла замуж в Москву, эмигрировала в Канаду.

14. Гуревич Эйжен Иосифович (1939, Рига – 1994, Тель-Авив), поэт, журналист; эмигрировал в Израиль в 1979 г.; автор книги стихов «Серебряный рефрен». Иерусалим. Окуляр. 1994.

15. Гуревич Белла Яковлевна (во втором браке – Барнашева; 1916 (по ранним документам – 1917), Рига – 2002, Тель-Авив) – дочь известного сионист-

ского деятеля доктора Я.И.Гофмана/Хофмана), сподвижника В.Жаботинского; участница молодежного сионистского движения «Бейтар», созданного в Риге при участии ее отца; по воспоминаниям близких, занималась танцами в одной из парижских школ «босоножек», позднее – руководила в Риге самостоятельными балетными студиями. В кругу друзей сына именовалась – «Факел». Эмигрировала в Израиль в 1966 г.

16. Лицо неустановленное.

17. Имеется в виду московское издание 1961 г.

18. Книга «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного» (1924 г.), посвящена М.Цветаевой.

19. Баумане Елена Карловна – библиограф Фундаментальной библиотека АН ЛССР, дочь советского парт. и гос. деятеля К.Я.Баумана (Kārlis Baumanis), в 1929-1930 гг. – кандидата в члены Политбюро ВКП(б), расстрелянного в 1937 г. О выходе Е.Б. на пенсию см.: V.Zalace. Dažos teikumos // Cīņa. 1971. № 133. 9.06. С.2.

20. Ср. вариант: Пляшет Брюсов по Тверской // Не мышом, а крысиной. // Дяди, дяди, я большой, // Скоро буду с лысиной.

21. Солоницын А.А. (род. 1938), журналист, писатель, сценарист: младший брат актера Анатолия Солоницына; заместитель главного редактора газ. «Советская молодежь». См. о нем: «В середине 60-х годов замредактора рижской газеты «Советская молодежь» работал А.Солоницын, брат известного актера. Во всех отношениях он был отличным мужиком <...>. Понятно, что должность замредактора предполагает членство в партии, так А.Солоницын стал кандидатом в члены КПСС – а это его очевидно угнетало. Возвращаясь из гостей погожим весенним вечером, близко к ночи, мы с ним распрощались на остановке трамвая. Оба были „под мухой“, но, ручаюсь, не до положения риз. Сойдя на своей остановке, Солоницын домой не пошел, а там же – на кольце 6-го трамвая, стал одну за другой выдирать метровые буквы из лозунга „Слава КПСС“, набранного деревянными брусками на заборе какой-то воинской части. За сим занятием и был взят, осужден не то партячейкой, не то всем коллективом редакции <...>, лишен должности и регалий» (Волосников А. Синдром Пер Гюнта. Памяти Михаила Красильникова // Даугава. Рига. 1990. № 6. С.92.) Судя по исчезновению имени А.Солоницына из «Летописи печати ЛССР», событие это пришлось на 1963 г. Вариант рассказа о Солоницыне см.: Дозорцев В. Настоящее прошедшее время. Р. 2009. С.59.

22. См.: Григорьянц А., внештатный инструктор Московского райкома ЛКСМЛ. Светлый талант живописца // Советская молодежь. 1962. 26 июня. С.3.

23. А.Синявский читал лекции только в ЛГУ (1962 г.), вне связи с Союзом писателей.

24. Гегерман (Гегерманис) Иосиф Алексеевич (Josef, Yoysel Gegerman, Gegermanis); 16.X. 1919, Латвия, Валкский уезд, Смилтенская вол. – 9.08.1989, Нью-Йорк), поэт, сотрудничал в идишистском журнале «Советиш хеймланд» (Москва), соответствующих изданиях США и Израиля. (Ср.: в копии паспорта И.Г. конца 1940-х гг., отложившемся в его университетском студенческом деле, в графе «национальность» запись – татарин; аналогично в его поздних документах). В 1950 г. привлеченный в качестве свидетеля по одному из дел МГБ Латвии, И.Г. на допросе, в частности, показал, что в июне 1941 г. он был эвакуирован из Риги в Чувашскую АССР, в 1942 г. был призван в Красную армию (служил в советских латышских соединениях), в 1945 г. был демобилизован, в 1946 г. поступил на исторический факультет Лат. гос. ун-та, выпускник (1951 г.) Лат. гос. пед. ин-та. (Биоданные И.Г. см.: LVA / Лат. гос. архив. Ф. 1986. Оп. 2. Ед.хр. П-4972-Л. Т. 2. Л.203-204; Личное дело студента И.Г. // LUA / Архив Латвийского ун-та. Оп. 5. Ед. хр. 202; его же личное дело в фонде Лат. гос. пед. ин-та // Personāla dokumentu valsts arhīvs / Архив личных дел. Ф. 462. См. еще о нем: «Yoysel Gegerman (b. October 16, 1919). He was born in Riga. He studied in the Jewish middle school of Riga and graduated from the history faculty of Riga's Latvian Pedagogical Institute. Over the years 1965-1973, he lived in Moscow and in 1974 emigrated to the United States. He wrote for Oyfboy (Construction) in Riga, 1940-1941, poems and stories for Sovetish heymland (Soviet homeland) in Moscow, and assorted articles for Algemejner zhurnal (General journal) in New York (1975-1977) – mostly under various and sundry pen names. In 1966 he began publishing poems, stories, and literary essays in Israeli periodicals. (Berl Kohen=Berl Kagan, comp. Leksikon fun Yidish-shraybers <...> = Lexicon of Yiddish-writers. N-Y. 1986, cols. 163-164 // (<http://leksikon.blogspot.com/2016/01/yoysel-gegerman.html>); дату кончины см.: (<https://www.findagrave.com/memorial/171881018>). В конце 1950-х – нач. 1960-х гг. И.Г. был постоянным насельником Рижского «Бродвея» (вечерняя прогулка определенного маршрута), среди части «сбродвейщиков» носил прозвище «дервиш».

25. Хрулев Сергей (1944, Рига – 2010, С.-Петербург), занимался ювелирным делом, в последние годы работал в С.-Петербургском Музее хлеба «мастером на все руки». См. еще о нем: «Прошел через «Дубль» ленинградец Сережа Хрулев, писавший что-то о свечах <...>, жил у [В.А.] Мануйлова, шлифовал украшения из камня и дерева, там у Мануйловых я много чего прочитал и увидел акварели Волошина, узнал слово Коктебель. Опять же-- [вдова М.Волошина] Марья Степановна с папиросками». (И.Малер. О других и себе // Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны. Т.3 а. ([http://kkk-bluelagoon.ru/tom3a/cont\\_3a.htm](http://kkk-bluelagoon.ru/tom3a/cont_3a.htm)).

26. Юзефович Михаил Самойлович (Самуилович) (1887, Полтава – 1970, Рига), юрист, библиофил; См. о нем: Тименчик Р. Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим-Москва. Гешарим-Мосты культуры.

[2008.] С.15. М.Ю. – выведен в кн. С.Рубинчика «Рукопись, найденная в сак-вояже» (Рига. Liesma. 1978.) под именем Михаила Платоновича Самойлова.

27. Лессиг Всеволод Михайлович (1933, Ленинград – 1989(?), Москва; по не вполне достоверным данным, после кремации прах его был предан латвийской земле); спортсмен (по некоторым сведениям, – член сборной Латвии по стрельбе), журналист, поэт, переводчик, член Союза писателей СССР (1976), сотрудничал в газ. «Советская молодежь» (Рига, 1958-1962) и на Латвийском радио (1963); автор двух сборников стихов: Сад-зоосад. Книжка с картинками. Рига. 1972; Белый свет. Стихи. М. 1972; переводчик сборника стихов с литовского: Калинаускас Й. Запахи земли. М. 1981. По сведениям И.Малера (см. ниже), мать В.Л. – из «бубновалетисток»; по автобиографии В.Л. 1959 г. – умерла в 1942 г. (в блокаду Ленинграда?), отца не помнит; по автобиографии В.Л. 1964 г. (см. архив ВГИКа), отец – был арестован (репрессирован?). В 1937-1940 гг. В.Л. воспитывался у бабушки, с 1942 г. в детском доме. (См.: Архив Латвийского ун-та. Личное дело № 590810. Л. 2-3); по поздним свидетельствам В.Фабера (см. ниже), отец В.Л. из военнослужащих, мать – партийный функционер, репрессирована. (Ср. на предмет родства материалы «Мемориала»: Лессик(!) Ольга Семеновна. Род. в 1894 г., Рига; немка; образование среднее; член ВКП(б); заведующая немецким клубом в Харькове. Ар. 22 июля 1937 г., приговорена по ст. 54-10 ч. 1, 54-11 УК УССР; расстреляна 9 ноября 1937 г., реабилитирована 19 февраля 1963 г. (<http://lists.memo.ru/index12.htm>). В 1952 г. В.Л. был призван в Сов. армию, служил в Германии и Риге, далее – сверхсрочник, мл. сержант – зав. складом мед. оборудования в/ч. 9540 (См. об этом в указанном выше Личном деле. Л.б.) Коротко (около полутора лет, с 1959 г. по начало 1961 г.) учился в Лат. гос. ун-те, отделение журналистики. В 1963 г. переехал в Москву, где работал в журнале «Сельская молодежь», был связан с газетой «Советский спорт»; по справке архива ВГИКа, в 1964-1967 гг. учился на заочном отделении сценарно-киноведческого факультета этого ин-та; по устным данным, снялся в эпизодической роли в неатрибутированном кинофильме (Одесская киностудия?). См. о нем: Гайлит Г. Мальчик на дельфине. Рига. Ridzene-1. 2013. С. 70-72; Дижбит И., кор. «Правды», Рига. Пусть деревья тянутся к солнцу // Правда. 1962, 7 дек. с. 4; Дозорцев В. Цит. соч. С. 50, 55, 57-58; Калещук Ю. Человек на льдине. О Всеволоде Лессиге (1934-1989 [!]); с 1955 по 1963 г. проживал в Риге) и его поэзии // Рижский альманах. Кн. III. Р. 1994. С.38; Калещук Ю. Прощание // (<http://cats-portal.ru/read/proba/adieu.php>) [Здесь – кратко о «Севке» – его смерти, кремировании]; Коншин Г.-А. Страницы воспоминаний // Рижский альманах. № 5(10). Р. 2014. С. 111-114 ([http://www.almanah.lv/files/RA\\_Nr05.pdf](http://www.almanah.lv/files/RA_Nr05.pdf)) – по устным сведениям, представленная в воспоминаниях Г.-А.К. некто «Мэгги» в действительности – Светлана К., рижанка, студентка, вероятно, именно ей и ее детям посвящена упомянутая выше книжка В.Л. «Сад-зоосад»; Ленский Ш. Мелодии трав.

(<http://reallylensky.livejournal.com/50496.html>); Малер И. Цит. соч.; Писатели Москвы. Библиогр. справ. М. 1987; Уральский М. Камни из глубины вод. СПб. Алетейя. 2007; см. в особенности гл. 12 (<http://www.netref.ru/mark-uraleskij-kamni-iz-glubini-vod.html?page=120>); Фарбер В. Жизнь в канувшие времена. Р. 2014. С. 60, 62-64.

Приведем одно из «рижских» стихотворений С. Лессига:

*... И если б мне тысячу жизней,  
Я лучшую прожил бы здесь.  
Неласковой этой отчизне  
Я верен, пока она есть.*

*Где мимо постройки причальной  
За Кенгарагс льется река,  
Как русские вальсы печальна,  
Спокойна и глубока.*

*Московского мимо форштадта,  
Минуя базар и мосты  
Течет, берегами не сжата,  
Без счастья и маяты.*

*Где мы двухголосю темой  
Взошли на прибрежной земле,  
Сродняясь корневою системой  
В суглинке, в песке и золе.*

*До самой дойдя сердцевины  
Ствола, в средоточье колец  
Я обе нашел половины –  
Начало нашел и конец.*

*Проступит – и светом обрызнет.  
Одно образуя лицо,  
На срезе исполненной жизни  
Любое на выбор кольцо.*

28. Вероятно, имеется в виду: Русский заграничный исторический архив в 1928 – 1936 гг. [Погодные выпуски.] Прага. 1929-1936.

29. В июне 1945 г. правительством Чехословакии было принято постановление о передаче большей части архива в СССР, куда вскоре архив был вывезен и надолго исчез из научного обихода.

## РЕМЕСЛО ЖИЗНИ

Памяти Александра Гарроса

*Гаррос Александр (1975, Новополюцк – 2017, Тель-Авив; похоронен в Риге), журналист (начинал в рижских изданиях), писатель, совместно с А.Евдокимовым автор романов «(Голово)ломка», «Серая слизь», «Фактор фуры», сборника повестей «Чучхе»; издал сборник «Непереводимая игра слов» (2016); с 2006 г. жил в Москве, где работал в ряде периодических изданий, занимался киносценариями, составитель путеводителя по Риге.*

Мало где на свете радость жизни ощущается так, как в Тель-Авиве в середине весны. Если повезет с погодой, к концу марта здесь будет, по нашим меркам, уже настоящее лето – разве что еще без свирепой ближневосточной жары.

В конце прошлого марта мне повезло. У нас в Риге все уныло кляли нетипичные даже для Прибалтики холода, а в тель-авивских открытых кафе прятался под зонтики от солнца галдящий, экспрессивный, жовиальный люд. Даже в два часа ночи за здешними уличными столиками попадались посетители: на то и Средиземноморье, чтобы культивировать круглосуточную движуху, которой лучше подходит средиземноморское же слово *la movida*. На темпераментном юге знают толк в простых радостях: не столько даже в искусстве жить, сколько в этом веселом необременительном ремесле – наблюдать за которым, учиться которому, практиковаться в котором ты туда и едешь.

Первая поездка к Средиземному морю случилась у меня на Новый 2001-й год – когда мир отмечал вторую серию Миллениума. Тогда наша молодая, по молодости бедная и неприхотливая компания прибилась к экуменической общине Тэээ, устраивающей новогодние международные слеты христианской молодежи – каждый раз в каком-то новом большом европейском городе. Богомольцы мы были аховые, но участникам встреч предоставляется бесплатное проживание – а слет в том году проходил в Барселоне.

Ядро нашей команды составляли штатные и внештатные журналисты рижской ежедневки «Час» («Часик» – как ласково-пренебрежительно мы выражались). Я в «Часике» работал в отделе культуры под

началом своего лицейского приятеля Сани Гарроса. Он тоже поехал встречать Новый 2001-й в каталонскую столицу.

Говорят, первый удачный любовный опыт определяет пристрастия на всю жизнь. Почти наркотическое привыкание к Mar Mediterraneo для нас обоих наступило «с первого укола». С той полухипповской поездки в Барсу. С новогоднего ночного купания на пляже Барселонеты. С дрянного виски испанского производства и отменного сухого хереса, распитых в парках под пиниями и на скамейках Парка Гуэль. С завистливо-восторженных разговорах о южном умении жить.

Нам было по двадцать пять, мы неважно разбирались в вискаре (хотя уже полагали себя его знатоками и фанатами), только начинали болеть путешествиями и еще не дописали первый совместный роман – о публикации которого даже не задумывались всерьез.

Сколько раз с тех пор мы сживали на таких скамейках под пиниями и в модных заведениях – в Севилье, Неаполе, Лиссабоне, Афинах, Стамбуле, в той же Барсе. С пластиковыми стаканчиками и дегустационными бокалами. Обсуждая сюжеты совместных книжек. Завидуя вслух испанцам-итальянцам-португальцам-грекам, – которым повезло же, блин, здесь жить.

Но вот в Тель-Авиве мы одновременно оказались лишь весной 2017-го. Саня написал из Израиля, что там, как он выяснил, тоже гонят – где-то на Голанских высотах – свой single malt, односолодовый виски. Сане, правда, крепкое было уже категорически запрещено – но поводить по мало знакомому мне Тель-Авиву, показать, где этот экзотический «молт» продается, и пропустить за компанию хотя бы вина, хотя бы чуть-чуть, он обещал. Прикинул свой график – когда после очередного сеанса выматывающей химиотерапии он должен прийти в норму. Я взял билет с примерно месячным упреждением.

Однако по Тель-Авиву в итоге ходил один. Несколько раз – в квартиру, которую Саня с семьей снимал, вынужденно и спешно выехав на лечение в чужую, почти незнакомую страну. Однажды – в миюн, приемное отделение, больницы Ихиллов: в подвал, куда на скорых или на такси свозят пациентов с травмами и внезапными острыми недомоганиями. За предыдущий месяц Сане стало значительно хуже, к концу марта он уже почти не вставал, и общаться с визитерами мог лишь по часу-полтора в день. Химиотерапию из-за скапливающейся в легких жидкости решили временно прервать – но была надежда, что когда сеансы возобновятся, ему станет лучше. Вполне реальная надежда,



как нам всем тогда казалось. Улетая, я пообещал непременно вновь быть в Тель-Авиве в июне, на его сорок второй день рождения. А через неполных две недели, 6 апреля, почел в «фейсбуке» пост его жены: «Саша умер».

\* \* \*

Мы познакомились, когда нам обоим было по четырнадцать – и я могу назвать точную дату и место: 1 сентября 1989 года, рижский Пушкинский лицей.

Он в том году и возник, лицей – порождение странного времени: зрелой перестройки. Одной из главных, символических фигур которой сделался журналист. Правдоруб, разоблачитель. И вообще – интеллектуал-гуманитарий, источник независимого мнения. Человек, свободно думающий и смело говорящий. В это время вся страна – еще огромная, от Рижского залива до Чукотского моря – взалхлеб читала: литературу русской эмиграции всех трех волн и иностранную трэш-фантастику в чудовищных переводах, толстые журналы и бледно пропечатанные газетки на четыре полосы с эротическими гороскопами, читала про то, как нам с А. И. Солженицыным обустроить Россию, и про М-ский треугольник на Урале, где пришельцы напропалую контактируют с аборигенами.

Тогда-то и появился в Риге Пушкинский лицей с его упором на русскую филологию. Репортеры и литераторы всего через пару лет уступят роль символов эпохи бандитам и брокерам, русский язык утратит официальный статус в независимой Латвии – но в 89-м амбициозные старшекласники считали удачей перевестись из своих районных школ во вновь созданный лицей. В моей прежней, имантской, семидесятой средней учителя истошно, только что не матом орали на подопечную шпану, – а в Пушкинском уроки вели преподаватели университетского филфака и действующие журналисты «Советской молодежи». Она тогда публиковала цикл про М-ских инопланетян, распространялась по всему Союзу и конкурировала с московской «Комсомольской правдой». В «Молодежке» той легендарной поры Саня Гаррос впервые и напечатался. Если не ошибаюсь, это было интервью с Анатолием Приставкиным, видной перестроечной фигурой, модным писателем демократического лагеря.

Десяток лет спустя, затеяв писать совместный роман, мы подарили общее свое старшекласное прошлое нашему герою. В его судьбе

лицей сыграл грустную роль: заставил поверить, что ум – сам по себе достоинство, что способность к самостоятельному суждению – сама по себе ценность. В девяностые годы герою нашему – блестяще начинавшему журналисту – приходится в этом жестоко разочароваться: новые владельцы без конца разоряющихся и перекупаемых изданий учат его «не самовыражаться, а делать читателю сервис», запрещают писать предложения длиннее четырех слов, слова длиннее трех слогов, и раздраженно осведомляются, топыря пальцы в золотых «шайбах»: «Ты че, блин, самый умный тут, что ли?» В конце концов герой наш, плюнув на профессиональные амбиции и прокляв лицейский идеал, уходит в банковские пиарщики.

В жизни почти так все и было: во всяком случае, про самовыражение и сервис Сане выслушивать приходилось. В середине девяностых он, едва разменяв третий десяток, стал главным редактором им же придуманного и созданного еженедельника. Гражданственная публицистика перестроечного пошиба уже была никому не нужна, рынок диктовал свои законы: считалось, что если хочешь быть богатым, и писать надо для богатых – самым актуальным форматом сделался гляцевый журнал. Затеянные Саней «Семь пятниц» во многом ориентировались на московский мужской глянец той поры – но отличались от разного рода «Медведей» в первую очередь даже не толщиной и периодичностью, а преобладанием молодого анархизма над солидным консьюмеризмом. Делать и читать этот еженедельник было одинаково весело – многие из работавших в «Пятницах» вспоминают тот период если не как лучший в профессиональной жизни, то как самый свободный и азартный.

Все, что делал Саня, он делал хорошо – имелся у него редкий и счастливый дар ненатурного, необидного для других, не связанного со звериной конкуренцией успеха. Причем на первом месте для Сани всегда было качество собственной работы, профессиональная добросовестность: почти не сомневаюсь, что тут сказалась идеалистическая лицейская закваска. Не поступаясь профессиональной честью, можно делать классное издание, классный отдел в газете, классную книгу, классный сценарий – это Гаррос доказал множество раз за почти три десятка лет журналистской и литературной карьеры.

Но одно дело – создать качественный продукт, другое – его продать. Те же «Семь пятниц», по дружному мнению незаинтересованных наблюдателей, провалились из-за ошибочного бизнес-плана владель-

цев и плохого маркетинга – но претензии, разумеется, предъявлялись к журналистам и редактору. «Пишите проще». «Будьте ближе к народу». «Перестаньте самовыражаться». С ухудшением продаж бороться пытались непременно ухудшением качества.

Приходил новый менеджмент с прибранными манерами и вальяжно требовал делать сервис читателю. Оставалось выбирать между заведомой халтурой, на которую Саня был органически способен – и сменой места работы. На новом месте все повторялось.

«Час» в конце девяностых был лучшей русской ежедневкой в Латвии, а его отдел культуры, возглавляемый Гарросом, отрабатывал свои темы, возможно, лучше всех в стране. Но самокупаемая газета так и не стала. Сменяющиеся главреды обрезали самое, по их мнению нерентабельное – то есть умное.

Герой нашей с Саней первой книжки в конце концов подался в пиар-отдел банка. Но по отношению к журналистике это была та же халтура – только лучше оплачиваемая. А халтурить, как и было сказано, Саня не умел.

Вместо того, чтобы послать в банк си-ви, мы написали про банк издательский роман.

\* \* \*

Дебютная наша «[Голово]ломка» родилась, в общем-то, как шутка. Тогда, в самом конце тысячелетия, все смотрели и обсуждали экранизации Паланика и Истона Эллиса, «Бойцовский клуб» и «Американского психопата» (сами романы даже не были еще переведены на русский) – вот мы, по долгу службы следящие за культурными веяниями, и подумали: отчего бы не повеселиться – не сделать такую же кровавую социальную провокацию на здешнем материале?

Поначалу мы совсем не были уверены, что сможем напечататься в приличном издательстве и привлечь к себе хоть какое-то критическое внимание – не говоря уже о премии «Национальный бестселлер». Но Санин дар удачи часто позволял ему оказываться в нужное время, в нужном месте и с нужной идеей. Двухголовый «русский Паланик» в начале нулевых пришелся в России ко двору.

Лишь потом, много позже, я отдал себе отчет в том, что тогдашняя пора была счастливой не только для нас, забавных рижских новичков в литературном московско-питерском комьюнити. То был недолгий –

полдюжины лет – период удачи для всех, кто писал книжки по-русски и издавался в России. Одичалые девяностые кончились, народился какой-никакой городской средний класс – тот самый офисный планктон, который мог и хотел читать книжки. Читать в том числе про себя – про то, как он, планктон, глупый, тщеславный, потребительски озабоченный.

Потреблял он, однако, и прозу тоже. Книжки вошли в моду. Самовыражение приветствовалось. Не то чтобы оно пристойно оплачивалось – только если очень повезет и тебя прикупят западные издатели – но позволяло сделать себе имя. Мы с Саней за несколько лет выпустили еще два романа плюс и сборник повестей. В середине нулевых он переехал в Москву уже не безвестным провинциальным журналистом-гастарбайтером, а модным литератором. Работал в престижных и знаковых – причем на разный лад – столичных изданиях: в либеральной «Новой газете», уважаемом (тогда) «Эксперте», снобском «Снобе».

Рынок модной, амбициозной прозы подкосило то же, что и рынок статусной прессы – финансовый кризис конца нулевых. Даже в богатой Москве разорались книжные издательства и издательские дома. Журналистские гонорары едва позволяли жить пристойно, писательские превратились в издевку. Вдобавок в российских редакциях Сане довелось сполна хлебнуть тамошней специфики. В томном глянцево-издании «для элиты» начальница свысока объясняла ему – дословно – что «в мире наших читателей трагедий не бывает». В провластном (причем тогда еще не оголтело-пропагандистском, претендующем на аналитичность) журнале редактор снимал интервью с кем-то недостаточно лояльным, ухмыляясь скабрёзно: «Ну ты же все понимаешь...».

Лебезить, трусить, торопиться Саня по-прежнему не умел и не собирался. Его идеализм – никогда не демонстративный, неизменно сдержанный, трезвый, взрослый, самоироничный – в Москве часто воспринимался как некая экзотика: прибалтийская, нордическая, европейская. Впрочем, он, идеализм этот, по меркам любой страны и любой профессии был редкостью. Вот только в некоторых странах в некоторые эпохи профессиональная честность прямо препятствует успешной профессиональной реализации. Блестящий журналист, отличный писатель, Гаррос в итоге остался без штатного места в пе-

риодических изданиях и почти полностью оставил художественную прозу.

Удача и чутье, однако, все еще были с ним. В последние годы Саня со своей женой Аней Старобинец занимался едва ли не единственным в России делом, связанным с творчеством и при этом неплохо оплачиваемым – сценариями телесериалов. Органически неспособный делать что-то некачественно, тут Гаррос тоже ставил себе максимально высокую планку.

Первый их с Аней сериал – масштабный, недешевый, в невиданном в российской телевизионной практике жанре мистического «ис-терна» – уже запустили в производство, когда кризис рубежа десятилетий прихлопнул своим медным тазом львиную долю дорогих и амбициозных телепроектов. В последующие годы напуганные продюсеры требовали историй, которые можно снять подешевле («Чтоб действие происходило в одном лифте!» – рявкал, как рассказывают, К. Л. Эрнст). И чтобы к простому зрителю истории эти были поближе (обобщенной аллегорией аудитории в речах одного из заказчиков выступала «тетя Маня с половником, которая одним глазом смотрит в телеэкран, а другим в кастрюлю»). И чтобы все в них было привычное, стандартное, штампованное, средненькое, плохонькое. Самовыражаться опять запрещалось. Не требовалось добросовестной работы. Требовалась халтура.

У Сани имелась замечательная идея сериала, воплотить которую в современных российских условиях – условиях всеобщей политической трусости и профессиональной заскорузлости – нечего было и думать. Уже после первой операции, понимая, что рак может в любую минуту вернуться, Саня решил на основе этой идеи хотя бы написать киноман. И дописал его почти до середины, когда у него обнаружили новые метастазы. До последнего он надеялся все-таки закончить работу.

И не успел.

\* \* \*

Когда умирает близкий друг, трактовать это как символ, подгонять его судьбу под некий сюжет, извлекать из произошедшего мораль – и непристойно, и просто неправильно. К тому же мне меньше всего хочется, чтобы судьба Сани Гарроса представляла историей неудачи: он был везучим, умелым, талантливым и любимым очень многими. Успешным в профессиональной и счастливым в семейной жизни. Добрым и храбрым. Перед лицом болезни, сожравшей его за полтора года, заставившей перенести мучительную операцию, подразнившей надеждой и беспощадно добившей затем в кратчайшие сроки, он вел себя с безупречным, эталонным мужеством – причем начисто лишенным всякой рисовки.

В этой болезни и в этой смерти – в сорок один, накануне того, как его второму ребенку должно было исполниться два года – нет ничего ни логичного, ни символичного. Даже в том смысле, что выражается в сочувственных банальностях: мол, лучшие уходят первыми. Лучшие уходят в разном порядке, смерть несправедлива ко всем. Но есть еще и человеческая несправедливость, человеческая глупость: та энтропия, в которой виноват не второй закон термодинамики, а мы сами – и вот с ней лучшим действительно приходится сталкиваться чаще других.

Тут хочется взять тоном выше, высказать обиду, предъявить обвинения – но все равно ведь непонятно, кому.

## Сергей ПИЧУГИН

### «Я НЕ УМРУ УЖЕ НИ РАЗУ...»

Памяти Максима Супрунюка

Максим Борисович Супрунюк (1958, Москва – 2018, Ялта), поэт, переводчик, редактор, член Союза писателей Латвии. Родители его окончили факультет журналистики МГУ; отец, Борис Федорович, работал в Крыму, Сибири, Казахстане, занимался правозащитной деятельностью, издал книгу «Матерный маршрут, или По ком тюрьма плачет?» (Омск, 1999); мать, Галина Христиановна – известный крымский радиожурналист. Максим – выпускник Академии гражданской авиации (Ленинград, 1979), авиадиспетчер в аэропортах Борисполь (Киев) и Залив Креста (Чукотка, здесь и в роли авиатехника). Одна из первых его публикаций – в газете «Горняк Заполярья», начало 1980-х гг. В чукотском поселке Эгвикино помнят Максима, его активную культурно-просветительскую деятельность, его ранние стихи и песни. В 1987-2002 гг. Максим – в Риге, где плодотворным было его сотрудничество с детским журналом «Гном» (гл. ред. В.Новиков) и близким к журналу издательством «Ридзене-1». В Риге Максим – матрос, кочегар, автор многих периодических изданий; печатался в Москве (журналы «Трамвай», «Арион», газета «Семья»), выпустил в Риге четыре небольших книжки переводов и переложений с латышского и немецкого: «Бременские музыканты» [1991], «Глупая улитка» (1992) «Спридитис» (1992) и «Лимпата-лямпата. Стихи для детей латышских поэтов XX века» (1994). Около 30 стихотворений Максима вошло в сборник «Стихи для детей. Стихотворения русских поэтов Латвии» (2006).

Его готовившиеся и подготовленные сборники стихов (напр. «Справедливый апельсин») изданы не были. В последние годы Максим преимущественно печатался в Интернете.

Ред.

Ушёл из жизни Максим Супрунюк – прекрасный поэт и мой давний друг.

Он трагически погиб 21 февраля, едва перейдя свое 60-летие.

Рождённый 25-го января, в один день с Владимиром Высоцким, он был поэтом «с распахнутой душой», нетерпимый к фальши и тянувшийся ко всему живому с любовью и участием.

Но и «тесак за голенищем» у него тоже был: он всегда бился за справедливость, – даже ради совершенно постороннего человека.

Квартира на Капселию, где жил Максим со своей семьёй в конце 80-х и все 90-е, была постоянно действующим поэтическим клубом. Завсегдатаями были Олег Золотов, Александр Никласс, Алексей Ивлев, появлялись молодые авторы, заходили латышские поэты, как-то я встретил там атташе по культуре посольства Франции Бернарда Мерца. Денно и ночью мы просиживали на небольшой кухне: литературные споры, песни под гитару Максима, поэтические сборники, чьи-то подборки, залитые вином черновики Олега Золотова, шахматные баталии, рейды за водкой и продуктами... Кто-то ночевал у Максима не раз, а кто-то невозбранно жил месяцами. Он подбирал, кормил и лечил уличных собак, дружил с бомжами, играл на гитаре в окрестных кафе... Но главным его попечением был наш круг членов литературной студии при Союзе писателей Латвии.

Его жена Рута (Рудите) с трудом выдерживала эту непрерывную «поэтическую осаду». Он ласково называл её «Васенькой» (девичья фамилия – Василе). Максим познакомился с ней ещё на Чукотке, где она проходила практику, и вскоре вслед за Рутой Максим оказался в Латвии, но всегда помнил о России.

А в Руте мы ощущали ту самую «святость декабристки», без которой было невозможно сколько-нибудь долго выдерживать «всенощные бдения» нашей поэтической компании. Кроме бесконечной готовки и уборки, она ухаживала за двумя малолетними детьми. Ей, конечно, было нелегко. В конце концов, они с Максимом расстались, и он уехал в Крым, где жили его родные.

Так замкнулись его устремления и чаяния на солнечном полуострове, стоящем на семи ветрах. На земле, где дышит свобода открытого простора Черноморья и Средиземноморья, скифских степей Крыма и его Южного берега, с гор которого, кажется, уже видны Босфор и Дарданеллы. Наверное, похожие чувства у него были на Чукотке, лежащей на стыке двух океанов, на заснеженных ледовитых просторах которой начиналась его творческая жизнь, которая вся стала его «залюбом Креста».

Поэзия была его страстью, которая вобрала его целиком (особенно в последние годы его жизни в Риге). Страсти, которая порой доводила его до иступления, лишала сна, заставляя выводить на бумаге строч-



ки, дышащие лихорадкой поэтических ночей. Потом, как водится, приходила апатия и немощь, что Максим тяжело переживал. Согревала его теплящаяся любовь ко всем, без которой «центр творческого тяготения» становится «чёрной дырой» (иногда в этом смысле он оказывался «на грани», и мы все болели за него, старались помочь).

Но оставались ещё его чудесные стихи – для взрослых и для детей, которые придавали его жизни смысл и держали на плаву. Все они удивительно цельны и предельно искренни. Среди его «взрослых» стихов – много трогательных посвящений городам и исторической Родине, друзьям и ушедшим поэтам, святым и ангелам. По духу они – отклик на несовершенство мира, полны элегической грусти, но всегда устремлены ввысь. Отсутствие знаков препинания, сшибка разных планов и пластов бытия, парадоксальность поэтического мышления поэта создают тот самый удивительный эффект восприятия, когда сквозь кроху берёз русской равнины просвечивают шпили архитектуры Гауди.

Его стихи для детей трогательно прозрачны и чисты. Они средни кристаллам, формула образования которых, как известно, не выводится из теории трёх измерений. Помимо чувства, мысли и формы, должно быть веяние тайны, духа, которые невозможно симулировать, подделать или формализовать (впрочем, это относится и к его «взрослым» стихам, и к поэзии вообще).

Вот одно из его «детских стихотворений»:

*Шли корова и телёнок,  
а за ними шли  
тень коровы и тенёнок  
прямо у земли.*

*Колокольчики звенели -  
день! дон! день! -  
колокольчиков звенела  
тень.*

*И корова пожилая  
ест лопух пока,  
тень коровы пожевала  
тень от лопуха.*

*Колокольчики звенели -  
диль! дон! день! -  
колокольчиков звенела тень.*

*И из мамы пил телёнок,  
рожки набекрень.  
А тенёнок?  
А тенёнок  
пил из мамы  
тень!*

*Две коровы,  
два телёнка,  
сверху облака.*

*И бежала в тень ведёрка  
тень от молока.*

«А ты когда-нибудь плакал над своими строчками?» Этот вопрос Максима мне слышится до сих пор. При этом известное изречение Достоевского о «слезе ребёнка», как мне кажется, в отношении поэзии звучит с точностью до наоборот: поэтический перл должен быть чище и выше сентиментальной слезы поэта, который может заблуждаться и обманываться. Поэтому пастернаковское «стихи слагаются навзрыд» – скорее, о процессе, а не об оценке результата.

Стихи Максима должны быть выпущены итоговым сборником. Для поэта это – один из залогов бессмертия.

Многие поэты нашего круга – уже в мире ином. Мне кажется, Максим Супрунюк ушёл к ним для того, чтобы, как и в земной жизни, обогреть и возглавить этот круг.

**Л. Нукневич – Р. Добровенский**

## ДВЕ ЖИЗНИ

*Из Wikipedia: Роальд Григорьевич Добровенский, писатель. Окончил Московское государственное хоровое училище и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М.Горького. Учился в Московской консерватории. Работал журналистом в Хабаровске и на Сахалине. С 1975 года живет в Латвии. Член Союзов писателей России и Латвии. Почетный член Латвийской Академии наук.*

*Супруга – латышская поэтесса Велта Калтыня.*

*В Wikipedia упомянуты четыре книги Добровенского, изданные в России до его переезда в Латвию, и три – после переезда: «Алхимик, или жизнь композитора Александра Бородина», «Рыцарь бедный. Книга о Мусоргском», «Райнис и его братья. Семь жизней одного поэта».*

*О себе Роальд говорит, что он прожил уже две жизни. О той и другой мы говорили при встрече...*

«ЭТО ТАК СТРАННО – ХОТЕТЬ ПИСАТЬ,  
А ПИСАТЬ НЕ О ЧЕМ...»

– Как случилось, что при изначально музыкальном образовании вы стали писателем, поэтом, переводчиком?

– Я проучился в Московской консерватории неполный год, пришел к ректору, знавшему меня с детства, и говорю: «Хочу быть писателем, хочу знать, как люди живут». Он посмотрел на меня как на полоумного, но сказал: «Ну что ж, Вася, – насильно мил не будешь».

– Вася?.. Почему Вася, а не Роальд?

– Роальдом меня назвали в честь норвежского полярного путешественника Амундсена, жутко популярного в Советском Союзе в 30-х годах. Тогда появились десятки Роальдов, и я в том числе. В войну буквально последним поездом из Гатчины нас эвакуировали на Вологодчину, в глухое село Бабушкино, стоявшее в то время в окружении дремучих лесов. Чтобы там дети выговорили «Роальд»,

было абсолютно немислимо. Стали выбирать варианты: Петя? Он и так драчливый. Миша? – он и без того неуклюжий. Вася? – а что, сойдет! И все детство я был Васей, и в хоре мальчиков, единственном об ту пору в Советском Союзе, тоже звали Васей. В училище, помню, классами тремя старше учился смешливый веснушчатый мальчишка Робик (теперь, конечно, Родион) Щедрин, а в консерватории немецким я занимался в одной группе с Соней Губайдулиной. Она бы, наверное, усмехнулась, если бы кто-нибудь напомнил ей в её Германии дурацкий стишок давнего соученика: «Даже перед смерти дыркой дульной // Не забыть мне Сони Губайдулиной // И уроки радостные Detsch'a, // Где она училась всех нас бойче». В консерватории я тоже Вася. Только в армии, как полагалось по документам, я стал Роальдом Добровенским.

– Годы учебы – хорошее время?

– Во всяком случае, незабываемое. По крайней мере раз в год в Большом театре мы пели на правительственных концертах, в бывшей царской ложе появлялся сам Сталин. Нам предоставляли артистические уборные, там в ящиках столов мы обнаружили огромные запасы грима. По воскресеньям в опустевшей школе мы ставили «спектакли»: сами придумывали на ходу текст, сами играли, сами смотрели. Однажды я играл негра и намазался черным гримом до пояса, – представляете, каково было потом отмываться! (смеется)

– Поступили в консерваторию и вдруг ушли из музыки...

– Я страшно много читал, книги глотал просто сотнями.

– Родительское наследие?

– Да нет, отца я почти не знал, он погиб в самом начале войны. Мать если и читала, то журналы «Знание-сила», «Наука и жизнь». А ближе к девяности годам увлеклась детективами.

– То есть вы читатель по призванию, а не по воспитанию.

– Да. Я уходил из консерватории, чтобы «изучать жизнь». Очень смешное намерение. Первая моя должность – заведующий избы-читальней деревни Орехово в колхозе имени Ленина. Платили мне на той работе... на сегодняшние деньги если перевести, евро двенадцать в месяц. Хотя как-то я жил, друзья из консерватории приезжали, однако было так трудно, что я пошел в военкомат и попросился в армию. Меня послали в Германию, сначала в танковые войска, потом перевели в ансамбль песни и пляски. Мы участвовали в концертах немецко-

советской дружбы, и там я однажды познакомился с немецкой девушкой из Freie Deutsche Jugend. А жили мы за высочайшим забором, встречи с местным населением под запретом. В общем, я перелезал через этот забор, что было не только сложно, но и опасно. За связь с немкой меня отправили из Германии в Россию. В товарном вагоне, так называемом «телятнике» ехали больше месяца, пока не оказались в дальневосточной тайге, где я стал рабочим второй колонны 318-го военного лесозаготовительного отряда. После службы остался на Дальнем Востоке, и через многие годы из Хабаровска, уже будучи автором нескольких книжек, приехал на Высшие литературные курсы в Москву. На курсах тех были великолепные преподаватели и такая по советским временам фронда, такие речи – просто удивительно!

– Там вы и познакомились с будущей женой?

– Да, Велта в свое время у себя, в Риге, окончила Медицинский институт. На курсах мы с ней сначала жили в разных концах г-образного коридора в общежитии, потом оказались в соседних комнатах. Но я тогда страшно не хотел ехать в Латвию! Если бы Велта не была латышским поэтом, я бы не поехал.

#### «Я НЕ МОГ СЕБЯ НАЙТИ, НЕ ЗНАЛ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ»

– А почему бы Велте не поехать в Россию?

– В Латвии многие говорили по-русски, в России по-латышски – единицы. И я не мог отнять у Велты... собственно, всё отнять: читателей, издателей, родную среду. Хотя и я терял немало: в тех местах, где я жил, меня, как говорится, каждая собака знала. Мои книжки к тому времени вышли в России тиражом больше миллиона экземпляров. А в Латвии девять лет прошло, прежде чем у меня вышла первая книга.

– Почему так долго?

– А я не мог себя найти, не знал, что мне делать.

– Что помогло удержаться на краю? То, что вы любили друг друга?

– Вместе мы уже 44 года. Вот как-то... как ключик подходит к одному замку, а другой, на вид точно такой же, чуть-чуть, а не подходит. У нас тоже были трудные периоды, особенно поначалу. Все для меня тут абсолютно чужое, и, наверное, поначалу я был очень трудным

человеком. А спустя три года, случилась жуткая авария. Велта была на волосок от смерти, ее везли к матери, машина столкнулась со стоящим во тьме грузовиком. Когда я пришел с огромным пучком роз в больницу города Стучка, теперь Айзкраукле, Велта вся была замотана в бинты. И она сказала: «Не смотри на меня, я, наверное, сейчас некрасивая». А видно вообще ничего не было, кроме глаз. Вот когда я действительно понял, что не оболочка – главное. То, что внутри человека, и есть человек. Там, внутри, под бинтами оставалась Велта. В самом ее вопросе уже был человек, женщина, моя Велта – всё-всё мое прошлое и будущее. В прежней жизни я был не слишком моногамным, много чего себе позволял, а тут как отрезало.

– Поняли, что могли потерять? Или из чувства ответственности?

– Да просто началась другая жизнь. Я вот книгу написал про семь жизней Райниса, и у меня уж две-то точно есть. Та, что почти до сорока лет, уже состоявшаяся, пестрая, с полным кругом друзей и не друзей, с огромной географией – словом, целая жизнь в России. Но и новая жизнь – здесь – уже началась, многое завязалось, я подружился с совершенно чудесной, удивительной мамой Велты, она, кстати сказать, была знакома с Райнисом. Без них все вообще теряло бы всякий смысл. От России я оторвался, а что мне одному было бы делать здесь, в Латвии?

– Кстати, как вас здесь встретили поначалу?

– Кто-то смотрел на меня с недоумением. А у меня было чувство вины перед Россией, которую я оставил, хотя лично мне она ничего плохого не сделала. Но Латвия тогда официально была частью огромной страны, так же, как, скажем, Армения, Грузия.

– Вы чувствовали себя эмигрантом?

– Нет, но я чувствовал, что я все же живу в стране латышей. И я приехал с решением, внутренним решением – уважать отличность другого языка, другого народа от нас. Понимаете, официально все мы были одна страна. Однако советский человек приезжал в те же Армению или Грузию и понимал, что он не в России, стопроцентно. Здесь было иначе. Потому что здесь русский язык звучал наравне с латышским, а в некоторых сферах жизни, пожалуй, и преобладал.. Вроде бы его прямо не навязывали, но это как-то висело в воздухе. Другое дело,

что латыши дома говорили, конечно, по-латышски и что у них была своя отдушина – в театре и поэзии господствовал латышский язык абсолютно, чужих туда не пускали.

Тогда моя писательская биография, считай, прервалась. Я что-то переводил, в основном стихи латышских поэтов, печатался, но книг не было. Потом я заведовал отделом поэзии в журнале «Даугава». Кстати, в 2000 году на приеме в посольстве Франции в Москве я встретил Евгения Рейна, которого Бродский однажды назвал в числе трех лучших русских поэтов современности, и он припомнил, что именно в «Даугаве» его впервые опубликовали в Советском Союзе после долгого-долгого непечатания. Правда, не стихи, а его перевод с латышского.

– Круг ваших друзей в Риге латышский или русский?

– В Риге – только латышский. Вернее, были друзья и знакомые из русской среды, в той же «Даугаве», была русская секция в Союзе писателей, в то время мощная, и там меня неплохо приняли. Но домашняя среда абсолютно латышская, и Велта подарила мне латышских литераторов, с которыми сама была знакома. Ояр Вацietис был нашим соседом, они с Людмилой Азаровой приходили к нам в гости. Приходили Имант Зиедонис с женой, встречались с Имантом Аузиньшем, Кнутом Скуениексом.

– Они говорили по-русски?

– Все говорили по-русски. Вацietис, напомним, перевел на латышский «Мастера и Маргариту».

– А общались вы на каком языке?

– Вначале на русском, я лет семь не решался заговорить по-латышски. Я читал по-латышски, в московской «Дружбе народов» публиковал статьи о переводах, высунув от усердия язык, сравнивал и сравнивал латышские тексты с русским переводом, но – не говорил, не решался. А домашний круг... Однажды отец Велты сказал мне: «Не говори с собакой по-русски, это латышская собака!» (смеется) Мама Велты плохо понимала по-русски, а мне очень хотелось послушать ее рассказы, латышские. Я был в думе Народного фронта, участником 1-го съезда Народного фронта, делегатом Первой Балтийской ассамблеи. Но при первой же возможности вернулся к своей настоящей профессии. В общем-то, политику я терпеть не могу, ведь не секрет, что в «минуты роковые» власть над жизнью и смертью людей получают, как правило,

не лучшие, а худшие представители рода человеческого. Между прочим, хорошо помню, как однажды старушка-гардеробщица протянула мне номерок и сказала: «Ну зачем они всё это затеяли? Ведь так было хорошо, они по-своему говорили, мы по-своему, и так дружно жили!» Я ей, с одной стороны, сочувствовал, а, с другой, тут же попытался объяснить: понимаете, бабушка, здесь ведь только каждый второй говорил на латышском языке, потом – каждый третий, а потом вообще некому было бы говорить по-латышски.

Вот в этом на самом деле проблема.

«ВАМ МОЖНО НЕ СУЕТИТЬСЯ, ВАШ ПОЕЗД УЖЕ УШЕЛ»

– Так в чем проблема?

– В том, что далеко не все понимают, что произошло. Я нахожусь внутри тех и других, и латышей, и русских, и понимаю, почему латыши считают, что отношение к русскому языку как второму государственному означало бы гибель латышского языка. Ведь вокруг – море русской речи. В том же Даугавпилсе, скажем, или в Резекне русский язык больше в ходу. И рядом – огромная Россия. И силы не равны, не равные силы. Если дать абсолютную свободу одному языку, второй постепенно отомрет, я в этом убежден на сто процентов. А к этому не просто шло, этого в советские времена партийные власти упорно добивались, хотя вслух говорилось о «культуре, национальной по форме, социалистической по содержанию».

Я помню, как еще во времена Народного фронта собрались представители трех республик Балтии, и глава тогдашнего эстонского народного движения латышам сказала: «Вам можно не суетиться, ваш поезд уже ушел». Речь шла не только о латышском языке, но о сохранении латышской нации как таковой. Это было жестоко, но очень похоже на правду. В Эстонии и Литве положение было иным.

– Почему, как вы думаете?

– Потому что Латвия была как бы центром всей Балтии, центром военного округа, промышленности и многого другого.

– Вы не относите происшедшее на счет особенностей латышского национального характера?

– Да нет. Это не характер, это ход истории, исторического развития. Потому что Литва была когда-то государством, Эстония – нет, но



она никогда не была цитаделью и лакомой кормушкой для русского чиновничества. В Латвии же с 1881-го, если не ошибаюсь, года началось насаждение всего русского с постепенным вытеснением немецкого языка и немецких реалий. Но это долгая история.

– Однако национальный характер тоже складывается под влиянием исторических обстоятельств.

– Бесспорно. Но не в смысле качества национального характера, лучших или худших черт. В Латвии вообще уникальная ситуация, когда латышского языка, истоки которого очень древние, да и народа как такового не было. Зачатки его складывались в 16 веке, а становление нации нужно отнести скорее к середине 19-го. И латышский язык вылезал и складывался как бы подо льдом, латыши ведь были «никем», самые «энергичные» латыши старались как можно скорее онемечиться, в этом был путь к успеху. Тем не менее латыши умудрились каким-то образом сложиться в нацию, сохранить и затем развить под чужой, притом двойной властью, свой язык. По-моему, это случай уникальный.

– Вы такой миротворец, всё понимающий и принимающий... Это ваша натура, или жизнь научила? На самом деле теперь «русский вопрос», существование русского языка и образования в Латвии воспринимается крайне болезненно. Разрыв между русскими и латышами становится все ощутимее. А как вы относитесь, скажем, к крайненациональноозабоченному Райвису Дзинтарусу компанией?

– Во-первых, всегда есть крайности, что среди русских, что среди латышей, и их не так уж мало; загляните-ка в Интернет. Второе: очень опасно, очень неприятно, но оба края должны иметь место. Радуга, которая и ультрафиолетовая и инфракрасная, она красная и фиолетовая по краям. И в любом народе эти, стоящие не только у края, но и за краем, они почему-то нужны, хотя я не только не их сторонник – я их терпеть не могу. Но всякому языку и народу нужен весь спектр, снизу доверху. Зачем-то нужны маргиналы, правда, в известных пропорциях. Страшно, когда пропорции нарушаются. Собственно, история с Гитлером, это история, когда край решил стать всем, центром всего. Все вроде бы ради народа, для которого это делалось, а оказалось сугубо против.

Теперешние реформы в образовании я не поддерживаю. Мне кажется, намерение во что бы то ни стало не оставить здесь ничего рус-

ского, вытеснить нелатышей – cittautiešus, если по-латышски, – это полная ошибка, это не нужно совершенно. Европа, в которую мы так стремились, поступает по-другому. Другое дело, что Европа заблудилась в противоположном направлении...

У нас бороться надо не столько против того или иного, сколько за русский язык. Борьба за русский язык, русскую культуру, за ее сохранение, в том числе в Латвии, развитие, присутствие не должна быть борьбой против. Тем более не против латышей.

У нас, между прочим, никогда не было такого количества русских литературных объединений, как сейчас. Часть из них, скажем так, обещает немного, но ведь никогда не знаешь, где что взойдет. У нас еще недавно модно было говорить о духовности. Но сама по себе духовность зависит не от внешних причин. Духовность идет из семьи, она есть или нет ее в нас самих и в наших детях. Сами учите детей русскому языку, возьмите, где только можно, русское слово, доступное сегодня в любом уголке мира. Есть, есть на свете множество вещей, которые зависят от нас, а не от политиков того или иного толка.

#### «РАЙНИС ТОЖЕ ПЫТАЛСЯ ПОНЯТЬ, КТО ОН»

– Поговорим, Роальд, о вашем «Райнисе». Пролог к книге вы написали *post factum*, уже завершив работу над всем текстом?

– Нет, я написал его с самого начала, и каким он был, таким и оставил.

– Но Пролог очень отличается от всего прочего текста.

– Одна латышская интеллектуалка призналась мне, что, прочитав Пролог, готова была вовсе отложить книгу, но потом все же дочитала до конца, причем с нарастающим интересом.

– Ваш Пролог, как я это восприняла, манифест своего рода. Пролог как бы обещал некую мистерию духа, и написан он в таких романтических традициях, которые потом из книги фактически ушли. Так и было задумано или так получилось как бы само собой? В любом случае мистерии духа как таковой я в книжке не почувствовала. Райнис у вас, в сущности, слабый человек, вечно в себе сомневающийся, хотя в чем-то главном силы необыкновенной. Короче, я бы сказала, что ваш Райнис – не герой.

– Во-первых, герой без слабостей – это не ко мне. Во-вторых, это не книга о Райнисе, или, скажем, книга не только о Райнисе. Зачем

я взялся за эту работу? Я хотел понять, что я здесь делаю, что здесь за люди, что за история у этой страны. Райнис, в общем-то, делал то же самое. Тоже пытался понять, кто он. Ни о какой «мистерии духа» я не помышлял. Вот Кирилл Серебренников поставил здесь спектакль. Ему перед этим предложили несколько пьес Райниса – он не впечатлился. Директор Национального театра дал ему прочесть мою книгу, и после этого возникла идея спектакля «Сны Райниса», на сегодня ставшего одним из бесспорных достижений латвийского театра. И Серебренникова интересовал не столько Райнис сам по себе, сколько вообще человеческое измерение, назначение, мечты, сны, отношения человека с Космосом. Я не в переносном, а в абсолютно прямом смысле думаю, что художник всегда рисует прежде всего себя. От этого никуда не деться.

И еще о слабостях Райниса. Они мне дороги никак не меньше, чем его подвиги и свершения. Вот он в Петербургской гауптвахте валяется на каменном полу, униженный, его отовсюду должны изгнать, он просто позорно провалился по всем статьям. Вот тут-то мне Райнис и нужен. Его путь – преодоление препятствий, почти непреодолимых. Таков же путь почти любого народа. Причем для меня несомненно: народ – это вовсе не только наши соседи в лесу, в поле или на соседней улице, народ – это все поколения, вплоть до глубин уже совершенно неразличимых.

– Роман называется – «Райнис и его братья». А «братья»-то порой крайне непривлекательные. Тот же Петр Стучка.

– Но ведь латвийские социал-демократы сыграли заметную роль в истории, мировую, можно сказать. А кроме того, и у библейского Иосифа братья были еще те, они же его в рабство продали.

«ЕСЛИ ТЫ ГОВОРИШЬ НЕЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОВОЕ...»

– Вашу книгу вы назвали романом-коллажем, в нем много авторских комментариев и отступлений. Почему такая форма, вам она ближе? И почему чуть ли не все герои ваших книг – из прошлых лет? Бородин, Мусоргский, Райнис... Современники вам не интересны?

– Нет-нет, у меня ведь выходили и прежде книжки. Вот сказку мою через полвека после ее написания переиздали в Петербурге пару лет назад, в Берлинской «Комише Опер» поставили когда-то первую оперу

на современный сюжет, либретто которой основано на моей сказке. И все же, кажется, по-настоящему нашел я себя, когда понял: мне неинтересно строить сюжет, выдумывать; это не мое. Я обнаружил, что мне жутко интересно, просто буквально хлебом не корми, распутывать, стараться понять, что было, как говорится, на самом деле. Я вижу, где мой герой – один, другой, третий – сам обманывался, где его обманывали, где у него не было возможности добраться до сути происходившего. Понимаю, что и я неизбежно что-то искажаю своим восприятием и рассказом, но, тем не менее, в ходе поисков проступает и нечто подлинное. И кроме того, это ведь современный, мой сегодняшний взгляд на то, что было и чего не было.

– О ваших комментариях и отступлениях в «Райнисе». Они все же очень личные, заведомо субъективные. Мой латышский знакомый, дипломированный философ, прочитав книгу, сказал сквозь зубы: «Это написал не латыш». Что, вообще говоря, забавно: получается, что о Шекспире могут писать только англичане. Но не страшно вам было говорить, в сущности, от первого, авторского бишь, лица?

– Страшно, не страшно... Один латышский литдеятель, помню, сказал мне: «Я слышал, вы пишете книгу о Райнисе? Смелый вы человек!» Сказал таким тоном, что понятно было – за такое может взяться только круглый идиот. Но я готов был к тому, что книжку будут читать самые известные специалисты по Райнису. Да, я был абсолютный чужаком, забравшимся на чужую территорию. Но ведь так же было и с моим Мусоргским. Я никакой не музыковед, а Мусоргским об ту пору занимались целые институты, вышло громадное количество литературы. Кончилось же все тем, что как-то подошли ко мне в библиотеке Салтыкова-Щедрина специалисты по Мусоргскому и спросили, где я нашел вот это и вот это. Что касается «Райниса», в Америке, в латышском еженедельнике «Калифорнийский вестник» была восторженная рецензия с продолжением, в двух номерах, в Австралии, говорят, очереди выстраивались за книжкой, в Германии, Швеции, Канаде обнаружили читателей и почитатели книги. В самой Латвии она два года подряд объявлялась самой читаемой книгой на латышском языке.

– Однако был и отрицательный отзыв, в местной прессе – Вилиса Самсонса. Вы сильно огорчились?

– О, это как раз было очень интересно! Самсонс – Герой Советского Союза, бывший командир партизанского отряда, серьезный ученый, один из ведущих академиков, и он был возмущен до глубины души. Он и его ассистент предлагали чуть ли не всем рижским редакциям текст, начисто отвергающий мою книгу, от начала до конца.

– Что им не понравилось? Трактовка исторических событий, контекст и подтексты, форма изложения?

– Им не понравился абсолютно новый взгляд на Райниса, резко отличающийся от советского. Из Райниса тогда лепили предельно «правильного» народного поэта, и ввали при этом просто безбожно. Я как-то посмотрел фильм о Райнисе, получивший Сталинскую премию, и не нашел в нем ни одного эпизода, который бы соответствовал действительности. Ни одного! Но академик Самсонс, конечно, до примитивной лжи никогда не опускался, и претензии его были по-своему справедливы. Образ Райниса, старательно создававшийся в СССР почти полвека, никак не совпадал с тем, что открывалось по ходу моего рассказа. В конце концов, получив отказ во всех рижских изданиях, соавторы сумели выпустить в Даугавпилсе газету на 16 страницах, целиком посвященную осуждению и «разоблачению» моего труда. Кончалось все фельетоном, где меня называли почему-то Родиком (мне тогда было уже шестьдесят от роду) и почему-то намекали на мое неарийское происхождение. Рассказывали, что одна латышка, известный в Латвии профессор, сожгла в печке ту газету, так была возмущена всей этой историей (смеется). Что же касается меня, то я просто купался во всем этом. Потому что, по моему убеждению, если кто-то не топал бы ногами на импрессионистов, это значило бы, что ничего нового они не сказали. Должно быть несогласие, протест, вплоть до ярости, если ты говоришь нечто действительно новое.

## «ЯЗЫК – ЭТО РОДИНА, КОТОРАЯ ВСЮДУ С ТОБОЙ»

– Простите, я еще раз вернусь к русской теме. Вы бы подписались под Цветаевским: «Тоска по Родине! Давно разоблаченная морока!»? Или: *ubi bene, ibi patria*, как писали латиняне, где хорошо, там и родина?

– Вряд ли первым я скажу: язык – это родина, которая всегда и всюду с тобой. Знаете, сын Вайры-Вике Фрейберги на ее недавнем юбилее сказал: «Я очень люблю мою родину – Канаду, и я никогда не изменю моему отечеству – Латвии». Родина – *dzimtene* – там, где он родился, от слова «родиться», а земля отцов – отечество, *tēvzeme*. Я бы не мог так сказать, у меня как была родина Россия, так и есть моя родина Россия, а Латвия – страна, которая приняла меня. Со мной остается и, надеюсь, будет до конца материнский язык.

Что касается русской темы... Я считаю, что человечество в XX столетии испробовало до конца два пути – национальной исключительности и классовой исключительности. Это две разные дороги. Обе предполагали, что цель оправдывает средства, и всё что угодно можно делать во имя идеи. И что же? Посмотрите на «Третий Рейх»! Страна Канта, страна Бетховена, Гете скатилась хуже, чем к дикарству, дикарство было бы предпочтительнее. А в России во имя счастья народного палили из пушек по тому же народу, по крестьянам. Началось это с расстрела рабочих, которые протестовали против разгона Учредительного собрания. И пошло-поехало. Ленин в одной из типичнейших для него записок и телеграмм предлагал «расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты», – вот, наизусть заучил, как стихи. Колеблющихся! Никого не спрашивая! Без волокиты! Это восемнадцатый год, но и до, и после этого та же легкость в распоряжении чужими судьбами, жизнью и смертью людей, в том числе даже перед этой властью ни в чем не повинных! Меня эта фраза никогда не оставляет в покое.

У меня была наивная надежда отдать как бы мой личный долг России, написав книги о русских композиторах. И заодно хоть как-то искупить свою вину перед музыкой, которую бросил. Мне было очень трудно писать эти книги. Их же никто не заказывал, не финансировал, я сам скупал по ленинградским, московским антиквариатам все, нужное мне, жутко дорогие издания 18-19 веков. Книга о Мусоргском

имела успех. Валерий Гергиев, по его словам, именно после прочтения моего романа устроил в Мариинском театре потрясающий фестиваль, когда было сыграно до последней строчки все, что написал Мусоргский. Георгий Свиридов, уже тяжело больной, прислал самый лестный отзыв. Иннокентий Смоктуновский читал текст от автора в серии радиоспектаклей по моей книге. Потом был фестиваль Большого театра, посвященный Мусоргскому, и там вручили именные медали «за Мусоргского» Елене Образцовой, Борису Покровскому, Евгению Нестеренко, вашему покорному слуге...

Надеюсь, я не остался совсем уж в долгу и перед Латвией.

При всем при том я был и остаюсь русским литератором. И таких, как я, сегодня немало, русские поэты, прозаики, драматурги разбросаны по всему миру. Да и только ли сегодня? Не грех вспомнить, что «Мертвые души» чуть ли не целиком написаны в Риме...



**Нафтолию Гутману,**

рижскому графику, собеседнику и молчальнику – 80

**Поздравляем!**



*Нафтолий Гутман. "Старая Рига", офорт.*





*Нафтолий Гутман. "Рига, Андрейоста", офорт.*

Роман ТИМЕНЧИК

## ЛАТВИЙСКИЕ ТОПОСЫ И ЛОКУСЫ В РУССКОМ СТИХЕ\*

Вероятно, самые многоописанные латвийские локусы расположены на рижском взморье, штранде, – в Юрмале. Породненность этих краев с русской литературой долгое время усугублялась некрологической меткой о Дмитриии Писареве. Нововременский публицист М.О. Меньшиков писал своему сыну Якову на взморье 28 июня 1905 года:

*Ради Создателя, будь осторожен в море. Помни ужасную смерть Писарева. Это был блестящий талант; он в состоянии был воспитать сильное поколение и оставить глубокий след в умах, и погиб мальчишески, купаясь там, где нельзя было.*

*Хорошо, если бы ты с первого же дня аккуратнo стал купаться, не пропуская ни одного дня. Не допускай себя до озноба, до синевы, до гусиной кожи<sup>1</sup>.*

Задача исчислить русских дачников начала прошлого века на латвийской земле несравненно, думается, сложнее<sup>2</sup>, чем аналогичная задача, решаемая ныне эстонскими историками культуры. Стихотворным документом, рассказывающим о пляже в Меллужи той поры и о типе дачника, являются, не имеющие, может быть, другого шанса на републикацию курдюковатые злодейские стишки тучного сластолюбивого пиита армейского, будущего генерала Н.А. Свидерского (умер в эмиграции в Париже):

*Карлсбад, прошу не смешивать с австрийским, –  
На Рижском взморье, у Балтийской мели.  
Куда попал с величьем олимпийским  
Клянись, Mesdames, я для серьезной цели.*

*Для теплых ванн и для морских купаний,  
Pour faire taigrir, мне нечего скрыватьсь,  
Среди бесчисленных людских желаний  
Мое plus petit – должно вам показаться.*

\* Первая часть настоящей статьи была посвящена Риге – см. предыдущий выпуск Альманаха. Публикуемое здесь продолжение статьи – обращено к Юрмале.

<...>

Спросив чайку, уселся на веранде,  
Раскрыв «Journal», но не прочел и строчки,  
Передо мной, на всем обширном штранде,  
Вблизи, в волнах и прямо на песочке

Мильоны женских тел, без всякой позы,  
Sans feuille de vigne, совсем, как на Парнасе,  
Прекрасных нежных, как цветочки розы,  
Как гимназисточки – в последнем классе.

Кружатся, прыгают, свободе рады,  
Резвясь, как «Primavera» Боттичелли;  
Из волн морских выходят, как няяды,  
Изящные и стройные, как ели.

И среди них она – Карлсбада фея,  
Босыми ножками вперед ступая,  
Charmant et belle, как древняя Цирцея,  
В хитоне розовом – почти нагая.

Движеньем плавным сброшены покровы, –  
Сверкает мрамор дивной белизною,  
И меркнут все создания Кановы  
Devant nature – столь яркой и живою.

Округлость форм и линий гармоничность  
On vous repellent Венеру из Милосса,  
Ее необычайную пластичность,  
Своей же белизной – цветок лотоса.

<...>

И хочется мне сделаться волною,  
Живой, способной всюду разливаться,  
Чтоб слиться с феей мне душой одною,  
Et comme la vague к груди ее прижаться.

<...>

Попал сюда я для серьезной цели, –  
Pour faire maigrir... и похудел ужасно,

*И как бы на меня вы ни смотрели,  
Провел я время – вовсе не напрасно.*

<...>

*Спешите ж прямо к берегам Балтийским:  
Здесь нравы проще, люди веселее,  
Je vous en prie не смешивать с австрийским.  
Здесь faire maigrir и легче и скорее<sup>3</sup>*

Ряд взморских медитаций, окрашенных памятью о немецком романтизме и тютчевской маринистике, был создан в Асари Аделаидой Герцык в 1904 и 1913 годах:

*Сосны зеленые!  
Сосны несмелые...  
Там, за песчаными  
Дюнами белыми.  
Сосны! Вы слышите?  
– Море колышется...  
Как непохожа здесь  
Жизнь подневольная,  
Логово мишистое,  
Слезы смолистые –  
На своевольное,  
Чудно-привольное,  
Дико-свободное  
Море раздольное!  
Сами не ведая,  
Вы поселились  
Близ все смывающей  
Бездны играющей,  
Где все решается,  
Вмиг изменяется,  
Гибель с рождением  
Вместе сливаются...<sup>4</sup>*

Из ресурсов романтической поэзии золотого века перенесен оссианический пейзаж, который, не пользуясь локальным приемом, притягивает каких-то бахчисарайских охранников:

*По Балтике серой плывем одиноко,  
 Все тихо, безлюдно, безмолвно кругом,  
 Скала за скалою, да камни, да ели  
 Сурово и мрачно таят о былом.  
 Морицины покрыли утесов вершины,  
 Распалась на камни от бури скала,  
 Скривились сосны, пригнулися ели,  
 Не видя ни солнца, ни ласки века.  
 Свои охраняя ревниво сказанья,  
 Как стража гарема сурово бледны...  
 Так что ж к тебе манит, страна полуночи?  
 Что тянет, влечет и тревожит – скажи?!<sup>5</sup>*

Асарский пейзаж стал декорацией ницшевского «вечного возвращения»:

*А вчера, бродя близ моря, придумала эти строфы, такие созвучные всему прежнему, неумолимо повторные...*

*Тихо брожу по песчаным дюнам,  
 Море колышется дымно-серое...  
 Станет ли сердце свободным и юным?  
 Вспыхнет ли вновь горячею верою?  
 Мнится мне, здесь в далекие годы  
 Я уж грустила в пустынных дюнах.  
 Ветер играл на хвойных струнах,  
 Сердце просило огня и свободы...  
 Мнится – все будет, как все уже было,  
 Вслед за дремотой – тревога священная,  
 Пенные волны и берег застылый...  
 Боже! и я средь всего неизменная!*

И знать, дорогая, что это те грани, тот круг, в котором замкнута жизнь моего духа...<sup>6</sup>

Из стихов, написанных здесь в 1920-е, укажем этюд Анны Таль:

*Ползут неуклюжею тенью вагоны  
 По туманным полям.  
 Чертою лесов зыбкий сумрак зеленый  
 Разделен пополам.*

*Со стуком и скрипом плетутся вагоны.  
В коридоре – темно.  
И голос тут рядом, и смех заглушенный.  
Ясно в мыслях – одно.*

*Мелькают платформы, одна за другою,  
Вереницы огней.  
К ночному стеклу прикасаюсь рукою –  
Стало вдруг холодней.<sup>7</sup>*

В этом стихотворении с безымянными платформами еще нет навязчивой впоследствии черты юрмальских стиховых травелогов. Все локальные пеаны, по нашему предположению<sup>8</sup>, в большей или меньшей степени канонизируют «младшую линию», прикладную словесность – путеводители, писанные и неписанные словарики местных выражений, рекламные объявления, дорожные указатели и прочие образчики текстуальной изнанки городской сказки, «рецепты и счета», как называл это рижанин и дачник штранда Петр Потемкин<sup>9</sup>. Пригородные стихи возводят в перлы стихового творенья такой жанр повседневного чтения, как, говоря словами другого поэта, «поездов расписание». У Анны Таль магические цепочки<sup>10</sup> железнодорожной зауми<sup>11</sup>, звенящие фоносемантическим эхом<sup>12</sup> еще не участвуют в стихопорождении, как это потом стало принято у поэтов советских<sup>13</sup>:

*Гаснет день в вечернем пурпуре,  
Пассажилов меркнут лица,  
Где-то в Дзинтари иль Пумпури  
Я хочу остановиться<sup>14</sup>.*

Нанизывание цепочки дактилических варваризмов в такт перестуку колес для русской поэзии прошлого века предопределено волошинским «В вагоне» («Так вот в ушах и долбит, и стучит это: / Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...»)<sup>15</sup>:

*Дождь торопится по морю  
Словно конница по полю.  
Приближается к Болдури,  
Продвигается к Пумпури.  
Занавесить сумел уже  
Близлежащие станции.*

*Затуманил он Мелужи,  
Подбирается к Ассори.  
Он доскачет до Слоки,  
Круто кинется к Кеммери.  
День стемнеет до срока –  
На полдня раньше времени.  
Моря натиски бурные  
Встретят сосны, как надолбы.  
Рай на пляже у Юрмалы  
Закрывается надолго<sup>16</sup>.*

Ср. в стихотворении-обиде Нонны Слепаковой 1990-х о «многоэ-  
тажном вальяжном Доме Творчества»:

*О палдиес! Детское лишь наваждение –  
Залив, где решила купаться я.  
О слово янтарное «освобождение» –  
В глаза мне песком – оккупация!*

*О, в Булдури, в Майори, в Дубултах, в Кемери  
Я – только чужое исчадьё...  
Томление ястреба в комнатном кенаре  
Томилось. Раскрылось. Прощайте.*

*О, нынче одна у меня привилегия –  
Тебя не оплакивать боле.  
Германия пухом тебе и Норвегия,  
Куда ни приткнешься на воле<sup>17</sup>.*

В начале XX века ономастическая заумь взморского мира начина-  
лась уже со странного имени Аа<sup>18</sup>, которым открывались иные русские  
энциклопедии, имени неправдоподобного и для сегодняшнего глаза  
настолько, что публикаторы воспоминаний Даниила Жуковского,  
сына Аделаиды Герцык, о его детстве на взморье, глазам не поверили и  
заменяли его в тексте на «Ас»<sup>19</sup>.

Возвращаясь к отражению взморья между двумя войнами в русской  
поэзии, нельзя не вспомнить местного поэта, обретшего двусмыслен-  
ную привилегию взгляда со стороны – Игоря Чиннова, ностальги-  
ческому/антиностальгическому регистру которого («Пустынность.  
Тени. Присутствие небытия. Отсутствие счастья. Стандартные ива-

новско-адамовичевские ностальгические ноты»<sup>20</sup>) свойственна возгонка пляжного ландшафта до имматериальности:

*Я все еще помню Балтийское море,  
Последние дни перед вечной потерей.  
И кружатся звуки, прозрачная стая,  
Прощаясь, печалясь, печально сгорая.*

*Мы берегом светлым вдвоем проходили,  
Вода на песке становилась сияньем,  
И ясные волны к ногам подбегали,  
Прощаясь прохладным, прозрачным касаньем.*

*О, если б тогда, просияв на прощанье,  
Летейскими стали балтийские волны!  
О, если бы стал неподвижно-безмолвный  
Закат над заливом завесой забвенья!*

*А впрочем, я реже, смутней вспоминаю.  
Журчанье беспомыслия громче и слаще.  
И звуки теней над померкшей водюю  
Лишь шопот. Лишь шелест.  
Лишь шорох шуршащий<sup>21</sup>*

– хотя, заметим, что, вообще говоря, существует и противоположный конец ностальгического спектра – ср.:

*Есть две чужбины – Запад и Восток.  
Теперь я понял, почему лениво  
Вода морская в Хайфе на песок  
Выносит тину Рижского залива...<sup>22</sup>*

Еще одно припоминание о 1930-х – в стихотворении «Рижское взморье» уехавшей в Австралию Маргариты Кюзис-Дьяконовой:

*Красит закат рыжеватые сосны  
И неокрепший лесок.  
Два рыбака молчаливых выносят  
Сети сушить на песок.  
Море спокойно, и сизо, не сине,*



*Как в фимиаме алтарь.  
 Что еще можно добавить к картине  
 Недооцененной встарь<sup>23</sup>.*

К стихам-припоминаниям можно, в конце концов, присоединить стихи-предвосхищения, например, написанное в Париже в 1931 году:

*Я лежал на морском песке  
 На берегу, не известном мне,  
 Никого не помня и не видя  
 Обломок погибшего корабля.  
 И только крик чайки  
 В тот кораблекрушительный час  
 Доносился до тонкой грани  
 Потонувшей души моей.  
 И этот крик чайки  
 Над желтым неведомым взморьем  
 Связал непричастную душу  
 Со странным миром земным...*

Примечание составителя: «Это было видение того, что случилось почти тридцать лет спустя (в 1960 году) на Рижском взморье»<sup>24</sup>.

Метафизические валентности курортной марины обыграны в «Людях сентября» Александра Межирова, стихотворении, видимо, сознательно настроенном на разные степени поэтического «снижения» (от «Потом опустели террасы, / И с пляжа кабинки свезли...» Вертинского<sup>25</sup> до совсем уличного «С деревьев листья опадают – ёксель-моксель, – / Пришла осенняя пора...»):

*Мы люди сентября. Мы опоздали  
 На взморье Рижское к сезону, в срок.  
 На нас с деревьев листья опадали,  
 Наш санаторий под дождями мок.  
 Мы одиноко по аллеям бродим,  
 Ведем беседы с ветром и с дождем,  
 Между собой знакомства не заводим,  
 Сурово одиночество блюдем.*

<...>

*Мигает маячок подслеповато –  
Невольный соглядатай наших дум.  
Уже скамейки пляжные куда-то  
Убрали с чисто выскобленных дюн.*

*И если к небу рай прибит гвоздями,  
Наш санаторий, не жалея сил,  
Осенними и ржавыми дождями  
Сын плотника к земле приколотил.*

*Нам санаторий мнится сущим раем,  
Который к побережью пригвожден.  
Мы люди сентября. Мы отдыхаем.  
На Рижском взморье кончился сезон<sup>26</sup>.*

Уже раздавались напрашивающиеся призывы изучать дубултский период советской литературы<sup>27</sup> и грядущие старатели этой делянки найдут среди убежавших тленья и возникших здесь сочинений (как, скажем, прославленное Анной Ахматовой стихотворение Марии Петровых 1953 года «Назначь мне свиданье на этом свете...») немало стихоописаний окрестной местности, начиная с видов из окна Дома творчества<sup>28</sup>.

К примеру, этюд Елены Аксельрод о лютеранской кирхе (Базницас, 13) архитектора Вильгельма Бокслафа (1909)<sup>29</sup> по небрежности названной костелом:

*...В изменчивом свете отчетливы две вертикали:  
Угрюмый костел и подъемный заносчивый кран.  
Немало подобных закатов они повидали,  
Хоть храм не равняю я с краном, что юн и багрян,<sup>30</sup>*

или «Чистый и маленький рынок в Майори...» Константина Ваншенкина<sup>31</sup>. Воспеты многократно чайки – «Где больше гуся чайки на волне»<sup>32</sup> «Как статуэтки из севрского фарфора / на ножках – / красных камышинках»<sup>33</sup>, «О даль пеклеванная в тминном затмении! / О сливочно-плотные чайки!» в цитированной выше «Тоске по Юрмале» Нонны Слепаковой и т.д.<sup>34</sup>

Couleur local<sup>35</sup> работает на тот же идиллический топос<sup>36</sup>, (подкрашенный еще и мотивами возвращенной молодости и опасных связей:

*Мафусаил на Рижском взморьи  
 Всем перепутал возраста,  
 Где чертовщине всей раздолье —  
 Полусвободы маета.<sup>37)</sup>*

что и в латвийской столице. Обрывать эту тему, которая, несомненно, захочет продолжений, можно на любом месте. Можно, скажем, тогда и там, когда жарким августом 1965 года стоявшая два-три дня на улице Карла Маркса (Гертрудинской), д. 64, кв. 19 (вход с Авоту-Ключевой) Наталья Горбаневская написала:

*Окраины враждебных городов,  
 где царствует латиница в афишах,  
 где готика кривляется на крышах,  
 где прямо к морю катятся трамваи,  
 пришелец дальний, воздухом окраин  
 вздохни хоть раз, и ты уже готов,  
 и растворен навстречу узким окнам,  
 и просветлен, подобно крышам мокрым  
 после дождя, и все твое лицо  
 прекрасно, как трамвайное кольцо<sup>38</sup>.*

Впервые: Avoti: Труды по балто-российским отношениям и русской литературе. В честь 70-летия Бориса Равдина / Под ред. И. Белобровцевой, А. Меймре и Л. Флейшмана. Stanford, 2012.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. РО ИРЛИ. Ф. 44. № 27. Л. 1. Ср. о гибели Писарева и Владимира Смирнова-Халтурина: *Данин Д.* Бремя стыда. М., 1996. С. 69-70.

2. См. – из десятка иных примеров! – воспоминания композитора и поэта Владимира Дукельского о штранде в 1914 году: *Duke, Vernon.* Passport to Paris. Boston-Toronto, 1955. P. 20-21. Ср. также наш очерк о насельниках взморья в 1913 году (там же и написанные в том сезоне пляжные стихи латвийского уроженца Сергея Третьякова, и мемуарные строфы о Майоренгофе Игоря Северянина): Меллужское лето Всеволода Мейерхольда // Мейерхольдовский сборник. Вып. первый. Т. II. М., 1992. С. 85-93. См. замечания о словнике визитеров: *Тименчик Р.* Сон о книге//Даугава. 1995. № 2. С. 135-140.

3. *Свидерский Н.* Стихотворения. СПб., 1911. С. 35-37; любезно сообщено А.Л. Соболевым.

4. *Sub rosa: Аделаида Герцык, София Парнок, Поликсена Соловьева, Черубина де Габриак / Сост. Т.Н. Жуковской, Е.А. Калло. М., 1999. С. 238-239.* Обращение к взморским соснам спустя полвека находим у Н. Асеева (узнавшего хрестоматийное стихотворение Райниса о сломанных соснах «*Vējš augstākās priedes nolauza*») в цикле «Рижское взморье»: «Ветер, сосну шелуша...» (Огонек. 1947. № 12. С. 24). Строка из этого стихотворения «блещет страна латыша» вызвала отторжение Ариадны Эфрон: «Между прочим, “Латвия” звучит красиво, спокойно и даже торжественно. А “латыш” почему-то нет. Вам не кажется? Т.е. Вам определенно не кажется, потому что у Вас не про Латвию, а про страну латыша. Вот это самое “страна Латыша” не совсем доходит до меня. М.б. потому, что это не просто звучит, а м.б. потому, что это – просто непривычно, как, скажем, “страна русского” вместо России, “страна чеха” вместо Чехии и т.д. М.б. потому, что это скупо звучит – страна Латыша, пусть даже с большой буквы латыша. “Страна русских”, или “чехов”, или “латышей” – как-то просторней и шире страны одного-единственного символического Гражданина ее»; «Причем дело тут, видимо, только в самом слове “латыш”. Не в понятии, а в звучании. Короче говоря, сама не пойму, в чем дело. Со стихами – как с дружбой, с любовью: не в красоте дело» (*Эфрон А.* «Моей зимы снега...». С. 318, 321).

5. *Sub rosa.* С. 241.

6. *Герцык А.К.* Письмо к Вере Гриневиц от 28 мая 1913 года // *Сестры Герцык. Письма. / Сост. и коммент. Т.Н. Жуковской. М.; СПб., 2002. С. 120-121.*

7. *Таль А.* В пути: Стихи. Берлин, 1929. С. 11.

8. См.: *Тименчик Р.* Что вдруг: Статьи о русской литературе прошлого века. М.; Иерусалим, 2008. С. 111-112.

9. *Тименчик Р.* Петр Петрович Потемкин // *Родник.* 1989. № 7. С. 13.

10. См. о них у дачника конца девятнадцатого столетия: *Горный С.* [Оцуп А.А.]. 1. Рига... Торенсберг... Зассенгоф; 2. Каугерн; 3. На Взморье / Публ. Ю. Абызова // *Даугава.* 1989. № 2. С. 108. Заметим, что здешние дачные впечатления составили почву для поэмы его младшего брата Н.А. Оцупа «Балтийский песок» (Современные записки. 1929. № 39). Ср. в автобиографическом стихотворении последнего (1921):

*А летом балтийские дюны, янтари и песок и снова  
С молчаливыми рыбаками в синий простор до утра!..*

(*Оцуп Н.* Океан времени: Стихотворения; Дневник в стихах; Статьи и воспоминания о писателях / Сост. и вступит. ст. Л. Аллена; коммент. Р. Тименчика. СПб; Дюссельдорф, 1993. С. 36).

11. Напомним, что свое заузное стихотворение, построенное на сочетании звонких взрывных «б» и «д», любимых и в джазовом скэте (scat), линг-

вист Евгений Поливанов назвал «Дуббельн» (Поливанов Е.Д. Об общем фонетическом принципе всякой поэтической техники // Вопросы языкознания. 1963. № 1. С. 109).

12. См., например, фразу Ольги Берггольц: «О, я знаю, Рижское взморье, с такими булькающими названиями станций – Булдури, Дубулты, где утонул Писарев...» (*Шац-Марьяш Р.* Калейдоскоп моей памяти. Рига. 2003. С. 242). В академическом издании «Новой Библиотеки Поэта» булькающее название Булдури перевернуто и огрублено до тычка – Буддури (*Слепакова Н.* Стихотворения и поэмы. СПб., 2012. С. 233, 350). См. также о слове «Дубулты» – «Звук бултыхнувшейся в воду бутылки» (*Матвеева Н.* Залив // Москва. 2012. № 7. С. 4). Ср. опыты толкования топонимики – стихотворение «Юрмала», посвященное некому Юрию: «Ах, Пумпури... Что это значит? / <...> / Как странно...это побережье / Созвучно с именем твоим» // *Никитина Т.* Перекрестки. Л., 1977. С. 67; «Pumpuri» значит «почки», соответствующая станция была названа так в 1939 году вместо «Меллужи I», этимология которого неясна и, возможно, связана со словом «mellene» – черника; «юрмала» – берег моря); «Юрмала, ты окружал, опоясывал / Музыкой сна, что приснилась мне на море. / Кто изобрел эту звукопись?...Асари, / Меллужи, Вайвари, Пумпури, Майори. <...> Латвия, в раковинах подсмотрела ты /Звуков игру. Заколдуют всех нас они. / Латвия – льются названия: Лиелупе.../ Будто ты жемчуг рассыпала: Асари.../ Кроме мельканья словесной той удали, / Есть тут волна, что не пеною на море: / Твердость гранитная – Дубулты, Булдури. / Юрмала – звон серебра, что на мраморе» (*Окунев Ю.* Власть лирики: Книга стихов. М., 1979. С. 193); см. там же (С. 187): «Звенящее так странно – Дзинтари». Ср. также о следующем за Юрмалой Тукумском взморьи: «...маленькое село Кестерциемс. “Село Кестера”, если рискнуть перевести. Но кто такой Кестер?... Может быть, Kezter» (*Vokov, Nicolas.* La déjeuneur au bord de la Baltique (Обед на побережье). Gagny, 1998. С. 25; «кестерис» – дьячок, пономарь, причетник).

13. Ср. перенос приема перечня и на северное, видземское взморье в стихотворении витебского поэта «В электричке»: «Удивленный, снова глядишь ты, / как луна выходит из гавани. / Проводник объявляет по-латышски / станции: / – Лиласте! / – Гауя! / Скоро Пабожи – их младшая сестричка, / где ты счастьем болен, как корью... / Августовской звездой электричка / пролетает по Рижскому взморью» (*Симанович Д.* Равноденствие. М., 1966. С. 63; название счастливой станции запомнено со слуха, правильно – «Пабажи»). На этом же взморье сочинен (1972) хвалебный гимн станции Саулкрасты, переведенной из дактиля в амфибрахий, рифмуемой с «была в раю хоть раз ты» (*Чичибабин Б.* И все-таки я был поэтом. Харьков, 2002. С. 154).

14. *Азаров В.* «Эти маленькие станции...» // *Азаров В.* Роза ветров. Л., 1982. С. 94.

15. Ср. у Брюсова: «Милый Макс! Да, ты прав! Под качанье рессор / Я,

как ты, задремал, убаюкан их “титатью”» (*Брюсов В. Собр. соч. в 7 тт. Т. 3. М., 1974. С. 323*).

16. *Львов М. Избранные произведения в 2 т. Т. 2: Стихотворения 1965-1980. М., 1980. С. 334-335*; имена даются, как принято говорить, в авторской редакции.

17. *Новый мир. 1996. № 5. С. 94*; *Слепакова Н. Полоса отчуждения. Смоленск, 1998. С. 153*. Латышское «paldies» («спасибо») мы не раз встречаем в русском стихе – например, «Лиго! слышится в каждом доме. / Лиго! Палдies, биедри Сталин!» (*Вечтомова Е. Улица звезд: Стихи. Рига, 1951. С. 55*; «ligo» – припев праздничной песни Янова дня – императив глагола «качать(ся)». Этот главный латышский праздник был воспет русским амфибрахией в 1915 году в минском альманахе «Провинциальная луна» – стихотворением А. Эльперина «Ночь накануне Яни Лиго (На Бебербекском озере, близ Риги)»: «Огни отражались в темнеющей глади, / Ивановой ночи цветные огни, / И древней легенды волшебные пряди, / Как будто во тьме расплетали они» и т.д.

18. Ср. о «реке со смешным названием А-А» (*Варшавский В. Ожидание. Париж, 1972. С. 13*); см.: «Аа (Ах, Аах, древненем. Аһа, датск. Аа – «вода», лат. Аа, название многих рек в Германии (*Вестфальская А.* – приток Верры и др.), Швейцарии (*Сарнская А.* и др.) и соседних странах (во франц. Фландрии А. впадает в Ламанш); в России: в Курл. и Лифл. (см. *Больдераа, Трейдераа, Ливенаа*)» (*Большая Энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. Т. 1., СПб., 1896. С. 1*). Упоминаемая здесь *Больдер-Аа, рукав Аа Курляндской*, дала название местечку, как-то мелькнувшему в русской прозе: «Ты Уругвай знаешь? А Парагвай? Ну, так вот – я из Болдерая» (*Малер И. Пятак (Повесть о безмятежной юности) // Континент. № 43. 1985. С. 54*). Ср. остранение Аа Лифляндской, Лиелупе тож, Виктором Шкловским в письме к Виктору Конецкому от 9 ноября 1978 года: «Живем мы под Ригой в Дубултах. Это на дюне у самого Рижского залива. Высокий дом – девятый этаж. Из окна виден и залив, и сильно запутавшаяся вокруг отмели река. Говорят, она длинная. Знаю, что она себе надоела и хочет куда-нибудь впасть. А дюны не пускают» (*Северная Аврора. 2005. № 2. С. 195*).

19. *Жуковский Д. Под вечер на дальней горе... Мысли о детстве и младенчестве // Новый мир. 1997. № 6. С. 105-107.*

20. *Плюханова М.Б. Игорь Чиннов как «последний парижский поэт» // Europa Orientalis. 22/2 (2003). Р. 232.*

21. *Новый журнал. 1958. № 59. С. 67.*

22. *Шварцбанд С. Схолии. Иерусалим, 2002. С. 22.*

23. *Дьяконова М. Как это перенести?: Стихи. Австралия, 1965. С. 10.*

24. *Голенищев-Кутузов И. Благодарю, за все благодарю / Сост., подгот. текста, прим. И. Голенищевой-Кутузовой. Pisa-Томск-М., 2004. С. 119.*

25. См., кстати, стихотворение *В.Н. Орлова (1954) «Дубулты. Концерт Вер-*

тинского» (РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед.хр. 1. Лл. 324-325). См. воспоминания о концерте Вертинского на взморье: «Первое отделение – песни по программе, второе – по заказам зрителей. Все великолепно. Неожиданно группа “темных зрителей” заказывают Вертинскому песню “Журавли”. Помните: “Здесь под небом чужим я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...”. Кричит чуть ли не весь зал: “журавли, журавли”! Вертинский долго не появлялся, потом вышел и с негодованием произнес: “Никаких журавлей у меня нет, это продукция господина Лещенко” (*Кастер Е.* Записки конструктора: главного и неглавного. Рига, 2006. С. 202; песня приписывалась Петру Лещенко в послевоенной Москве; в основу текста положено стихотворение А. Жемчужникова). О житее семьи Вертинских на взморье см.: Солдатова Е. В земляничных Дубултах // Вести Сегодня (Рига). 2014. 29 августа; записала Ю. Александрова. Как помнится автору настоящей статьи по детским воспоминаниям, один год Вертинские жили в Яундубулты на улице Вентас.

26. *Межиров А.* Тишайший снегопад. М., 1974. С. 75-76. Рижское взморье в «несезон» воспел К. Паустовский в очерке «Ветер скорости (Из путевого дневника)» о своей поездке 1954 года: «Три обстоятельства ощущались сейчас в Дубултах, почти как счастье: покой, сосредоточенность и возможность в любую минуту выйти в парк, где все шуршит и вместе с тем все дремлет в легчайшей воздушной мгле. Мгла эта наплывает с Рижского залива. До него – несколько шагов. Он пустынен, тих. На песчаном дне видна рябь, похожая на рыбью чешую. Низкие берега исчезают в тумане. Ветра нет, но все же изредка откуда-то потянет солоноватым запахом открытого моря. Пески перемыты прибоем. На них ничего не осталось от многолюдного и шумного лета. Валяется только промокшая обертка от “Беломора” да обрывок афиши о концерте тенора Александровича. Пляж отдыхает. Крошечные сосны смело выглядывают из-за песчаных нор. Там они прятались летом, боясь, что их затопчут» (*Паустовский К.Г.* Собр. соч. Т. 6. М., 1958. С. 561).

27. Интересные детали жизни первого сезона (август 1946 года) зафиксированы в скрупулезном дневнике Ивана Никаноровича Розанова. В тот месяц там жили С. Спасский, Л. Брик и В. Катанян, Н. Асеев с женой, П. Лавут, И. Нусинов, М. Светлов, Е. Гунст, О. Берггольц, Г. Макогоненко, В. Нечаева, Н. Анциферов, В. Орлов, семья М. Шац-Анина, Вс.В. и Т.В. Ивановы и их сын. 21 августа отмечали день рождения Вяч.Вс. Иванова. 12 августа устроили вечер памяти Блока. 13 августа обсуждали статью в газете «Культура и жизнь»: «Что обругали: 1) Зоценко 2) Крокодил 3) Всев. Иванова 4) С. Спасского, 5) “Звезду” 6) Ахматову». Когда появилось Постановление ЦК (в дневнике оно названо «приказом»), И.Н. Розанов отметил: «Молодежь. Усиевич (дочь) удручает отношение к Ахматовой» (НИ ОР РГБ. Ф. 653. К. 5. № 7. Лл. 132-141). О послевоенном освоении взморья москвичами ср.: «В начале пятидесятых, как и в конце сороковых, мало кто мог позволить себе такую роскошь, как



поездки летом на Юг или на возникшее Рижское взморье. Про тех, кто туда устремлялся (а это было модно), в Коктебеле сочинили песенку:

*Кто не хочет жить на просторе,  
кто хочет тешить спесь,  
едет пусть на Рижское взморье, –  
снобам не место здесь.*

И все же эти снобы отличались от первых варварок, оказавшихся в Риге сразу после войны и разгуливавших по городу в скупленных и принятых ими за вечерние платья немецких кружевных ночных рубашках на потеху местным жителям, хоть им тогда было не до смеха» (*Баранович-Поливанова А.* Оглядываясь назад. М., 2001. С. 154). Из немалочисленных мемуаров о Доме творчества см., например: *Шац-Марьяш Р.* Калейдоскоп моей памяти. С. 228-231. Там среди прочего отмечена приехавшая с двумя сыновьями З.Н. Пастернак: «Она была подчеркнута сдержанна, держалась обособленно и внешне сильно отличалась от многих писательских жен: одета скромно, неприметно. Вокруг нее тогда была некоторая стена отчуждения – Пастернак уже был в опале» (С. 229-230). Интересный материал из истории Дома творчества содержится и в мемуарной книге Виктории Тубельской «Сталинский дом» (Рига, 2012). См. также: *Гайлит Г.* Мальчик на дельфине: Воспоминания и размышления. Рига, 2013. С. 97-119; *Турков А.* Что было на веку...: Страницы воспоминаний. М., 2009. С. 73-74.

См. картинки из жизни Дома в начале 1950-х:

– Глядите, уже выучились по-русски говорить! – замечает вдруг писатель Кочетов.

– Да, а как спросишь, куда пройти – “Нье понимай!”. Ничего “нье понимай”, – подхватывает его жена. <...> По вечерам, после ужина, весь дом творчества выходит на берег смотреть закат. Это правда очень красиво – солнце становится такое огромное, темно-красное, нет, пурпурное, и мягкое, податливое, как будто оно из пластилина, плющится, тоненькие прозрачные облака собираются над горизонтом, золотисто-малиновые и капельку сероватые, перламутровые, солнце окунается в них, касается воды – самым краешком, одной точечкой, сливается с морем, вода выгибается ему навстречу, спешит пристать, прилипнуть к нему. Море вспыхивает, делается ярким, веселым, розовые полосы разбегаются во все стороны, солнце медленно-медленно погружается в это розовое море и наконец совсем исчезает. А вода еще светится, трепещет и светится...» (*Шенбрунн С.* Розы и хризантемы: Глава из третьей части романа // Иерусалимский журнал. 2009. № 32. С. 77, 96). См. также стихотворение «Из Дубулты» («Мариэтта Сергеевна, когда уставала от вздора...»): *Дозорцев В.* В ожидании суда. Рига, 2007. С. 30-31. О последующей судьбе Дома см.: *Фаст Т.* Печали Дубултского дома // Литературная газета. 1994. 17 августа.



28. См., например, в одном из многих латвийских стихотворений (1946) литературоведа Владимира Орлова:

*Казалось, я почти утратил  
С живой землей живую связь.  
А в тишине разумный дятел  
Долбил сосну, не торопясь.*

(РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 292).

29. Юрмала: Природа и культурное наследие. Рига, 2004. С. 218-219.

30. *Аксельрод Е.* Закат в Дубултах // День поэзии 1979. М., 1979. С. 136. См. также ее цикл «Ветер в Юрмале» (*Аксельрод Е.* Меж двух пожаров: Стихи разных лет. М., 2010. С. 78-87) и описание юрмальского июня 1977-го: *Аксельрод Е.* Двор на Баррикадной: Воспоминания, письма, стихи. М., 2008. С. 472-474. Например: «Море на закате одурающе благоухало, а закат поздний – часов в 11. В песке, точно пуговицы, алели божьи коровки».

31. Там «... электричка из Риги / Круто бежит по приречной дуге» (Новый мир. 1976. № 12. С. 12). См. также его стихотворения «Прибалтийского пляжа / Уплотненный песок...» (Дружба народов. 1984. № 12. С. 4), «О, сероглазая Прибалтика, / Янтарно-желтый поясок, / К заливу хмурому прибавьте-ка / Кривые сосны и песок» (Знамя. 1985. № 12. С. 6).

32. *Давыдов С.* На юрмальском осеннем берегу... // Аврора. 1987. № 3. С. 60.

33. *Соснора В.* Балтийское утро // Аврора. 1973. № 5. С. 46. См. также «Чайки в Дубултах» (*Пагирев Г.* Третья жизнь: стихи из разных книг. М., 1984. С. 177). По поводу титула этого и других стихотворений см. замечание Л.И. Пантелеева: «Давно уже и повсеместно руссифицируются у нас иностранные собственные имена. Окончания, напоминающие русское множественное число (Дубулты, Териоки, Келломяки), дают основание (но не право) обращаться с этими географическими названиями на русский лад: – В Териоках, в Келломяках, в Дубултах...» (*Пантелеев Л.* Из записных книжек (1948-1978) // Звезда. 2013. № 8. С. 114).

34. См., например, «Девочка и чайки» Н. Старшинова (День поэзии 1973. М., 1973. С. 92-93; «Юрмала» Майи Луговской (День поэзии 1982. М., 1982. С. 135). Приведем также строфы из перепева «Писем римскому другу» у Ильи Асаева (1989): «Здесь весна. И, вероятно, вскоре / Телу станет радостна прохлада. / Глядя с дюны в небо или в море, / Кажется, что большего не надо. / Чайки. Лес. На берегу пологом – / Сосны. Гладкий мох разросся дымно. / Здесь не быть, по меньшей мере Богом, / Если не смешно – то просто стыдно» (*Асаев И.* Мы затеяли жить... Рига, 2012. С. 58).

35. Примеры наугад: «Сорок видов деревьев на Рижском взморье...» (1977) Владимира Британишского (Звезда. 1998. № 8. С. 21), «Старинные латвийские дома, / Украшенные грубою резьбою...» Беллы Дижур (Урал. 1989. № 3. С. 64), «Заморская готика тихих поселков / сквозь стекла просвечивает

огнем...» Сергея Мнацаканяна (*Мнацаканян С.* Вздох. М., 1980. С. 41); «... Пять лебедей у кромки Рижского залива... / ...В том теплом и бесснежном январе...» («и, как велит обычай, / швыряем в воду монетки, / готовясь уже уйти...») Юрия Левитанского (*Знамя*, 1991. № 4. С. 48); «...по веткам сосен белка скачет / комочком рыжего огня... / (Их уйма тут – на рижском взморье...») (*Баух Е.* Превращения. Кишинев, 1973. С. 21; с неудачным сдвигом). Одним из самых частых является упоминание о примете страны гипербореев – ископаемой смоле (см., например, «Янтарь» Е. Вечтомовой: Вечтомова Е. Улица звезд: Стихи. Рига, 1951. С. 93-94). Ср. в капустнике Рижского ТЮЗа (1960-е) пародию на «латвийский топос»: «Посмотри на календарь: / время собирать янтарь».

36. См. особенно стихотворение Виктора Бокова «Не веселье привез я / На Рижское взморье...» (1955), описывающее состояние мира и автора после смерти Сталина: «А в заливе спокойно, / Солнце тихо притронулось к дюнам. / И свободно, свободно / От рабства проснувшимся думам. / Тонет парус вдали, / А залив бронзовеет телами...» (День поэзии 1988. М., 1988. С. 58-59). Ср. также идиллию 1947 года: «Рижское взморье. Мои детские воспоминания. Бесконечный пляж, серое море (то самое, что у Серова в картине, где два мальчика в матросках), чайки, сосны, сосны, сосны. Мои первые шаги здесь, сначала неопытные, одинокие. <...> Концерты в Дзинтари – в курзале.<...> Деревянный, как бы полированный зал, такой я всегда представлял себе Скандинавию.<...> Рижский рынок. Изобилие мяса, масла, овощей, копченой рыбы. Молочный ресторан – телятина и кефир. И снова рижские бульвары и парки. Старый город – Рига прошлых веков. Почти разбитая артиллерийским обстрелом, но все же такая прекрасная, похожая на мое представление о чем-то прошедшем.<...> А за несколько дней до этого на той же Викториас вечер поэзии. Г. Иванов. Ходасевич. Гумилев. Пастернак. Мандельштам. Мои утренние купания. Пустынный пляж, солнце, бесконечное море. <...> Утренняя разминка и бег по берегу. Как хорошо! <...>. Зеленый сыр!» (*Арбузов А.Н.* Воспоминания и размышления. СПб, 2013. С. 319-321).

37. *Чертков Л.* Стихотворения. М., 2004. С.65.

38. *Горбаневская Н.* Побережье. Анн-Арбор, 1973. С. 69. Об истории появления этого стихотворения см. рассказ С. Чернобровой в кн.: *Улицкая Л.* Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. М., 2015. С. 168.

P.S. Когда эта статья была впервые напечатана, меня поблагодарила за то, что я воспроизвел стихотворение Наума Коржавина «Братское кладбище в Риге», моя многолетняя приятельница и незаменимая помощница во всех моих филологических штудиях, однокашница по Латвийскому университету и библиограф Национальной библиотеки, в которой человеческая чистота и доброта сочеталась с неподдельной и всезаполняющей любовью к культуре, – Вероника Александровна Тихомирова, урожденная Круглевская (1939-2016), мир ее прекрасной душе.

## **ВОЛЬДЕМАР ЗАККИТ И ЕГО ВЕРСИЯ ЛЕГЕНДЫ ОБ УТЕСЕ СТАБУРАГС**

*В процессе работы с фондами архивов Республики Башкортостан была обнаружена рукопись с рассказами и стихами Заккита Вольдемара Карловича, арестованного в январе 1943 г. по обвинению в антисоветской деятельности. В рукописном сборнике среди прочих произведений (многие из которых автобиографического характера) была обнаружена легенда об утесе Стабурагс, написанная В.Заккитом на основе народных преданий и поверий в феврале 1924 года в г. Екатеринославе (в настоящее время – Днепр, Украина). Эта легенда может представлять особый интерес для латвийского читателя.*

*Родился Вольдемар Заккит 28 декабря 1886 г. в Риге в семье зажиточного латышского крестьянина, в хозяйстве которого имелось 560 десятин земли, до 40 дойных коров, свиньи, лошади, мелкий домашний скот, паровая машина и т.д. Кроме того, его отец был компаньон-арендатором пивоваренного завода в г. Валка. Детство Вольдемара прошло в усадьбе отца. В 1903 г. он окончил среднюю школу в г. Юрьев (в настоящее время – Тарту, Эстония). Отец мечтал видеть сына пастором, но у молодого человека были другие планы, он хотел стать инженером-строителем. В 1904 г., не получив родительского согласия, Вольдемар поступает на строительный факультет политехнического института в Санкт-Петербурге, где примыкает к революционному студенческому движению. Он занимается литературным творчеством, пишет очерки по истории и быту Латвии, которые передает в редакцию газеты «Искра». После года обучения его отчисляют из института за неблагонадежность. Дальнейшее обучение Вольдемара проходило на химическом факультете Рижского политехнического института, по окончании которого в 1911 г. он уезжает в г. Санкт-Петербург. Именно Санкт-Петербург становится для него постоянным местом жительства и работы. После Февральской революции, по приглашению А.Луначарского, Заккит Вольдемар Карлович служит контролером Петроградского городского казначейства, а затем становится помощником коменданта революционной охраны в Спасском районе города.*

*К тому времени хозяйство отца уже было разорено отступающими немецкими частями. Сам же отец погиб еще в 1914 или 1915 г. при взрыве котла на заводе фруктовых вод. С начала 1920 г. Вольдемар Заккит служит в Красной армии на Кавказе, занимается саперными и строительными работами. Уволившись в октябре 1922 года со службы, проживает в различных городах СССР, работая в основном в строительстве. Именно в этот период им написано большинство рассказов и стихов, включенных в рукописный сборник. С октября 1932 г. Вольдемар Карлович проживает в г. Туансе, где 26.07.1935 г. его арестовывают и Особым совещанием при НКВД СССР осуждают на 5 лет лишения свободы якобы за «контрреволюционную деятельность».*

*Отбывал наказание Вольдемар Карлович на строительстве Беломорско-Балтийского канала. После освобождения в августе 1940 г. выехал в Иглинский р-н Башкирии, куда была сослана его семья. Работал техником-сметчиком на Тавтимановском керамическом заводе. Основанием для ареста уже в январе 1943г. стали публичные критические высказывания Заккита В.К. о достоверности сводок Информбюро и публикаций в средствах массовой информации. Умер он в том же году в тюрьме от воспаления легких.*

*В примечании к легенде В.Заккит описывает особенности скалы и в частности пишет: «...самое удивительное, что первый обрыв скалы произошел как раз в тот момент, когда первые немецкие суда подплывали к Стабурагсу для завоевания Латвии, что дало повод моей фантазии для составления легенды».*

## СТАБУРАГС

На берегу Даугавы, высоко поднимаясь над окружающей местностью, как почетный страж маленькой Латвии, стоит одинокий утес Стабурагс. Стоит он уже много веков. Являясь немым свидетелем жизни многих поколений, он мог бы рассказать всю историю маленького народа.

Издравле с гордостью взирал он со своей высоты на священные рощи, где в угоду богам курились неугасно костры, охраняемые жрецами; на поля, где трудолюбивые обитатели страны весело работали под защитой верных своему долгу рыцарей.

Свой досуг и празднества эти дети природы умели заполнять красотой и непринужденным весельем. Себя и свои жилища они украшали цветами и зелеными ветвями, всюду звучали песни, звуки лютни и цимбал. Ярче вспыхивали тогда священные костры, рыцари устраивали турниры и военные игры, и вся страна тогда превращалась в волшебно-сказочный мир.

Потом увидел Стабурагс, как со стороны захода солнца пришли какие-то люди в длинных черных мантиях и стали рассказывать обитателям маленькой страны про неведомого им бога, который будто бы спустился с неба на землю и умер здесь, распятый на кресте, скорбя за души грешных людей. Черные пришельцы умели мастерски рассказывать и жители страны со слезами умиления слушали красиво-скорбные сказки о страданиях и смерти бога за человечество. Они охотно позволяли совершать над собой обряд крещения, чтобы этим облегчить загробные страдания умершего бога, как уверяли их черные люди. Они толпами ходили к Стабурагсу и спускались за крещением в прохладные воды Даугавы, омывающей подножие утеса. И каменное сердце утеса радовалось за этих добрых людей, которые крестились из сострадания к чужому богу.

Но людям в черных мантиях этого оказалось мало. Они стали угрожать жителям маленькой страны, чтобы те сожгли своих богов и признали только их бога. Такие кощунственные речи не нашли отклика в сердцах добрых людей. Возмутившись святотатственным призывом, они решили убить иностранцев, дерзнувших восстать против их богов.

И тогда выступил старейший из народа – Вакем Иманта, решениям которого вся страна подчинялась беспрекословно. Он сказал: «Наши боги живы, а их бог уже умер, поэтому не убивать, а пожалеть их надо. Но так как они не умели ценить гостеприимства вашего, то выгоните их из своей страны, чтобы избежать раздора в будущем».

И люди в черных одеяниях покинули страну... Но досадно им было уйти с пустыми руками из страны, где они видели столько богатства. Поэтому, вернувшись домой, они своими рассказами постарались возбудить в своих соотечественниках алчность и убедить их силой завладеть богатствами маленькой страны. И скоро по голубым волнам Даугавы уже неслись в Латвию корабли врагов.

Видел Стабурагс со своей высоты приближающегося врага, видел мирно работающих на своих полях жителей, не подозревающих о близкой опасности, и хотелось ему крикнуть: «К оружию, добрые люди! Защищайтесь!». Но каменные уста утеса не могли издать живого звука, и решил он действовать самостоятельно. Стабурагс отделил огромные куски от своего каменного тела и бросал в реку у своего подножия, чтобы преградить путь вражеским судам. Земля стонала от падающих каменных глыб. С бешеным ревом воды реки искали прохода между преграждающими путь камнями.

А прибежавшие на шум люди с суеверным ужасом смотрели, как стоявшая раньше вертикально каменная стена все больше наклонялась над рекой и с вершины утеса один за другим отделялись огромные камни и быстро заполняли русло реки.

Но врагов это не остановило. Они, доехав до Стабурагса, высадились на берег и с оружием в руках напали на жителей страны. Много добра было разграблено, много сожжено, много храбрых рыцарей пало под мечами варваров. И от величественных замков остались только печальные руины, которые, как мрачные памятники начала рабства и угнетений и поныне видны по всей Латвии.

И дрогнуло каменное сердце утеса, и камень заплакал!.. С тех пор прошло уже семь веков, а Стабурагс и донныне плачет холодными безотрадными слезами. Он ждет не дождется освобождения своей страны от рабства. И через каждое столетие бесплодных ожиданий в отчаянии рвет, как прежде, свое каменное тело, бросая оторванные куски в реку. А затем снова ждет, обливаясь слезами. И не перестанет он плакать до тех пор, пока Латвия не освободится от сковывающих ее цепей, и маленький латышский народ, изгнав варваров из своей страны, не заживет снова мирным трудом и беспечным весельем.

## «КУЛЬТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА» В ПОЭЗИИ ЕВГЕНИЯ ШЕШОЛИНА

### 1. УРОЖЕНЕЦ ЛАТГАЛИИ

Поэт и переводчик Евгений Шешолин родился в Краславе в 1955 году. Он рос в Резекне, учился в Ленинграде и Пскове, трагически окончил свои дни в Даугавпилсе 28 апреля 1990 года, выпав из окна. Причины его смерти до сих пор остались невыясненными. И стал он им, возможно, потому, что его всегда тянули иные культуры и другие берега.

Евгений Шешолин не был популярен при жизни, хотя совершенно неизвестным автором его назвать трудно. В 1970-е годы, как отмечал друг поэта Мирослав Андреев, в Ленинграде «Евгений знакомится ... с приятелем Иосифа Бродского, поэтом Олегом Охупкиным, широко печатавшимся в самиздате и за рубежом». Появляется идея сделать свой самиздатовский сборник.

Мирослав Андреев отмечал: «В мае 1980-го и состоялся первый номер альманаха «Майя» во главе с соучредителями и соредакторами Евгением Шешолиным, Александром Нестеровым (Соколовым) и Мирославом Андреевым, а Олег Охупкин, знакомство с которым было как бы последним толчком, переслал наше детище в США Константину Кузьминскому, который и опубликовал его в одном из томов «Голубой Лагуны» (русская поэзия после 17-го года, не печатаемая на родине) и дал обзор альманаха в интервью «Голосу Америки». Это был поворот в судьбе поэта.

Поворот был закреплен в 1983 году публикацией в псковской газете стихотворения «Весенний акростих». Невинное название указывало на первые буквы строк, которые складывались в «Христос Воскрес». Пасхальная тематика в то время никак не способствовала продвижению автора в советской печати.

Жизнь во Пскове была трудной и неудобной. Поэт Артем Тасалов писал об этом периоде жизни Шешолина: «Как-то незаметно и безнадежно он отчаялся. Несложившаяся семейная жизнь, полное отсутствие какой-либо социальной защиты, все эти комнатки-крохотули в



частном секторе, все эти фанерные сторожки, пропитанные ввевшейся грязью, жизнь часто чуть ли не впроголодь и, наконец, эта удушливая атмосфера подпольного быта лагеря развитого социализма эпохи Застоя и первых лет Перестройки, – все это вместе и порознь давило на его широкую и все более сутуливавшуюся спину. Добавим, впрочем, и олимпийское равнодушие к его творчеству «официальных органов» советской культуры. И хотя смерть его была трагической и безвременной, но случайной ее, увы, нельзя назвать...»

Наследие Евгения Шешолина начали изучать в начале 90-х годов прошлого века. Свой вклад внес и Даугавпилсский университет. При деятельном участии профессора Ф. Федорова в 2005 году прошла большая международная конференция. Под редакцией А. Белоусова и Ф. Федорова был издан сборник статей «Евгений Шешолин: судьба и творчество». В этом же, юбилейном для поэта, 2005 году увидел свет сборник его стихотворений «Солнце невечно» с предисловием А. Белоусова.

Жизнь Шешолина была связана с Резекне и Псковом, эти города также являются центрами изучения его творчества. Большой том «Измарагд со дна Великой» (Стихи, проза, письма): из разных тетрадей» был выпущен в 2014 году в Резекне. В него вошли архивные материалы, фотографии (составители – псковский исследователь Дмитрий Прокофьев и сестра поэта Галина Маслобоева-Шешолина). Архаично звучащее название книги придумано в 1980-х годах самим поэтом для своего будущего сборника.

## 2. ТОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ

### Е. ШЕШОЛИНА

Встреча разных культур в стихах Шешолина отражает события его жизни – каждая из них образует особое культурное пространство в его стихах, и эта топология может быть рассмотрена как единая структура.

Термин «культурное пространство», во-первых, может быть понят семиотически. Условия его применения не описываются законами построения внутреннего мира литературного произведения. (Лихачев 1968: 76) Пространственные объекты, включенные в тот или иной культурный контекст, их имена, представляют собой достаточ-



но свободно организованную систему своеобразных «семантических сносок», каждая из которых указывает на область смыслов, образуя, в итоге, «культурную географию» художественного сознания автора. Этот семиотический аспект термина восходит к размышлениям Ю. М. Лотмана о преобразовании культурой реальной местности. *«Научное мышление Нового Времени изменило переживание географического пространства. Однако асимметрия географического пространства и тесная связь его с общей картиной мира приводит к тому, что оно и в современном сознании остается областью семиотического моделирования. <...> География исключительно легко превращается в символику».* (Лотман 2000: 304)

Думается, что общий принцип, свойственный культуре в целом, проявляется и на уровне авторского мышления – разве что в обратной перспективе. Художественный мир произведения, рассмотренный как особым образом организованная реальность, позволяет выявить координаты культурных предпочтений автора.

Анализ тематического субстрата позволит лучше понять осознанно развиваемые автором темы, и, самое сложное – помыслить все творчество автора как единый текст, как интенцию, тяготение к некоторым метасмыслам. Другими словами, разбор «культурных пространств» – занятие служебное и где-то вспомогательное. Личная география должна мыслиться как этап установления тематического единства сверхтекста художника.

Будучи по образованию учителем географии и биологии, Евгений Шешолин обнаружил внимание к древнему Востоку; среди близких ему поэтов есть представители акмеистической традиции – Мандельштам, Гумилев, Бродский. (Тасалов 2005: 246, 249). Католик по рождению, присоединившийся к православию в зрелом возрасте (Нестеров 2005: 62), Е. Шешолин заключал две культурные традиции – его отец был с Поволжья, а с материнской стороны вычерчивалась близость к Польше. (Рогинский 2005: 105). В целом же, Шешолина действительно тянуло вправо по географической карте, западное культурное влияние значит для него гораздо меньше восточного.

Вместе с тем, одним из важнейших «культурных пространств» в его стихах была католическая Польша, наглядно раскинувшаяся в границах родной Краславы, и выходящая далеко за пределы провинциального города. В качестве примера, следует назвать тексты «Fides implicita», «Старая Краслава», «Католическая месса», «Речь Поспо-

литая», «На польском кладбище, венчая прах...», «Костел красного кирпича», «Рельеф», «Бахчисарай ночью», «Неправильный сонет». Маркером этого информационного поля может выступать узнаваемая транскрипция имени Христа:

*«О Езус, сохрани и огради; –  
Как быстро солнце за Двину садится!» (29)*

Столь же значимо именование храма – костел. Польша, в большей степени, пространство религиозное, понятное, при этом, как родное, семейное. Отсюда – посвящение процитированного стихотворения: «Памяти бабушки Марии». Костел сопровождается эпитетом «белый», что, с одной стороны указывает на его реальный цвет, а с другой стороны вводит символику высшего, духовного начала. Этот цвет естественно рифмуется у Шешолина с березами:

*«А по дороге к белому костелу  
Шагов не слышно и возила трава,  
Стоят березы, затаив слова». (29)*

Белый костел противопоставлен повседневной речи, развлечению, он синонимичен поэзии и сосредоточенности:

*«И бездумная цветная проза  
За калиткой слышится любой  
По дороге к белому костелу». (30)*

Костел является способом выхода – через вертикаль – к связям с западной частью католического мира. Краков, Варшава и Рим существуют там, на мировых дорогах, здесь же – в «игрушечной» Кракове достигнута вынужденная автономия «белого барокко» (31). Отсутствие горизонтального сообщения культуры имеет свое преимущество. Провинциальный статус «маленького органа» оборачивается независимостью и духовной свободой. Речь Посполитая, в итоге, находится здесь, рядом, возможно, именно в провинции она сохраняет свою экзистенцию:

*«Солнце не вечное,  
Сонь огуречная,  
Речь Посполитая.  
Солнцем залитая». (35)*

Костел из красного кирпича актуализирует тему мирового искус-

ства. Оставаясь указателем на присутствие Польши в провинциальном городе, он вызывает культурные ассоциации:

*«Рукой оформленный могучий утес Исаакия;  
Домский, одетый в лоскуты эпох,  
И Рипсимэ, скромно не заметившая  
свои пятнадцать веков;  
храм Анны, где кирпич  
успешно состязается с веревкой...» (37)*

Возможна также переключка через прямое обращение к польской литературе – так, «Бахчисарай ночью» (122) посвящен Адаму Мицкевичу. Инокультурная тема вводится в польский контекст.

Другая важная для Евгения Шешолина отсылка – кладбище. Сонет «На польском кладбище, венчая прах...» (36) утверждает пространственную вертикаль. Ангел, стоящий на горке, высь небосвода над ним и непорочно звучащий голос зарастающей могилы являются условиями связи поколений.

С Польшей в родной Латгалии соседствует еврейское «культурное пространство».

*«Там, где немного пахнет Ригой  
Можно встретить старую еврейку...» (42)*

Связь с «древними странами» проявляется у соседей по городу в каждом моменте их повседневной жизни. Повседневное сильнее великого прошлого, вернее сказать – оно реальнее, страшнее, в этом смысле; однако постоянное сравнение со значительными событиями из истории Иудеи позволяет лирическому субъекту считать современных евреев воплощением инвариантных образов. Таковы, к примеру, стихи «Еврейское кладбище», «...Теперь они с Моисеем...», «Моисей – дурачок с базара...».

Собственно латышское культурное пространство у Евгения Шешолина вводится через фольклорные мотивы. Лексемой-указателем в стихах «Девочка – златольняной пробор...» и «Старая Рига» является богиня счастья Лайма. Как и в случае с польским и еврейским контекстом, видно, что представленная автором латышская культура не экстенсивна, сегодняшняя Лайма тиха и неузнаваема. Сосредоточенность на своем прошлом, видимо, общая характеристика родной

земли, во всех ее культурных ипостасях.

*«А по набережной главной,  
янтаря не подбирая,  
ходит Лайма – скромно, плавно,  
и никто о ней не знает». (52)*

Контакт с латышским культурным пространством возможен и через слово – лирический герой читает *«старинные дайны»* и видит в них человеческие судьбы, иная культура, в данном случае, не чужеродна, ее проявления становятся лишним доказательством того, что все люди сходятся на экзистенциальном уровне. Семья, быт, родная природа – вот, что скрывают народные песни.

Западноевропейское культурное пространство в стихах Е. Шешолина делится на древнее – античное и более или менее современное автору. В античном мире преобладает Древняя Греция. Как правило, древнегреческий контент оказывается необходим для того, чтобы оттенить текущий момент, показать в нем – изменчивом – неизменчивую сущность. Вот ряд примеров («Все та же кормушка, все та же аллея...», «О, мое разоренное нищее царство!..», «Там», «Я хотел бы тебе рассказать не о том...»):

*«Опять не попасть на арену Икару!  
Я, видимо, крайний, – на то и гожусь!» (69)*

*«... А иначе от лени я  
укушу сам себя в Ахиллесову пятку...» (99)*

*«...Яблоки несет из сада  
Нам Геракл...». (168)*

*«Я иду по дороге,  
Нить Ариадны беспечно мотая». (179)*

Древний Рим может быть представлен опосредованно, в виде узнаваемых реалий – туника, плащ императора («Проснуться единственным утром...» (115)), или же прямо («... Чему нет слов – по-между строк прольется...» (114)), и встречается у Е. Шешолина редко. Столь же немногочисленны отсылки к Западной Европе, как правило, речь идет об отдельных странах – это Италия, Англия, Франция и Гер-

мания. Отдельного упоминания заслуживают имена братьев Гримм и Франсуа Вийона – лирический субъект часто воспринимает мир именно через литературу – она служит коммуникативным буфером между различными народами.

Евгений Шешолин упоминает также культуры Востока и даже доколумбовой Америки – нужно признать, правда, что эти культурные пространства в его лирике достаточно эпизодичны. Вавилон и Ассирия, Кушанское царство представляют древность, ацтеки и неназванные индейцы, в которых играют дети, цыгане, исчезнувший народ чудь, Индия, Япония, Китай, Египет, Армения, Грузия – эти информационные поля расширяют культурный код. В любом случае, лирический субъект переживает далекое как чужое, отличное и в то же время – неожиданно похожее на свое, знакомое с детства.

Относительно заметным является культурное пространство, условно обозначенное как Кочевая Азия. Сюда относятся стихи: «Отец», «Зелена, зелена за рекою трава...», «Бахчисарай ночью», «Перегон», «Вечер в Самарканде», «Мы ничего не понимаем». Кочевые народы – татары, хазары символизируют дикую, свободную стихию. Она обладает разрушительной мощью, и, одновременно, энергией жизни.

*«И осень налетит Мамаем  
и все расскажет о весне.  
Мы ничего не понимаем,  
но мы предчувствуем во сне». (174)*

Иной, утонченный контекст имеет «культурное пространство» мусульманского Востока, как правило, оно приравнивается к литературе, поэзии. Имена классиков, формы и жанры стиха должны подчеркнуть цитатность персидской и арабской культуры. Важным элементом этого информационного поля является экстатический путь богопознания. И «вагонный дервиш», и суфии Мирза Галиб или Хафиз равно мистичны. Их путь к благу не описывается простыми рациональными шагами. Возможно, именно мистицизм будет главной характеристикой восточных образцов, которым станет следовать Шешолин. Жанр назире, использованный в тексте, посвященном памяти И. Бухбиндера, или мухаммас на газель Михаила Кузмина указывают на то, что автор стремится к органичному усвоению инокультурного кода, тут уже речь не идет о простом увлечении, так сказать, «экзо-

тикой». Думается, что в пространстве восточной поэзии Е. Шешолин находит строгую каноническую традицию, внутри которой допустима широкая вариативность авторского высказывания. Так, на стыке западной и восточной модели стихосложения Е. Шешолин будет создавать свой диван – персидский по форме и русский по содержанию. К указанному культурному пространству можно отнести, например, стихи «Вечер в Самарканде», «Восточный сонет», «Во времена Хафиза и Хаджу», «Из Хафиза», «Из Камола Худжанди», «Из Мирзы Галиба», «Китайская газель», «Родиться где-нибудь в провинции...».

Два больших информационных поля, одно из которых можно обозначить как Россия, русская культура, а другое – христианство, либо лишенное четкой этнической локализации, либо прямо связанное с русским контекстом. Оба этих «культурных пространства» встречаются у Е. Шешолина достаточно часто, это, если можно так выразиться, крупные континенты на карте его поэзии.

Русский мир – это мир культуры и цивилизации, там стоит «утес Исаакия» (37), туда уходит «трехцветный поезд» (39). Здесь есть своя древность, органично вписанная в контекст родных мест («Купа староверского погоста...»), своя история («Псковские вирши»), есть свои поэты, строки которых можно вынести в эпитафию, даже Христос здесь особенный – русский (80). Одновременно, это мир открытых пространств и природы, не всегда приветливой, но всегда – внутренне гармоничной.

*«Разноцветные змейки цветов зевают со сна, –  
это синеглазого племени веселый Лель  
пропел, что посмела еще раз вернуться весна,  
и таинственная облепила яблоню метель».* (224)

И здесь же – мрачное свидетельство недавнего прошлого:

*«Тянется, тянется карта...  
Слезит ли морозный ветер  
сквозных лагерей бесслезных  
замызанной жизнью тех,  
что нечеловеческим матом  
в вечную память вмерзли  
ростками подвальных тел?»* (61)

Русское информационное поле можно найти, например, в следую-

щих текстах: «Костел красного кирпича», «Рельеф», «Прости и свети и смеяться учи...», «Мне снится невиданный праздник...», «Русский сонет», «Кто по дрова, а я в сосновый лес...», «Товарный», «Сонеты из сожженного венка», «Любовь к историческим картам...», «Мухаммас на газель Михаила Кузмина», «Мирославу», «С. Р.».

Противопоставлением железному веку у Шешолина является новозаветная мораль. В той или иной степени, указатели на это «культурное пространство» имеются в стихах: «Мне снится невиданный праздник...», «Вид с Хлебной горки», «Вот он мой северный бесприютный край», «Феодор, Христа ради юродивый», «Сонеты из сожженного венка», «Иисус и грешница», «Когда это время себе выбирали...». Христианские мотивы выполняют роль камертонов, по которым может себя поверять субъект, часто каноническое событие мыслится лишь началом духовной работы:

*«Толпа дошла до некого предела...*

*Полунагая грешница слаба...*

*«Кто...» – восклонившись, тихо начал Он...» (119)*

Финал стихотворения остается открытым, как бы допуская прямой контакт с внетекстовой реальностью. Впрочем, именно так случилось с поворотным в жизни Евгения Шешолина «Весенним акростихом» – как известно, культурное пространство этого художественного произведения вошло в диссонанс с горизонтом ожидания «внимательного читателя». Сам автор остался верен себе – используя традиционную структуру, Е. Шешолин обнаруживает вечные ценности – природу, веру, честность перед собой и – помещает готовый текст в исторический поток. Его стихи вообще похожи на некий эксперимент – но не на академический лабораторный опыт, а на испытание исследователем на себе нового препарата, этакой вакцины. Быть может, поэтому Е. Шешолину было мало только своего культурного пространства, он нуждался во внешней точке зрения.

## ЛИТЕРАТУРА

Лихачев Д.С. 1968 = Внутренний мир художественного произведения. Вопросы литературы. 1968, № 8.

Лотман Ю.М. 2000 = Внутри мыслящих миров. Семиосфера. СПб.: Искусство.

Нестеров Алексей 2005 = Похороны Евгения Шешолина. Воспоминания. Русско-латышские литературные контакты. Выпуск 1. Daugavpils: Saule.

Рогинский Борис 2005 = С околицы туманной бытия (заметки о поэзии Евгения Шешолина). Русско-латышские литературные контакты. Выпуск 1. Daugavpils: Saule.

Тасалов Артем 2005 = Евгений Шешолин: попытка знакомства. Е. Шешолин. Солнце невечное. Резекне: Издательство Латгальского культурного центра.

*От редакции: ниже помещаем полностью некоторые стихи Шешолина, упомянутые в статье Р. Соколова*



## **Fides implicita**

По пеплу лет – так холодно! – пройди, –  
Тебя ведь не пугало заблудиться.  
О Езус, сохрани и огради;  
Как быстро солнце за Двину садится!

Тропинка зарастает впереди,  
И ночь, как в детстве, на тебя косится.  
Где пепельные косы на груди?  
Одна осталась тонкая косица.

И, забываясь, вспоминает: «Внук  
На днях уже пошёл, наверно, в школу,  
А мне всё помолиться недосуг...»

А по дороге к белому костёлу  
Шагов не слышно и взошла трава,  
Стоят берёзы, затаив слова.

## **Старая Краслава**

Там за лопухами в старой грядке  
прячутся тугие огурцы;  
нынче во вселенной всё в порядке,  
и в еврейской лавке – леденцы.

Вот пахнуло солнечным укропом,  
и залетный бледный мотылек  
загляделся будто ненароком  
на анютин бархатный глазок.

За забор, за варварские розы  
залетела легкая любовь, –  
семечко во рту для перемола.

И бездумная цветная проза  
за калиткой слышится любой  
по дороге к белому костелу.

## Старая Рига

Черепичные доспехи,  
тупиков бульжный ребус,  
рубежи, эпохи, вехи,  
электрический троллейбус.

Под стеклом ржавеют латы,  
но в лесу домов, наверно,  
пьют соленые пираты  
в рыбой пахнущей таверне.

А по набережной главной,  
янтаря не подбирая,  
ходит Лайма – скромно, плавно,  
и никто о ней не знает.

.....  
.....  
.....  
.....

Словно ленты легкий шорох;  
и не жалко, и не страшно.  
И сыреет древний порох  
в реставрированной башне.

1976

## Подражание Цветкову

... А осенью вспыхнет, как елка, аллея;  
родные домишки, — кому рассказать!  
По вечеру тихо плывет бакалея,  
и тени пришельцев по клумбе скользят.

Ко мне — за сарай и немного пройдете  
Тропой Металлистов над сточной рекой,  
и лысый в цветном голубином помете  
все так же за ветками машет рукой.

Опять не попасть на арену Икару!..  
Я, видимо, крайний! — На то и гожусь...  
Я брошусь под первый попавший «Икарус»,  
в трех проклятых улицах я заблужусь!

Эпоха бесстыдно латает заставки.  
В кровавые жмурки играет плакат.  
Я выйду по нежно-сиреновой справке,  
и надпись по золоту: «не виноват!»

## Там

Небо в недалеких звездах,  
слепомудрое зерно,  
розовый от ласки воздух  
и воздушно вино.

И в соленой, чистой пене,  
и не помня обо мне,  
ты осталась по колени  
в набегающей волне.

Ты не мучаешь грехами,  
ты железом не коришь,

ты певучими стихами  
о погоде говоришь.

Голову ломать не надо, –  
не узнаешь ничего;  
яблоки несет из сада  
нам Геракл, – для чего?

Там в пустыне раскаленной  
не страдают от идей,  
и обидой распаленный  
зла не держит иудей.

Ярче – радость, слаще – горе,  
время вспять идет пешком,  
лодка солнечное море  
рассекает гребешком.

Между Скиллой и Харибдой  
по лазурному руну,  
между правдою и кривдой  
в затонувшую страну.

**Мы ничего не понимаем,  
но мы предчувствуем во сне...**

Мы ничего не понимаем,  
но мы предчувствуем во сне...  
Проснуться бы зеленым маем  
зеленой шишкой на сосне

в глухом лесу. Иль безымянным  
притоком северной реки, –  
бежать навстречу по медвяным  
полям: травы, ручейки.

Проснуться соловьем на стройке  
заброшенной, – в своих кустах,  
со вкусом солнечной настойки,  
со сладким зудом на устах.

Вон там береза, – что за слово – ?!  
стоит, как будто человек,  
не помня века золотого,  
под дождичком слепым, в четверг.

И нежный августовский вечер  
с далеким звоном в голове,  
и растворяется кузнечик  
в захолонувшейся траве.

И осень налетит Мамаем,  
и все расскажет о весне...  
Мы ничего не понимаем,  
но мы предчувствуем во сне.

### **Мирославу**

Кто-то сидит, расцвечивая  
цветок гимна...  
Ригведа, X, 71  
В омуте черного мгновения  
меж двух трещин молнии –  
полной тебе груди вдохновения,  
риши советских джунглей!

Щуришься? – Что там, – на той стороне?  
Скажи, что чудесен оттуда наш мир!  
Ударь по старинной, последней струне  
в заколдованной волости Вир!

Утонченные чудовища чуют кровь, –  
прямо в сердце нацелен ледяной ошур...

– Шире, шире кольцо священных костров! –  
Эту жизнь вместе с людьми танцует Чур!

Разноцветные змейки цветов зевают со сна, –  
это синеглазого племени веселый Лель  
пропел, что посмела еще раз вернуться весна,  
и таинственная облепила яблоню метель.

## **Вправо по карте**

*Уроку географии СССР посвящается*

Тянется, тянется карта...  
Слезит ли морозный ветер  
Сквозных лагерей бесполезных  
Замызганной жизнью тех,  
Что нечеловеческим матом  
В вечную память вмерзли  
Ростками подвальных тел  
Где выживет ражий и рыжий  
С каплями между век?  
На теле огромном вижу  
Татуировку рек.

---

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Имант Аузинь** (1937 – 2013) – поэт, переводчик, критик.

**Павел Васкан** (1975) – поэт, инженер по компьютерной технике. Публикации в газетах «Динабург», «Лабрит», в журналах «Даугава», «Невгин», в «Провинциальном альманахе», ежегодном сборнике даугавпилсских поэтов «Dzejas dienas», а так же – в сети internet.

**Анастасия Винокурова** (1980) – музыкант, поэт. Стихи печатались в журналах «Белый ворон», «Радуга», «Северная Аврора». Автор книги стихов «Ауфтакт» (Изд-во «Союз писателей», Новокузнецк). Живет в Германии (Нюрнберг).

**Ярослава Говорова** (2003) – ученица 9 кл. медико-биологического отделения Пушкинского лицея (Рига). Дебютант в журнале ARS # 21.

**Сергей Григорьянц** – см. с. 186

**Роальд Добровенский** (1936) – прозаик, поэт, переводчик.

**Алексей Евдокимов** (1975), выпускник Латвийского университета, журналист, писатель, автор ряда книг художественной прозы, некоторые из них написаны совместно с А.Гарросом. Живет в Риге.

**Ирина Зиновчик** (1962) – выпускница Института инженеров гражданской авиации (РКИИ ГА) по специальности инженер-экономист. Бухгалтер в частном бизнесе. Публиковалась в альманахах «Письмена», «Крещатик», «Аврора» и др.

**Василий Карасев** (2001) – ученик 12-го класса Техно-лингвистического колледжа в Риге. Публиковался в альманахе рижского Пушкинского лицея ARS, «Рижском альманахе», газете Союза писателей Латвии «Konteksts». В 2015 году составил и выпустил альманах 40-й школы.

**Вадим Колмогоров** (1982) – выпускник Пушкинского лицея, получил экономическое образование в Университете города Мюнстера. Публиковался в альманахе Пушкинского лицея «ARS»; автор статей и книг на логистические темы. Живет в Мюнхене.

---

**Вия Лагановска** (наст. фам. Вия Биркава; 1975) – выпускница Рижского Института Управления педагогики и просвещения. Работает в ООО Балвский автотранспорт. Ее стихи и проза, переводы публиковались в альбоме поэзии и фотографий «Latgales sirdspuksti» (2015), журнале “Domuzīme” и других печатных изданиях Латвии, а также в сети. Автор сборника стихотворений «2 soļi pirms Pleskavas divīzijas» – «2 шага до Псковской дивизии» (2017).

**Виктория Матисон** (1972) – художник, живописец, книжный дизайнер. Окончила Московский гос. университет печати, занимается вопросами детской литературы и творчества, в 2017 году выпустила авторскую сказку, участвует в общественных культурных проектах, в 1991–1995 годах сотрудничала с журналом «Гном» как художник и автор стихотворений.

**Максим Молчанов** (2000) – ученик 11 класса филол. отделения Пушкинского лицея. Дебютант в журнале ARS # 21.

**Сергей Морейно** (1964) – писатель, переводчик; автор сборников стихов, рассказов, эссе.

**Людмила Нукневич** – училась на отделении журналистики Латвийского университета и сценарном факультете ВГИКа. Работала в журнале «КИНО», в различных газетах и журналах Латвии. В последние годы занимается переводами с латышского. Помимо множества статей, перевела книгу Норы Икстены «Amour fou. Чокнутая любовь в 69-и строфах» (2011) и др.

**Борис Равдин** (1942) – историк культуры. Окончил историко-филологический ф-т Латвийского ун-та, работал в школе учителем литературы, в 1991–2006 гг. – редактор отдела, соредактор ж. «Даугава». Выступал со статьями и публикациями в разных изданиях. Автор, составитель и соредактор ряда историко-культурных сборников.

**Руслан Соколов** (род. 1970), доктор филологии (Dr. philol.), журналист; стихи, переводы, статьи печатались в прибалтийских изданиях («Даугава», «Рижский альманах», «Хронос» и др.), России – «Встреча» (Москва), «Северная Аврора» (Санкт-Петербург), в Италии, Канаде; автор вышедших в Даугавпилсе книги стихов «1/3» (1999 г.) и монографии о творчестве Вяч. Иванова (2012 г.). Живет в Даугавпилсе.



---

**Роман Тименчик** (1945) – литературовед; выпускник Лат. гос. ун-та, профессор-эмеритус Еврейского университета (Иерусалим).

**Наталья Хухтаниеми** (1986) – выпускница Пушкинского лицея. Филолог, учитель. Публикации в ARS # 13 – 18. Живёт в г. Турку (Финляндия).

**Ирина Цыгальская** (1939) – прозаик, переводчик латышской прозы, поэзии. Издано несколько сборников рассказов, книга эссе и зарисовок «Все судьбы трагические» (2009). Публикации в журналах «Даугава», «Дружба народов», в «Рижском альманахе»; переводов – в журнале «Родник».

**Евгений Чегодаев** (1955) – окончил Уфимский юридический институт. Кандидат исторических наук. Защитил диссертацию по этнографии латышей Башкортостана. Имеет публикации в научных и литературно-художественных журналах Башкирии.

**Майя Шварцман** – род. в Екатеринбурге, окончила консерваторию, скрипач. Автор нескольких книг, в том числе сборника детских стихов с иллюстрациями автора. Музыкальный рецензент. Живет в Бельгии, работает в оркестре Европейской филармонии.

**Михаэль Шерб** (1972) – род. в Одессе, выпускник физфака Одесского гос. ун-та. С 1994 г. живет в Германии, где окончил Дортмундский технический ун-т, работает программистом. Публикации в журналах «Крещатик», «Интерпоэзия», «Белый ворон», «Эмигрантская лира», альманахах «Побережье», «Связь времен» и др.



Нафтолий Гутман. Рига. Верманский парк. Офорт, 1985 г.

**Рецензии, заметки о новых изданиях**

**СТИХИ**

**ВОСПОМИНАНИЯ**

**ПРОЗА**

**IN MEMORIA**

**АРХИВЫ**

**ДОКУМЕНТЫ**

